

ДУША
ОТКРЫТАЯ
ЛЮДЯМ



ДУША
ОТКРЫТАЯ
ЛЮДЯМ

о Зере Звягинцевой
Воспоминания, Статьи
Очерки

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТАКАН ГРОХ»

ЕРЕВАН—1981

8P2 индекс ВБК 83.3 P7
Д 86

Составитель ДЕЙЧ Е.К.

Д 86 Душа, открытая людям: Воспоминания, статьи, очерки / Сост. Е. Дейч. — Ер.: Совет. грох, 1981. — 284 с., 10 фото.

Авторы воспоминаний рассказывают о жизни и творчестве Веры Клавдиевны Звягинцевой, воссоздавая живой облик человека и поэта, много сделавшего для укрепления русско-армянских литературных взаимосвязей. В книгу также вошли статьи и очерки В.К. Звягинцевой.

Д $\frac{4702010200 (147)}{705 (01) 81}$ без объявления 81 «М» 8P2
ББК 83.3 P7

© Издательство «Советакан грох»
Составление, оформление, 1981

От составителя

Имя Веры Клавдиевны Звягинцевой (1894—1972) — известного поэта, переводчика-художника вошло в золотой фонд советской литературы.

Начиная с 1935 года и до последних дней своей жизни В. Звягинцева много и успешно переводила с армянского языка, широко пропагандируя армянскую поэзию среди русских читателей. Эти переводы были высоко оценены армянскими деятелями культуры, а также А. Фадеевым, П. Антокольским, М. Шагинян, К. Чуковским и другими выдающимися современниками.

Собственные стихи В. Звягинцевой, посвящённые Армении, К. Чуковский назвал «гимном этой стране, её песням, её пляскам, её Арарату, её Исаакяну, её Сарьяну».

Сборник посвящён памяти В.К. Звягинцевой.

Авторы материалов, вошедших в книгу, делятся воспоминаниями о встречах с В.К. Звягинцевой, рассказывают о её жизни и творчестве, в совокупности воссоздают живой облик поэта и человека, выявляют вклад В. Звягинцевой в благородное дело русско-армянских литературных связей и взаимовлияний.

Воспоминания, Статьи,
Очерки



ЛЕВОН МКРТЧЯН

ПОЭТ АРМЕНИИ

Вера Клавдиевна Звягинцева (1894—1972) была большим другом Армении, армянской поэзии, которую она переводила любовно, самоотверженно. Звягинцева ввела в русскую поэзию многих армянских лириков. Она ввела в русскую поэзию образ своей Армении.

Как влюбляются в человека,
В голос, жест, висков седину,
Так под ветром большого века
Я влюбилась в одну страну, —

писала Звягинцева в стихах, посвящённых Армении.

Эти заметки — дань уважения её памяти, тому, что она сделала как поэт и как переводчик. Стихи об Армении, переводы Звягинцевой с армянского — одна из самых ярких страниц в истории взаимосвязей советских литератур — русской и армянской.

1

Вера Звягинцева очень любила жизнь. Она как-то особенно остро, быть может, даже болезненно остро думала о жизни. Мост, перекинутый от жизни к смерти, и — человек на мосту, как на горящем или тонущем корабле, — такой представлялась ей жизнь в первом её стихотворном сборнике «На мосту» (М., 1922).

Смотри, уже сколько скошено
Короткой земной красы.

Это её пугало. Она спешила жить, пока ещё на мосту, — жить и не упустить время:

Пристальнее смотрите
В останавливающиеся глаза,
Спешите любить, спешите, —
Скоро будет нельзя.

Она хотела, чтобы жизнь была праздником, хотела жизни без будней.

— Мне было шестнадцать лет. Я написала рассказ «Не праздник», — вспоминала Звягинцева в июле 1969 года. — Девушка мечтала о жизни-празднике, а жизнь обернулась к ней своей непраздничной стороной. Она решила покончить с собой. Она уплыла в море. Плыла, плыла... Уплыла далеко-далеко, чтобы утонуть. И утонула...

Чувство отчаяния в ранней лирике Звягинцевой — от жажды жизни и от сознания её быстротечности. В стихотворении 1925 года Звягинцева писала:

Каждую ночь исступлённая дума:
Как это будет — земля без меня?
Как это будет — ни цвета, ни шума
И никогда никакого дня?

Этот же мотив в её позднем стихотворении, помеченном 1957 годом:

Как? Там и августа не будет?
Ни звёзд, ни песен за окном?
Крик петушиный не разбудит
Тех, что забылись вечным сном?

Мотив тот же и не тот, потому что в поздних стихах Звягинцева пишет не о жизни-празднике, а о жизни будничной. Теперь она не скажет: «Сердце — уймись, сердце — смирись: Только одно воскресенье в неделе». Теперь ей и будни как праздник:

На какое хрустальное блюдо
Положить мне мой будничный день,
Чтоб нести это скромное чудо
Тем, кто в полдень хоронится в тень?

То, что в ранней молодости её пугало своей привычной обыденностью, теперь ей дорого. В цитированном стихотворении «Как? Там и августа не будет?..» Звягинцева писала:

Здесь, на земле, моя забота,
Работы непочатый край, —
Ведь я не оплатила счёта
За этот будничный мой рай.

Её очаровывает простое, будничное. В скромном она видит чудо, в обычном — необычное. И потому «овражек да седой полыни кустик милее пёстрых цветников».

В зрелой лирике Веры Звягинцевой ярко и отчётливо звучит главная мысль всей её поэзии — мысль о красоте и ценности жизни. О чём бы она ни писала — о войне и смерти, сирени и повилыке, — она вновь и вновь приходит к своей теме: «Как завидно жить на свете, — только б словом передать».

В своих ранних стихотворениях Звягинцева писала главным образом о *голубом цветке* («Цветок этот называется любовью у людей» — поясняла она), писала в предчувствии невозполнимых потерь, суетно, лихорадочно, порой с отчаянием:

Революции, страсти, сугробы,
Каруселью несясь золотой,
Не поднимут крышки у гроба
Ни одной, ни одной, ни одной.
Так забудем же сны и надежды,
Перестанем стихи писать;
Не ряди в голубые одежды
Молодую невесту, мать...

Жизнь и её трагическая быстротечность — эта тема была главной, но не единственной в ранних стихах Звягинцевой. В первой её книге ещё только намечался образ родины, России. «Мы на мосту. Какая-то река... И мы в стране, которой имя «где-то», — писала Звягинцева, но тут же, рядом, были другие стихи о родной земле. И та страна, имя которой «где-то», оттеняла стихи о Москве.

Но у меня осталось счастье,
Последняя из тонких вех,
Останки пышной гиблой снасти —
Моя Москва, мой тихий снег.
Беру снежок в ладонь украдкой,
Целую (родину в уста),
В безмерной горечи так сладко,
Что не тревожит красота...

Во второй книге Звягинцевой «Московский ветер» (1926) тема России звучит определённое, а в отдельных стихотворениях — задушевно и сильно. В 1922 году она писала о 1919 годе:

У каменных быков кипела чёрной
И ледяной, как никогда, вода.
Тогда мы жили на ветру, тогда
Дыханье было резким и просторным.
Пар. Гололедица. А души начеку.
Да, сырые, без пышного наряда.
Раскрытая младенческая радость
И благодарность слову и куску.
Мы слушали, глотая дым и ветер:
Шумит судьба, и в венах кровь шумит...

В 1917—1922 годах Звягинцева была актрисой, работала, в частности, в театре Мейерхольда, «увлечённо кричала романтические фразы в пьесе Верхарна “Зори”, играла роль швеи в “Мистерии-Буфф” Маяковского», — пишет Лев Озеров¹. Высокий пафос первых лет революции Звягинцева пронесла через всю свою жизнь.

Шарф Мейерхольда, будто кумачовый.
Октябрьским флагом развевался в зале,
Степные ветры воздух разрезали,
Когда читал Есенин «Пугачёва»... —

писала она в середине 60-х годов о своей молодости, счастливо совпавшей с первыми годами революции.

Звягинцева начинала свой путь поэта поисками собственного слова. Она буквально жила исканиями:

Я рыбою на берегу
Плещусь в зыби песка сухого,
Я знаю, знаю, знаю слово,
Лишь выговорить не могу.

Имея что сказать, она находит и нужное слово. «Чувства у Звягинцевой, — пишет Ал. Дымшиц, — чистые и лиричные. Она обладает искусством улавливать биение человеческого сердца, обладает способностью почувствовать в человеке то, что, казалось бы, остаётся незаметным и потому так часто незамеченным»².

На второй сборник Звягинцевой откликнулся Максим Горький. «Очень благодарю Вас за присланную книжку стихов, очень, — писал он в сентябре 1927 года из Сорренто. — Думаю, что я плохой ценитель поэзии, во всяком случае, ценитель весьма субъективный, да и едва ли мнение моё нужно Вам, поэтессе, как чувствуется, вполне сложившейся. Всё-таки скажу, что особенно понравились мне стихи на 25 стр., 20-ой, 18-ой, 11-ой. Хороша, значительна строка “Не по любви моей мой разум”³. Её часто будут цитировать неглупые люди обоёго пола».

¹ Лев Озеров. Мастерство и волшебство. М., «Советский писатель», 1972, стр. 271.

² «Литературная газета», 14 августа 1968 г.

³ Строка из стихотворения «Россия»:

Не подниму ни голоса, ни глаз.
Об этом петь не смею...
Бывает: в слишком ранний утра час
От холода и радости слабеешь...
Такая по душе проходит дрожь
Всей сыростью твоих оврагов сразу,
И все слова к тебе дурны, как ложь.
Не по любви моей мой разум.

На указанных М. Горьким страницах помещены стихи, проникнутые глубоким лирическим чувством, стихи, посвящённые родине — России («Краёв саратовских, широко хлебных...», «Знаю величие туч над вечерним откосом...», «Такая колыбельная»). Горькому нравилось, как проникновенно умеет поэтесса писать о красоте родной земли:

Краёв саратовских, широко хлебных
Росистая, душистая земля.
У подорожников тугие стебли
Качаются, пушинки шевеля.

Позже, в 50—60-х годах, слова Горького о вполне сложившейся поэтессе подтвердились стихами, во многом превосходящими её лирику 20-х годов.

Вера Звягинцева — поэт с сильно выраженным чувством родины. Её стихи о России — одни из самых пронзительных. Родина, Россия, вдохновляла Звягинцеву, здесь истоки её лирики. «Посмотреть в глаза России — как живой воды глотнуть». Эта «живая вода» питала творчество Веры Звягинцевой.

В годы Великой Отечественной войны она создала сильные патриотические стихотворения. Когда был освобождён от фашистских захватчиков Крым, Звягинцева писала:

Вновь дорогие имена:
Джанкой и Перекоп.
Сивашской соли седина
В сиянье лунных троп.
О боль феодосийских стен,
Израненных камней!
Окончен твой тяжёлый плен,
Край радости моей.

Однажды при Звягинцевой неодобрительно отозвались об одном литераторе. «Он перенёс блокаду, а для меня все люди, перенёсшие блокаду, святы», — резко сказала Звягинцева. Позже я вспомнил об этом разговоре, прочитав её стихотворение «Война»:

...Ты видишь: у Летнего сада
Идут за отрядом отряды.
Ты помнишь людей Ленинграда,
Когда произносишь: война.

И в стихотворениях более поздних, написанных в 50-е — 60-е годы, она возвращалась к военной теме:

До смертного часа мне вас не забыть,
Военные песни, военные песни.

Дороги России, дороги революции и интернационального братства привели Звягинцеву в Армению — древнюю страну Наири, культуре которой она отдала так много сил и сердца. Однако, как писал Генрих Манн, «нельзя проникнуть в другие языки, даже литературы, если одновременно — до отчаяния, до блаженства — не вживёшься в свою родную речь, и письменную, и устную»¹. И в этом смысле чувства Звягинцевой к России — ключ к пониманию её стихов об Армении, её любви к армянской поэзии.

Поэт русский, самобытный, Звягинцева стала выдающимся переводчиком армянской поэзии, стала поэтом армянской земли. «Так и умру в две земли влюблённой», — писала она.

¹ Генрих Манн. Сочинения, т. 8. М., Гослитиздат, 1958. стр. 259.

В стихотворении «Россия и Армения» Звягинцева выразила ту же мысль, те же чувства:

Моя любовь к Армении похожа
На вечную любовь к своей земле.
Не разберу, которая дороже,
Не гаснет жар в нестынувшей золе.
Равно я добрым жаром сердце грею,
Уж такова загадка бытия:
Не будь Россия родиной моею,
Армению не полюбила б я!

Стихотворения Звягинцевой, составившие известный цикл «Моя Армения», можно, как писал Корней Чуковский, «назвать гимнами этой стране, её песням, её пляскам, её Арарату, её Исаакяну, её Сарьяну»¹.

Среди русских советских поэтов, переводивших с армянского и писавших об Армении, Звягинцева занимает почётное место. Её переводы с армянского, её собственные стихотворения об Армении составили этап в развитии армяно-русских литературных связей. Армения стала для Звягинцевой второй её родиной. Павел Топер, вспомнив изречение Гёте: «Кто хочет познать поэта, должен отправиться в его землю», заметил: «Но чтобы понять такого поэта, как, например, Вера Звягинцева, надо отправиться в две земли — в Россию и Армению»².

Имя В.К. Звягинцевой окружено в Армении почётом. Мы дорожим памятью нашего друга, нашего поэта.

Чтобы переводить с армянского, Вера Звягинцева должна была знать историю и культуру, жизнь и быт армянского народа.

«Главным моим учителем истории и поэзии Армении, человеком, связавшим меня с этой землёй, — вспоминала Вера Звягинцева, — был Карен Сергеевич Микаелян — писатель и деятель армянской культуры, когда-то работавший с Брюсовым. Содействовали моему знакомству с Арменией и Я.С. Хачатрянц, А.Н. Тер-Мартirosян.

Микаелян в то время хотел издать сборник армянских стихов (не пришлось!) и привлёк меня к работе над переводами.

Очаровательное стихотворение Гургена Маари «Баллада о Чало и о первой любви» и стало моей путёвкой в Армению...

Помню, ещё до знакомства с Арменией я написала стихи: «Я тебя не видела ещё, я тебя увижу непременно». Были там такие строки: «Говори со мною, говори голосом Гургена Маари» и ещё — о Чаренце».

Впервые Вера Звягинцева приехала в Армению в конце 1936 года. С тех пор она много раз бывала в Армении, подолгу жила здесь, постигая «страну Наири» и её поэзию не по учебникам и, конечно, не по одним лишь подстрочникам:

Мне довелось сквозь ветви пшата
Увидеть близко, наяву
Две древних кровли Арарата
И разглядеть и склон щербатый,
И даже блёклую траву.

Всё то, что именем звенело
На картах, книгах и в речах.
Мне воздухом ласкало тело,

¹ Корней Чуковский. Собрание сочинений в шести томах, т. 3. М., «Художественная литература», 1966, стр. 514.

² «Коммунист» (Ереван), 12 октября 1972 года.

Кустарниками шелестело,
Хрустело пылью на зубах.

Вера Звягинцева писала о глубоко воспринятом, эмоционально пережитом, прочувствованном. Поэтому так захватывающи и искренни её «армянские стихи», поэтому их близость к жизни армянского народа выражается отнюдь не словесными инкрустациями, упоминаниями имён и названий — Арарат, Звартноц, Воскеваз... В. Звягинцева тонко знала, сердцем чувствовала жизнь республики, всё, что её характеризует, — от «прямых слов и поступков людей» до «терпкого запаха рехана и перца». Ей удавались образы яркой выразительности и удивительной ёмкости: «Глаза, как большие чёрные слёзы, обветренный камень щёк».

В стихах об Армении Звягинцева искала свой идеал простой, естественной красоты, она полемизировала с теми, кто видел Армению пышной, приукрашенной. Звягинцева не приемлет стилизованный, эстетски подгримированный образ Армении:

Мне другое в Армении любо —
Околдовано сердце моё
Красотою и горькой и грубой.
Я люблю этих смелых людей,
Может быть, иногда и недобрых,
Терпеливых седых матерей, —
Вот Армении подлинный образ.
Я люблю эту мудрость веков,
Лебединые женские пляски.
Медь горячих тяжёлых стихов
И полотен сарьяновских краски.

В первом своём сборнике В. Звягинцева писала:

Не штык в руке замерзающей,
Не горб кирпичей за спиной,
Ты, тяжести распределяющий,
Вручил мне цветок голубой.

Но с того самого дня, как Звягинцева стала переводить или, как сказал в одном из стихотворений Б. Слуцкий, стала «перевозить» поэзию в язык из языка, — к «голубому цветку» прибавился «горб кирпичей». Чтобы убедиться, с какими трудностями связана работа переводчика, приведу характерный пример. Вера Звягинцева совместно с поэтами Сергеем Обрадовичем, Марией Петровых и Верой Потаповой работала над переводом кабардинского народного эпоса «Нарты». Рифма кабардинского эпоса весьма своеобразна и труднопроизводимая в переводе. «Музыкальное богатство кабардинского стиха составляют внутренние созвучия. Последние слоги первой строки повторяются начальными слогам второй, затем в середине третьей строки и снова возникают в пятой или шестой строках»¹. Понятно, что передача этой особенности подлинника на русском языке сопряжена с невероятными трудностями и точное воспроизведение её почти невозможно. В переводе Звягинцевой рифмуется конец первой строки с серединой второй, конец третьей — с серединой четвёртой, конец пятой — с серединой шестой и т.д. Она старалась воспроизвести звуковое богатство подлинника как можно полнее:

...Протекают реки и моря по свету,
Для Насрена ж нету капельки воды;

¹ Вступительная статья к эпосу «Нарты» (М., Гослитиздат, 1957, стр. 17).

Под горою плещут родники, бушует, —
Горстку б небольшую пленнику испить!..
Мучит его жажда, там на Ошхомако,
Ледяной рубахой плотно он покрыт.
Тяжкое железо давит ноги, руки,
Стоны горькой муки исторгает он.

Переводы требуют от поэта большого напряжения сил. «Можно без конца работать над усовершенствованием переводов, и только некоторые строки кажутся окончательно установленными», — писала Звягинцева, говоря о своих переводах из Исаакяна.

Вера Звягинцева переводила стихи поэтов разных времён — от средневековых армянских поэтов до поэтов-современников. И ей всегда было важно средствами современного русского языка передать особенности поэтического мышления, манеру письма переводимого автора. Вот как звучит в её переводе Саят-Нова, поэт XVIII века:

Ах, не нужен мне лекарь, не нужен врач.
Дай иного, иного лекарства мне!
Жжёшь, не лечишь ты рану, горит — хоть плачь.
Дай иного, иного лекарства мне!

А она: не тревожь, уходи скорей,
На другой, на другой ищи стороне!
Не бывает добра от таких затей,
На другой, на другой ищи стороне.
На другой, увы, стороне.

Говорю ей: покоя не знаю я,
Стал бездельником, прочь бегу от жилья,
Тело чахнет, сгорает душа моя,
Дай иного, иного лекарства мне!

Отвечает: тебя мне не исцелить.
Сам ты горе своё научись избыть,
А не то оборвёшь краткой жизни нить,
На другой, на другой ищи стороне...

Звягинцева удачно передала щедрую на горячие признания, на объяснения поэзию Саят-Новы, сохранила характерную для его стихов отчужденность, даже изысканность. Повторы в её переводах столь же естественны и мотивированны, как и в подлиннике, они словно бы завершают «круг мыслей», подчёркивают растущее постоянство чувства, усиливая музыкальность и песенность стиха.

Звягинцева всегда стремилась передать угол зрения автора переводимых стихов, стремилась разгадать подлинник.

Когда свободный бог в меня
Вдохнул дыханье человека
И брэнному созданью дал
Дар кратковременного века,
Я, бессловесное дитя,
Не зная горя и невзгоды,
Ручонки слабые простёр
К видению свободы.

Когда не спал я по ночам,
Сплённат, связан в колыбели.

И заливался, и кричал,
Пока не встанет мать с постели
И не развяжет детских рук
Ребёнку малому в угоду, —
Наверное, тогда я дал
Обет любить свободу...

Известное стихотворение Микаэла Налбандяна (1829—1886) «Свобода», откуда взяты цитированные строки, приобрело популярность на русском языке именно в переводе Звягинцевой. Какое понимание подлинника, какая твёрдость голоса в её переводе. Частое «д» — этот опорный звук всего перевода («Когда свободный бог в меня Вдохнул дыханье человека...») — придаёт стихотворению набатные, мужественные интонации.

* * *

Сопоставляя первые переводы В. Звягинцевой с армянского, сделанные ещё в середине 30-х годов, и её же переводы последних лет, нетрудно заметить, что в зрелые годы она иначе решала многие проблемы, встающие перед переводчиками с других языков, и с армянского, в частности.

В ранних переводах она была как бы в плену оригинала, старалась передать все особенности ритма, сохранить мужскую рифму, характерную для армянского стиха.

Позже, работая над переводом стихотворения Амо Сагияна «Армения в песнях», Звягинцевой предстояло решить, как лучше перевести рефрен:

Вот какой Айастан
В новых песнях нам дан.

Этот вариант, казалось бы, всем хорош, и рифма здесь, как и в подлиннике, мужская. Но в беловом тексте Звягинцева отказалась от этой редакции.

Знал он бури, сражения,
Трудность будней походных, —
Вот какая Армения
В новых песнях народных.

Переводчица решила, что так лучше, пусть здесь рифма не мужская, а дактилическая, но стих более певучий и в этом смысле ближе к подлиннику.

В ранних же переводах Звягинцева хотела перенести в перевод даже звуки оригинала. Когда она переводила стихи Егише Чаренца «Ергир, поэт, ергир...», ей казалось, что правильно будет перевести: «Греми, поэт, греми...». Это уже потом она отказалась от таких попыток, затрудняющих естественное течение русского стиха, и перевела: «Пой песню, пойте, поэт!»

В 1936 году вышла в свет в переводе Веры Звягинцевой известная сказка Ованеса Туманяна «Пёс и кот». «Сравним несколько отрывков дословного перевода этой сказки с переводом Звягинцевой», — писал Г. Агасов в рецензии на перевод. И вот как он сравнивал:

Оригинал. «Что, любезный? Или пронял тебя холод? Дай мне перевести дух. Не лёгкое же это дело! Только что я обрызгал овчинку водой, чтобы приняться за шитьё».

Перевод:

Иль замёрз ты? Фу, чудак.
Не даёшь вздохнуть никак.
Я не шью так просто, сдуру,
Вот обрызгиваю шкуру...

Сопоставляя таким странным образом свой дословный перевод с поэтическим переводом Звягинцевой, Агасов заключает: «Выпуск сказки Туманяна в переводе В. Звягинцевой — это провал Арменгиза, и ему следуем извлечь из этого соответствующий урок»¹.

Но перевод Веры Звягинцевой не удался отнюдь не по тем соображениям, которые выдвигались придирчивым и суровым критиком, отнюдь не потому, что он был сделан вольно. Здесь, как и в других переводах того же времени, Звягинцева переводила ещё слишком «точно», стесняя себя в выборе слов, довольствуясь в ряде случаев дословной близостью к тексту.

Вера Звягинцева словно старалась выполнить требования своего будущего критика. Но установка на буквальность приводила к резкому снижению художественного уровня.

С. Маршак, создавший перевод той же сказки Туманяна, вообще не выдержал бы проверки по методу дословного сравнения, применённого Г. Агасовым. Маршак отошёл от буквы подлинника, чтобы приблизиться к его сути. И сделал это великолепно.

Этот единственно верный путь в практике реалистического перевода был избран Звягинцевой. Вообще она придерживалась в своей переводческой работе той точки зрения, что, читая переводы, «русский читатель должен наслаждаться горячим, искренним русским стихом, хотя и передающим колорит, характер народа, стиль переводимого поэта, но средствами русской поэзии — реалистичной, естественной, свободно читающейся».

Так сделаны лучшие переводы Веры Звягинцевой. Баллада Гегама Сарьяна «Дэлфрош и Эл-Нури» передана прекрасным русским стихом и сохраняет в переводе восточный колорит подлинника и звонкую музыкальность стиха Гегама Сарьяна.

Погожий вечер был хорош.
Остановился Эл-Нури
Перед окном своей Дэлфрош,
И так взмолился Эл-Нури:
— Моя Дэлфрош, моя Дэлфрош,
Кинь на прохожего свой взгляд, —
Ты в сердце горестном найдёшь
Опустошённый бурей сад.
Трава повяла,
Засохли лозы,
Любовь украла
И сон и слёзы.
О, выгляни в окно, Дэлфрош,
Не выглянешь — меня убьёшь.
Глядит Дэлфрош на Эл-Нури
Из приоткрытого окна
(Ах, в сердце нож у Эл-Нури),
Глядит и говорит она:
— Ступай, прохожий.
Своей дорогой.
Лицом пригожий —
Меня не трогай.
Твоя хвала мне — что хула, —
Мне люб охотник Рухулла.
Не стой напрасно
Здесь у порога.
Ступай, несчастный,
Своей дорогой.

.

¹ «Детская литература», 1937, № 18. стр. 42—43.

Эти и другие стихи Гегама Сарьяна В. Звягинцева перевела особенно хорошо. Г. Сарьян в её переводе так же музыкален, как и в подлиннике.

Звягинцева следовала в своих переводах характеру оригинала, его интонации. Она входила в мир переводимого поэта и, когда переводила, дышала его воздухом, жила его чувствами. «Я начала переводить Чаренца, — вспоминала Звягинцева, — и от накала его стихов у меня буквально поднималась температура».

Широко известны в переводах Звягинцевой стихотворения украинских поэтов (Ив. Франко, Т. Шевченко. Леси Украинки, П. Тычины, М. Рыльского, Л. Первомайского). Переводила Звягинцева многих грузинских поэтов: Ал. Чавчавадзе, А. Церетели, Ираклия Абашидзе, стихи об Армении Иосифа Нонешвили и других. Нельзя не вспомнить о её переводах из таджикской классики (Хафиз, Камоль Худжани и другие, о переводах лирики Генриха Гейне).

Эти её переводы — как и переводы с армянского — отмечены высоким мастерством. Лучшие из них обогатили русскую поэзию, стали достоянием и русской культуры.

2

В конце 1958 года было принято решение об издании нового журнала «Литературная Армения». Первый номер вышел в свет в том же 1958 году. Редактор журнала Гурген Борян очень хотел уже в первом номере дать рецензию на сборник стихов Веры Звягинцевой «Зимняя звезда» (М., 1958). Материалы номера были готовы, а рецензия, заказанная кому-то из известных литераторов, не была ещё написана. Гурген Борян разыскал меня и попросил, чтобы я срочно написал о книге Звягинцевой. Через неделю рецензия была готова. Её напечатали, очевидно, потому, что лучшей рецензии не было. Я написал восторженно, но неумело.

Некоторые стихотворения, вошедшие в «Зимнюю звезду», были и в более раннем её сборнике «По русским дорогам» (М., 1946). Мне показалось, что в одном из стихотворений Звягинцева ухудшила старый текст. По сборнику 1946 года конец стихотворения «Повиликой молодость повяла...» читался так:

Если б в смертный час меня спросили:
Чем же здесь ты счастлива была?
Я б сказала: я жила в России,
По её дорогам я прошла.

В рецензируемом сборнике эта же строфа читалась иначе:

Если б там, нигде, меня спросили:
Чем же ты так счастлива была?
Я б сказала: я жила в России,
По её дорогам я прошла.

Я написал, что во второй редакции стих теряет в ясности и выразительности.

Когда в начале января 1959 года Звягинцева прилетела в Ереван на Четвёртый съезд писателей Армении и мы познакомились, она поблагодарила за рецензию и сказала:

— Неужели вы не чувствуете, что «там, нигде» лучше, чем «в смертный час»? У меня всегда было «там, нигде». В 46-м году по просьбе редактора я переделала на «смертный час...».

Теперь я знаю, что Звягинцева была права, а тогда не понимал этого. Звягинцеву огорчило не столько само замечание, сколько то, что чего-то я не понимаю, не чувствую.

Её огорчало непонимание. И дело было не только во мне. Вера Клавдиевна говорила, что критики плохо чувствуют стих, что особенно плохо чувствуют слово пишущие о перево-

дах. «Есть у нас, конечно, много понимающих читателей, но ещё сравнительно мало, — писала она в июне 1964 года. — А вкус портят и выступления, и критика... Мартынова, Смелякова, Тарковского, Самойлова — этих поистине прекрасных поэтов знают мало». Она говорила, что очень трудно переводить, если армянские читатели «не слышат русского стиха, им всё кажется неточным, а переводить очень точно — это будет скучно для поэзии вообще».

«Я не могу ему доказать, — писала она об одном критике в июле 61-го года, — что по-русски хорошо, что тяжело и неестественно. Если человек не абсолютно знает язык и, кроме того, не чувствует прелести стиха — что я могу поделаться!»

Звягинцева не оставляла без отклика мои статьи о переводах. Она старалась объяснить мне, в чём я прав, а в чём неправ. «Кое в чём с вами не согласна, например, с критикой Антокольского (о стихах Наири Зарьяна), да и перевод С., хотя очень близко, очевидно, и очень по-армянски, но как русские стихи это не так уж замечательно... Это как раз та выпендренность, которая в современной армянской поэзии отдаляет её от русского читателя» (октябрь 1959).

Вера Клавдиевна оберегала меня от ложных критериев оценки стихотворного перевода, от критического буквализма. «Не сердитесь за замечания, права ли я или нет — я должна высказаться искренне. Моя любовь к Армении даёт мне на это право». Звягинцева постоянно обращала моё внимание на необходимость оценивать стихотворные переводы как стихи: если нет стиха — нет и перевода, каким бы точным нам ни казался такой перевод.

Звягинцева оказала влияние на моё понимание самой сути поэтического перевода. Очень скоро мне стало ясно, что нельзя писать о переводах на русский язык, не учитывая того, как перевод звучит по-русски и звучит ли он вообще.

Я понял и другое: критики-буквалисты, не умея правильно оценивать трудную, двойную, как говорил Борис Пастернак, работу переводчика, оказывают дурную услугу важному делу пропаганды родной литературы.

Конечно, легко (и выгодно!) по всякому поводу ругать переводчиков и утверждать: «Наша литература достойна лучших переводов». Вроде бы такой критик отстаивает интересы своей литературы. Но если он, этот критик, ничего не хочет делать сам, чтобы существовали лучшие, с его точки зрения, переводы, а работа других его раздражает, вызывает зависть, если он только тем и занят, что хочет разрушить построенное другими, он уже не критик, а критикан и о «лучших переводах» говорит демагогически. «Я помню, — писала Звягинцева в июне 1962 года, — как грузинский литературовед заступился за меня по поводу какой-то критики Т.А... Некоторые переводчики, десятилетиями переводившие армян, просто отошли от Армении. Такое непонимание и такая неблагодарность могут довести до отказа от армянской поэзии. *Я не могу разлюбить армянскую землю, народ, историю, но могу перестать переводить. Это я Вам по дружбе...*».

Хотя Звягинцева и написала в сердцах, что может не переводить с армянского, на самом деле она не могла жить, ничего не делая для армянской поэзии, не могла представить себе периодике без своих армянских переводов. Именно поэтому она переводила иногда поэтов средних, переводила иногда стихи слабые.

«Всё, что вы пишете относительно того, что не надо переводить плоховатые стихи, конечно, правда, но если я буду переводить только Кучаков и Исаакянов, то я буду печататься в небольшом количестве — раз в три года!!!

Дело не в деньгах, это меня меньше всего интересует, но тогда меня через два года начисто забудут в той же Армении. А ещё: моя миссия — служение армянскому народу, а в него входят и молодые, неизвестные поэты».

Звягинцева неоднократно возвращалась к этой волнующей её теме: «Вообще я что-то перехожу больше в поэты из переводчиков. Конечно, только Армению буду переводить до

гробовой доски, хотя мне шлют не очень хорошие стихи, а наши модные поэты увлекаются «модернистскими» переводами, которые делают из них Сэлинджеров и Евтушенков...»

В конце 50-х — начале 60-х годов широкая, шумная популярность творчества ряда молодых русских поэтов оказала влияние и на русские переводы. Евг. Евтушенко, Б. Ахмадулина, А. Вознесенский переводили вольно. Кроме того, им подражали некоторые переводчики. О новых веяниях в практике стихотворного перевода Звягинцева высказывалась неодобрительно. «Большие наши поэты... просят переводить “модную молодёжь”, которая из них делает модернистов. А я перевожу то, что написано, — старая манера... Мечтаю о Варужане, обещают издать в Гослите» (март, 1963). В письме, датированном ноябрём 1962 года, она сообщала: «Перевожу только молодых, — приходят, просят, а знаменитости перешли на переводчиков “модерн”».

Любовь Звягинцевой к Армении не была лёгкой. Она глубоко переживала малейшее проявление невнимания, нетактичности. А мы, увы, бываем и невнимательны, и нетактичны. Звягинцева хотела, чтобы в её любимой Армении всё было идеально, и если что было не так, она страдала. В совершенном отчаянии она вдруг писала: «Ну что же я могу ждать от моих дорогих армян, если на писательском пленуме были высказаны “дельные” замечания о низком уровне переводов классиков армянской поэзии????!!» И в этом же письме (начало июня 1962 года) с грустью сообщала: «А Борян в заметке о Кучаке пишет, что напрасно я употребляю такое “грубое”, плотское слово, как “лобзание”. А что у Пушкина и у других классиков постоянно употребляется — это как?! А Кучак более грубоватым должен быть. Наоборот, слово “лобызание” слишком пышно и возвышенно».

Звягинцева должна была постоянно чувствовать, что она нужна Армении. Без этого чувства ей трудно жилось. Но зато как она радовалась, узнав, что в Армении ждут её переводов, ждут её стихов. Радовалась, если даже повод был незначительный. «Один мой знакомый был, примерно с месяц назад, в Ереване, — писала Звягинцева в марте 1965 года, — и на улице слышал, как один сказал другому: “А книга Звягинцевой вышла?..”»

* * *

Как переводчица армянской поэзии Звягинцева работала много и самоотверженно. Были у неё любимые переводы. Любила она свои переводы из Наапета Кучака.

Сборник Кучака в её переводах вышел в свет в 1961 году (М., «Художественная литература»). В предисловии к переводам Аршалуйс Аршаруни писал, что Звягинцева «вошла в весенний, блистающий яркими красками цветущий сад поэзии Кучака и с большим вкусом, с любовью собрала букет из его песен-айренов».

Букет и сад предполагают, казалось бы, соответствующий стиль — цветистый, приподнятый. Но айрены и для Аршаруни, и для Звягинцевой не были традиционно понимаемым цветником восточной поэзии. И хотя Звягинцева хорошо владела искусством передачи «восточного слога», ей было ясно, что айрены надо переводить другим языком — простым, сдержанным. В октябре 1959 года Звягинцева писала:

«Кучака ощущаю вовсе не как “певца любви”, как принято было до сих пор в Армении; мне думается, что он главным образом поэт мысли, прямой, мужественный, народный, иногда борец против несправедливости строя, иногда даже в какой-то мере атеист. Это я всё разглядела в его стихах. В нём нет сладости и женственности Саят-Новы и многих других, в нём отчётливость, реальность, даже любовь у него не “пышно-сладкая”, — а народная, чуть грубоватая, много сдержанного юмора. Боюсь, моего Кучака не сочтут обычным Кучаком, но я уверена, что я права в восприятии его, и для русского читателя он таким будет ближе, чем в прежних переводах...»

Работаю над ним тщательно и давно, из-за этого не сдала даже вовремя книгу».

Звягинцева не то чтобы модернизировала подлинник, но передала айрены стихами, близкими современному русскому читателю:

Люди пришли и сказали: — Стал твой любимый монахом. —
В недоуменье безмолвном я размышляю со страхом:
Как он смирится с горохом — сладкое ел на пирах он.
Как власяницу наденет — к тонким привык он рубахам?!

В отдельных случаях Звягинцева несколько расширила смысл подлинника. Не будучи беспристрастна к переводимым стихам, она высказывала своё отношение к мыслям, выраженным в подлиннике. В одном из переводов Звягинцевой читаем:

Я шёл по улице, увидел огни горящих свеч,
Лежал там юноши умерший, перед тем, как в землю лечь.
И вдруг свеча заговорила: — Живых бы вам беречь.
Сгорел он, что ж над головою моею пламя жечь?!

В подлиннике нет этого «живых бы вам беречь». Эта мысль привнесена переводчицей. В этом сказала её воля. Нельзя переводить стихи, не выражая к ним своего отношения. Хорошо, когда при этом мысль подлинника не корректируется. Переводы Звягинцевой согреты и личным отношением, и стремлением сохранить идею подлинника нетронутой, хотя в данном случае мысль подлинника приобретает новое, дополнительное значение — любите живых. Переводчик, думается, превысил свои полномочия.

Особенно прекрасны в переводах Звягинцевой айрены, обличающие царей, князей и духовенство:

Цари, князья, врата закона, властители земли,
Вы, злых начальников поставив, скрываетесь вдали.
Пришли к вам те, кого на горе, на смерть вы обрекли.
Подумайте, они не к богу — к вам с жалобой пришли!

Кучак — поэт, полный сердечного сочувствия к народу, автор песен о пандухтах — скитальцах, добывающих кусок хлеба на чужой неласковой земле. В переводах Звягинцевой передана горечь одинокой жизни странника на чужбине, тоска по родному очагу:

Жалок тот, кто, имея немало родных и семью,
Сам от них оторвался и жизнь омрачает свою.
Все по праздникам вместе, как будто в цветущем раю.
Он же сломанной веткой иссохнет в пустынном краю.

Беда и непопулярность многих переводов с армянского в том, что эти переводы часто, удовлетворяя всем требованиям верности и точности, оказываются плохими стихами. У переводчика, говоря словами Тургенева, нет *стиха*. Переводы Звягинцевой тем и хороши, что она стремилась сохранить основное качество айренов — их художественность.

Кучак Веры Звягинцевой был встречен в Армении доброжелательно, но чувствовалась в оценках какая-то сдержанность. До Звягинцевой хорошо перевели цикл айренов Кучака Брюсов и Сологуб, переводы которых были опубликованы в антологии «Поэзия Армении» (1916). Отдельными книгами на русском языке Кучак издавался в очень плохих переводах А. Амбарцумяна (1904) и Ал. Степанэ (1941). Звягинцева во многом реабилитировала «русского» Кучака. Но её работа, как теперь я вижу, не была тогда должным образом оценена. Я и сам в том повинен: у меня была в армянской литературной газете «Гракан терт» небольшая статья о Кучаке Звягинцевой. Русский текст статьи я послал Вере Клавдиевне.

«Дорогой Левон, — ответила она в июле 1962 года, — большое спасибо за статью и за перевод её. Правда, я представляла себе, что Вы напишете иначе. Всё-таки Вы очень много говорите о неудачах, а в чём они — мне не видно.

Моё дело — смысл, интонация и характер поэта. Да и детальных отступлений у меня очень мало, разве что подстрочник кое-где был неясен. Но это я уж слишком много хочу от восприятия армянского читателя!.. В общем, спасибо. Ещё буду работать над новыми айренами и “приближать” уже переведённые. Вот для приближения мне и надо знать, где я действительно отступаю не в деталях, а в содержании. Как-нибудь Вы мне напишите о нескольких неверностях (с Вашей точки зрения), и я подумаю. Для меня и для русских читателей самое главное *естественность интонации и реалистичность* в передаче столь далёкой по времени поэзии. Знаю, что о моём Кучаке было в Бейруте, и в Нью-Йорке, и в “Новом мире”...»

* * *

Горячо был принят Кучак Звягинцевой студенчеством Еревана. Оно зачитывалось её Кучаком.

В октябре 1963 года Звягинцева приехала в Армению. Узнав об этом, студенты русского отделения филологического факультета университета организовали встречу с ней. Пришли на вечер и студенты армянского отделения.

Позже, вспоминая об этом вечере, она писала в своих заметках об Армении:

«Молодёжь в университете мила, смела, начитанна. Слушают превосходно, многим интересуются. Пишут рефераты о моих стихах об Армении, знают Кучака и по-армянски, и по-русски.

Мне хочется благодарить их, а не принимать их благодарность. Ведь это они — моя Армения. И то, что они знают мои стихи о ней (о себе самих), — это мне очень дорого».

Впечатление было настолько сильным, что Звягинцева написала стихи «Армянской молодёжи»:

Нейдёт из головы тот разговор
С гурьбой студенческой порой осеннею.
Меня спросил разноголосый хор:
— За что так полюбили вы Армению?¹

Молодёжь, увлечённо читавшая переводы Звягинцевой, радовала её. Она много думала и говорила о новых переводах: «Вы обещали мне подстрочники непереверждённого Кучака, — писала она в апреле 1964 года. — Мне хочется иметь, хотя сейчас у меня трудная и не маленькая работа, но в июле — августе я в Коктебеле хочу, на террасе, под плеск моря и шелест сада, заниматься Кучаком».

Я послал подстрочники ряда стихотворений. Были подстрочники и таких айренов, которые Звягинцева уже переводила. Они были посланы по недосмотру. Звягинцева решила, что это сделано специально для того, чтобы она исправила свои переводы. «...Неужели вы не помните моих Кучаков о зелёном лице, о лампаде и храме? Всё это, и птица, ночью не спящая, напечатано!!! Ну, я, может быть, что-нибудь переделаю, но таких слов, как “соски”, вы от меня не дожждётесь: я вам не Аксёнов, не Шолохов и даже не Хемингуэй (последнее — к сожалению), я реалист, но в меру».

Идея переиздания дополненного сборника своих кучаковских переводов увлекла Звягинцеву очень. В мае 1965 года она писала о своём разговоре с одним поэтом, который

¹ Стихотворение впервые опубликовано в журнале. «Достаньте № 1 “Литературной Армении”, — писала Звягинцева в феврале 1965 года, — и покажите девушкам в университете, там стихи “Армянской молодёжи” — про нашу встречу».

только что вернулся из Еревана: «Сейчас он прочёл мне по телефону чудное своё стихотворение... И сердце щемит от моей непреходящей, непостижимой любви к Армении. Он говорил мне, что меня бранили за Кучака...»

В 1972 году издательство «Художественная литература» выпустило наконец избранный томик Наапета Кучака в избранных переводах. Переводы Звягинцевой заняли в этом однотомнике достойное место. Её переводы из Кучака вошли также в книгу «Средневековая армянская лирика», вышедшую в свет в том же 1972 году («Библиотека поэта», Большая серия). Взыскательному редактору «Средневековой армянской лирики» Марии Петровых очень нравился Кучак Звягинцевой. «Алмазные переводы Веры Клавдиевны», — говорила она. Оба эти издания Звягинцева видела. Но она была уже тяжело больна. Да и мечтала она о большем — о своём новом сборнике Наапета Кучака.

В нашей переписке, в наших разговорах много места занимал ещё один поэт — Аветик Исаакян.

«Мне посчастливилось: мне дарил свою дружбу великий поэт Аветик Исаакян...» — писала Звягинцева в одной из своих заметок¹. В письме сообщала некоторые детали, частности:

«Я получила из Исаакяновского музея просьбу прислать письма, воспоминания, фотографии...

Воспоминаний не люблю писать, всё, что помнишь, не всегда подходит для опубликования, а писать официально не люблю. Писем он мне не писал, бывать у него я бывала, и провожал он меня домой в “Интурист”, ещё когда жил на углу ул. Гнуни...» (8 сентября 1961 года).

Звягинцева знала, что меня очень интересует всё, что касается Исаакяна: я писал книгу о нём и просил её рассказать об исаакяновских переводах, о том, как она работала над ними. В начале июня 1969 года пришло от Звягинцевой большое письмо. То были её заметки о работе над лирикой Исаакяна (эти заметки, очень интересные, опубликованы в моей книге «Аветик Исаакян и русская литература», Ереван, 1963).

Работая над упомянутой книгой, я изучал брюсовский перевод знаменитой поэмы Исаакяна «Абул Ала Маари». Новый перевод Павла Антокольского критика признала неудачным. Звягинцева считала, однако, что перевод Антокольского превосходит. Она обиделась за переводчика. В ноябре 1960 года она писала мне: «Не говорю уж о беспрецедентном охаивании переводов Антокольского — одного из самых блестящих поэтов и переводчиков! Его просили, вернее, *упросили* перевести «Абул Ала Маари», потому что перевод Брюсова (при всём нашем безграничном уважении к его деятельности) тяжёл для русской поэзии».

Но дело в том, что я тоже считал (и сейчас считаю), что из двух русских переводов «Абул Ала Маари» лучшим является брюсовский. Это, конечно, не значит, что перевод Антокольского надо охаивать. Я написал Звягинцевой о своих взглядах на оба перевода. «Вам же, мой милый молодой друг, я хочу попробовать доказать, что перевод Антокольского лучше брюсовского», — ответила Звягинцева подробным письмом. Некоторые её замечания о переводе Брюсова были бесспорны и интересны, но в целом она не убеждала.

Спустя четыре года Звягинцева вспомнила о нашей полемике. «Дурян у меня всё же есть, но есть и стихи, которые переводил Брюсов, уж их-то я не стану переводить, а то вы и К. ...меня в порошок сотрёте, как моего дорогого Антокольского за Исаакяна».

Звягинцева не любила переводить стихи, кем-то уже переведённые. Она просила узнать, нет ли непереведённых стихотворений Исаакяна. «Хочется напомнить о нём чита-

¹ Вместе с том, когда в сентябре 1964 года я послал Звягинцевой корректуру своей статьи о ней, статьи, в которой писал, что её связывала многолетняя дружба с Исаакяном, она меня поправила: «Я убрала в корректуре дружбу с Варпетом (этого всё-таки не было)».

телям. Хотя бы одно стихотворение...». Племянник Исаакяна А.Г. Исаакян послал ей подстрочники нескольких стихотворений. Звягинцева сразу же их перевела, перевела любовно, талантливо. «Переводы неопубликованных стихотворений Варпета “Дружба народов” возьмёт, но хорошо бы ещё парочку. Акоп Салахян сказал, что попросят Тихонова сделать маленькую “шапку” к переводам и дадут. Но не сейчас — октябрьский номер уже готов и весь посвящён съезду». В этом же письме она сообщала: «Недавно в нашей секции и в Гослите было обсуждение нового издания: “Библиотека сокровищ мировой лирики”. Я выступила, чтобы был Исаакян, так как Туманян силён больше всего поэмами и сказками, а Исаакян — лирик мирового звучания» (сентябрь 1961 года).

Вскоре после этого письма А.Г. Исаакян послал Звягинцевой новые подстрочники.

«Тут есть чудесные, хотя и мрачные, стихи, но это же годы скитаний и пора самодержавия, — писала Звягинцева в сопроводительной записке к своим переводам. — Кое-что перевела (для русского стиха) не совсем уж точно. Но вообще очень близко.

Каждое стихотворение переделывала по 10—12 раз и столько же перепечатывала. А с виду просто...».

Простота, или, как сказала в другой связи Анна Ахматова, «головокружительная простота», была основным свойством лирики Исаакяна. Его потому и называли Варпетом, Мастером, что его стихи были лишены примет мастерства. Он, так сказать, преодолел мастерство, как преодолевают звуковой барьер: звука нет, ибо звук остался там, за скоростью. Так и у больших мастеров поэзии — их стихи лишены примет мастерства. Мастерство словно бы осталось за стихом, оно преодолено.

Безыскусственность исаакяновского стиха удивительна. Её-то и старалась воспроизвести Звягинцева в своих новых переводах. Когда некоторые её переводы были опубликованы, она писала: «Видели ли вы мою подборочку Исаакяна в “Литературной Армении”? По-моему — мило и очень пахнет Исаакяном. Нравятся мне главным образом стихи: “Пусть над безымянной могилой моей...” и “Растерянно дикие утки взлетели...”».

Звягинцева посвятила Исаакяну несколько статей и ряд проникновенных стихотворений.

Когда читаешь Исаакяна, говорила она, «словно кто-то проводит смычком по сердцу». Она писала об этом в стихотворении «Аветик Исаакян»:

Как болит моё сердце, как бьётся
От задумчиво скорбных стихов:
«Погоди, караван! Мне сдаётся,
Что из родины слышу я зов...».

Звягинцева цитирует здесь Исаакяна в переводе Александра Блока. Она боготворила Блока. Она писала о нём в своих ранних стихах и в поздней лирике. Очень любила Звягинцева блоковские переводы из Исаакяна.

Об одной своей статье, посвящённой Исаакяну, Звягинцева сказала: «Написала лично и правдиво». И писала она как поэт, избегая терминологической сухости, нарочитой научности слога. Она говорила об Исаакяне, что это «человек с лицом со старинной армянской фрески, с тяжёлой походкой, как бы утомлённой тысячелетними армянскими дорогами». Это очень точно портретно, но точность здесь не внешняя. Аветик Исаакян — поэт армянской судьбы. Так и написан его портрет Верой Звягинцевой.

* * *

В 1963 году я составил книгу избранных армянских переводов Звягинцевой и её стихов об Армении (первое издание «Моей Армении» — так называлась книга — вышло в свет в конце 1964 года, второе — в 1969 году).

«Моя Армения», как говорила Звягинцева, была её главной армянской книгой. Правда, ещё в 1960 году была переведена и издана на армянском языке книга её стихов «Зимняя звезда». Звягинцева придавала этому изданию большое значение. И всё-таки её многолетняя работа переводчика армянской поэзии была обобщена в «Моей Армении».

Часто переводчики включают в свои сборники решительно всё, что было ими переведено. Звягинцева хотела отобрать свои лучшие переводы. Она мне прислала список тех своих переводов, которые хотела бы видеть в «Моей Армении». И к отбору своих собственных стихотворений она относилась строго. «Да, если будет книга, — писала она в октябре 1963 года, — пусть так, как вы нарисовали. Но не надо стихов ни о Грузии (речь идёт о стихотворении “На смерть Исаакяна”. — Л. М.), ни “Есть у меня давнишняя любовь”, мне сейчас оно не нравится, при чём тут Рим, Париж?! Не нравится». Звягинцева тщательно просматривала состав книги. То ей казалось, что надо бы включить в книгу ещё какие-то переводы: «У меня так много оказалось переводов Сильвы, и мы далеко не лучшие взяли. Я не помню, есть ли у нас знаменитое “Слово сыну”? Есть очень милое Антуни, а мы не взяли... Ну и Геворка мало, но всего сразу необразишь»; то вдруг она писала, что книга её не радует: «Что-то я не радуюсь нашей книге, стара она, что ли?.. многие переводы надоели... Не сердитесь!»

Всё это говорит о её пристрастии, о том, что она много думала о книге. Однажды мы поспорили. Я был против того, чтобы в книгу вошли переводы стихов — воспоминаний о прошедшем детстве: стихи мне казались однообразными и сентиментальными. Звягинцева возражала. В стихотворении, посвящённом мне, она написала:

Опять стою у старенькой калитки¹
На маленьком клочке большой земли.
Сюда, как перехожие калики,
Меня воспоминанья привели.
Стараюсь в незабытый сад взглянуться,
Пахнуло вдруг вечерней резедой...
Но вы не любите стихов о детстве,
Недавний друг мой, слишком молодой...

Звягинцева хотела, чтобы в книгу вошли не просто её лучшие переводы, но стихотворения ей как поэту близкие. И ей было грустно, что я не всегда в силах её понять.

...В январе 1965 года я был в Москве. Звягинцева, только что получившая экземпляры «Моей Армении» (книга вышла в самом конце 1964 года), надписывала книгу друзьям. «Нет имени выше и прекраснее, чем имя Мартироса Сарьяна, нет чести высшей, чем честь быть его верным другом» — так был надписан экземпляр, посланный Сарьяну.

В «Моей Армении» были стихи, посвящённые художнику.

— Теперь о Сарьяне пишут все, — говорила Вера Клавдиевна, — а я написала о нём в 1940 году, когда он не был так почитаем. И Армению полюбила не такую всеми посещаемую, туристическую...

«Моя Армения» удостоилась хороших отзывов, что не могло не радовать Звягинцеву: «Про “Мою Армению” многие говорили и звонили. Особенно нравится Чуковским, и Корнею в том числе».

¹ Здесь («Опять стою у старенькой калитки...») Звягинцева имеет, очевидно, в виду своё стихотворение 1939 года «Калитка»:

Нет, не стереть даже счастья избытку
Давнего детства любимый узор,
Я и во сне отворяю калитку
В старый, заросший крапивою двор...

Звягинцева, однако, опасалась, что «Мою Армению» могут воспринять как книгу, подводящую итог её работе переводчика армянской поэзии. А она была полна замыслов... «Конец работы над “Моей Арменией” не есть конец моей Армении», — писала она в феврале 1965 года.

Время работы над «Моей Арменией» совпало с началом моего увлечения тысячелетней поэзией Григора Нарекаци, его «Книгой скорбных песнопений». Я попросил Звягинцеву перевести отрывки из «Книги...», думая, что успеем их опубликовать в «Моей Армении».

«Если пришлётё немного Нарекаци — попробую», — писала Звягинцева в августе 1963 года. Но только в 1966 году были посланы Звягинцевой подстрочники отдельных глав «Книги скорбных песнопений». «Да, — сообщала Звягинцева в июне 1966 года, — я перевела Нарекаци, ещё не отделала. Но куда вы его денете, такого скорбного и всё время разговаривающего с богом?» Нарекаци, мне думается, не удался Звягинцевой. Кроме того, работа над ним была всего лишь эпизодом в её многолетней деятельности переводчика. А ведь это поэт трудный для перевода, не поддающийся переводу. И всё-таки я с благодарностью думаю и об этой небольшой работе Звягинцевой. Она хотела что-то сделать для Нарекаци и дать хоть какое-то представление русскому читателю о «Кинге скорбных песнопений», тогда совершенно неизвестной в России. Отрывки из её перевода были опубликованы в 1966 году в Ереване и в 1969 году в «Литературной России» (в номере от 14 ноября).

* * *

В рецензии на «Зимнюю звезду» я писал, что стихи Звягинцевой заражают нас чувством жизни, если даже это стихи о смерти близкого ей человека. В подтверждение называл, в частности, стихотворение «Так я и не успела...».

Вскоре, в январе 1959 года, в разговоре с Верой Клавдиевной я вновь упомянул это стихотворение и прочёл по памяти его конец:

Небо рыдает громом,
Первой грозой весенней,
Люди идут за гробом,
Тучи плывут в смятенье.
Слышишь ты — кто-то стонет,
Видишь ты — льются слёзы.
Это тебя хоронят
Против большой берёзы.

Звягинцева сказала, что стихотворение написано об Александре Фадееве, о его похоронах. И горячо, вдохновенно стала рассказывать о Фадееве, о том, как он любил Армению, как «вернул армянам Раффи» (одно время книги Раффи не переиздавались, Фадеев сыграл решающую роль в восстановлении доброго имени этого выдающегося романиста).

Звягинцева была верна, преданна своим друзьям. Она говорила, что дружба священна. «Измена в любви возможна и естественна. В дружбе — чудовищна», — писала она в январе 1967 года.

Можно не согласиться со Звягинцевой, сказать, что и в любви измена чудовищна. Но, очевидно, и любовь сильна дружбой. Мало радости в любви без дружбы. «Человеку нужен человек», — сказала Звягинцева в стихотворении «Долго мы судили и рядили: что всего нужнее на земле...».

* * *

С середины 60-х годов здоровье Веры Клавдиевны ухудшилось. Она отказывалась от поездок, хотя любила ездить.

Я, конечно, ещё могу
В самолет рано утром сесть,
Чтоб взглянуть на Масис в снегу,
Постоять часок над Зангу
И, как смолоду, на бегу
Суток пять прожить или шесть, —

писала она в 1962 году в стихотворении «Под уклон пошло, под уклон...».

В октябре 1963 года мы с Верой Клавдиевной (она прилетала на юбилей Саят-Новы) гуляли по Еревану.

— Вот и постояли часок над Зангу, — сказала Звягинцева.

Позже, в октябре 1965 года, она писала: «Дорогой Левон! Может быть, “постоим над Зангу”, кто его знает. У меня бессонница и пониженное давление, которое, правда, не могут меня остановить. “Скрестите мне руки, закройте веки — я всё-таки оживу”. Николай Корнеевич говорит, что мы с ним поедем и Шервинский».

Во второй половине ноября мы с Верой Клавдиевной постояли часок над Зангу. Не было Николая Корнеевича Чуковского. Его внезапная смерть потрясла Звягинцеву. Она очень дружила с семьёй Чуковских — Мариной Николаевной и Николаем Корнеевичем.

«Я как топором по голове оглушена. С дней смерти моего мужа я не испытала такого ужаса, такого удара. Николай Корнеевич...

Накануне мы сидели около пяти часов подряд, обсуждали “Литературную Армению”, всё говорили. Он говорил блестяще, ярко, был красив, весел...» — писала Звягинцева 9 ноября 1965 года.

Письмо было подробным. Вере Клавдиевне было больно, она хотела высказаться. «На траурном митинге прекрасно говорил Атаров о русской интеллигенции. И Сергей Сергеевич. Похоронили на Новодевичьем. Этому имени нет. Жизнь ужасна, Левон!..

Николай Корнеевич звал меня только “ВЭ КА”».

Смерть Николая Чуковского была потерей и для армянской литературы. Он любовно переводил армянских поэтов. Его переводы из Аветика Исаакяна и Гегама Сарьяна прекрасны¹. В последние годы жизни он возглавлял Совет по армянской литературе при Союзе писателей СССР, начал свою работу председателя Совета энергично, был полон планов...

* * *

20 ноября 1965 года в редакции одной ереванской газеты была организована встреча с Верой Клавдиевной. Она отвечала на вопросы, читала стихи. Сидела Звягинцева за большим редакторским столом. Попросили, чтобы она прочла своё известное стихотворение «Моя Армения».

— Не знаю почему, но это стихотворение я должна читать стоя, — сказала Вера Клавдиевна.

Встали и все присутствующие.

И куда же меня занесло?
От черёмух, плетней и акаций
Перекинуло к солнцу в жерло
К лиловатым снегам Арагаца!

¹ Избранные стихотворные переводы Н.К. Чуковского собраны в его книге «Время на крыльях летит...». М., «Художественная литература», 1967.

Не в библейский — в сегодняшний рай.
В терпкий запах рехана и перца,
В этот рыжий обветренный край,
Где от песен заходится сердце.

В детстве — рожь, курослеп на лугу...
А теперь не прожить мне и часа,
Не подумав о бурной Зангу,
О певучей весне Комитата... —

читала Звягинцева, и было как-то особенно торжественно и чисто. Читала она, словно клялась в любви и верности нашей земле, нашему народу.

Вера Звягинцева очень страдала, что не могла из-за здоровья ездить в Армению так часто, как ей хотелось: «Поеду в скучное Переделкино, но главное, мне бы вылечиться для Армении» (июнь 1966 года); «Мне сказали, что Съезд 17 ноября... А у нас уже снег. Я включена в делегацию, но могут и отключить... Скажут, что больная... А я больна или здорова — всё равно полетела бы, только по гостям бегать не стала бы» (октябрь 1966 года); «Вы спрашиваете, как работается. Увы, не “работается”, а только “болеется”. Скоро наедут армяне, а меня как не бывало» (3 мая 1967 года); «Будут армянские вечера, но выступить я не смогу. Опять же по слабости и безглазию» (23 мая 1967 года).

Был период, когда Звягинцевой стало лучше. 11 марта 1969 года она пришла в Центральный дом литераторов на творческий вечер Сильвы Капутикян. Выступила. Она очень ценила лирику Капутикян. В январе того же 1969 года Звягинцева писала о ней: «Её стихи — это голос страны с трагической историей и несказанными печальями в прошлом, голос страны неиссякаемого жизнелюбия и трудовых подвигов...» («Литературная Россия», 17 января).

В июне — июле 1969 года Звягинцева отдыхала в переделкинском Доме творчества, а я там же, в Переделкине, заканчивал чтение вёрстки последнего, третьего тома сочинений Ованеса Туманяна на русском языке. Некоторые статьи Туманяна, вошедшие в третий том, по просьбе Звягинцевой я читал ей вслух. «Хорошо написано о смерти Цатуряна», — заметила она.

— Вы же из Грузии. Вам близка любовь Туманяна к Грузии, — сказала Звягинцева, слушая вдохновенное слово армянского поэта о Грузии и грузинах, слово, идущее, как сказал бы Нарекаци, из глубин сердца.

...Ещё раз я встретил Веру Звягинцеву в переделкинском Доме творчества в августе 1972 года, за месяц до её смерти.

Звягинцева лежала с переломом бедра. Её должны были перевезти в больницу. Наши разговоры были короткими:

— Вчера приходили две девушки из Еревана, студентки. Цветы принесли.

— А в Армении все поумирали — Маари, Наири Зарьян, Мартирос Сарьян и даже Паруйр Севак.

Звягинцева спросила, читал ли я «Новый мир»:

— Была подборка от Сильвы до Геворга¹.

Иногда она говорила несколько слов по-армянски.

— Ес айерен хосум ем, кардум ем (Я по-армянски говорю, читаю).

И ещё в конце августа в больнице (ей было совсем худо) она сказала:

— Бари гишер, бари луйс, бари кянк (Доброй ночи, доброго утра, доброй жизни).

Вера Звягинцева прощалась с Арменией, любовь к которой («...И сердце щемит от моей непреходящей, непостижимой любви к Армении») она пронесла через всю свою жизнь.

¹ Речь идёт о Сильве Капутикян и Геворге Эмине.

Скрестите мне руки, закройте веки —
Я всё-таки оживу:
Пройду по горам, все моря и реки
Без страха переплыву!
К приснившимся мне наяву нагорьям
Опять я приду, опять.
Я с ними не стану делиться горем,
Ни плакать, ни тосковать...
Я буду армянские песни слушать,
Встречать над Зангу зарю
И на волоске висящую душу
Сухой земле подарю.

Уходя из больницы (Вера Клавдиевна лежала в тесной одиночной палате), я погладил её маленькую неподвижную руку, хотел что-то сказать ей, но не знал, что...

Никто не знает, что можно сказать человеку, когда человек умирает... Никто.

ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ

ЗИМНЯЯ ЗВЕЗДА

Маленькая повесть

1

Если вы спросите встречного, как пройти к Хоромному тупику, вам ответит не всякий. Между тем два строения, обозначенные этим адресом, находятся в самом центре Москвы, окна их обращены к Садовому кольцу, к тому историческому пространству, где когда-то стояли Красные ворота, а по соседству стоял дом, в котором родился Лермонтов.

Да и сам Хоромный тупик имеет свою историю. Здесь красовались хоромы князей Юсуповых. А сколько видел и слышал дом № 4, который к счастью сохранился!

Хозяйка этого особняка Авдотья Петровна Елагина и её сыновья — известные литераторы Иван и Пётр Киреевские — были тесно связаны с передовыми людьми своего времени.

Радушный дом в Хоромном посещали Пушкин и Грибоедов, Жуковский и Гоголь. Здесь пылко полемизировал со славянофилами Герцен.

Литературный салон Елагиной, просуществовавший более четверти века, не зря называли «Республикой у Красных ворот».

Но столько памятных замет в нашем стольном городе, что этот уголок, достойный почтительного внимания, остался в тени. Так многозвучна и многоцветна топонимика старой Москвы, что скромное словосочетание «Хоромный тупик» нелегко расслышать среди знатных имён, бытующих на здешнем отрезке Садового кольца — ведь и ныне у всех на слуху Самотека и Сухаревка, Сретенка и Мясницкая, Орликов и Каланчовка, Покровка и Земляной вал. И уж вовсе тушует малый тупик в сегодняшнем городском грохоте, в перезвоне новых названий, наконец, на просторном фоне всего, что возникло вокруг за минувшие полвека: от всемирно известного дома Корбюзье на улице Кирова до ступенчатых высотных зданий на Лермонтовской и Комсомольской площадях, от округлого павильона ближайшей станции метро до сплошь застеклённой прямоугольной конструкции вновь построенного Курского вокзала. И много ещё всего воздвигнуто в этой округе вдоль столичной трассы и на прилегающих улицах. А уже задуман Ново-Кировский проспект, который, подобно Калининскому, в будущем соединится с непрерывно меняющимся Садовым кольцом, как сверкающий луч с ободком короны.

Где уж старому тупику тягаться с молодыми магистралями!

Однако, если подняться из метро на Лермонтовскую площадь и пройти шагов пятьдесят вправо, вот он, Хоромный, на самом виду, разве что несколько киосков да крохотный сквер отделяют его от широкошумного кольца.

Прежде всего перед нами предстанет угловой дом № 2/6. Торцом главного фасада он примыкает к бывшему елагинскому владению, а боковым фасадом выходит в Боярский переулок, чьё название тоже не случайно — тут располагались в своё время живописные усадьбы московских бояр.

Дом сравнительно молод — его построили в нашем веке, видимо, в конце двадцатых или начале тридцатых. Но здание хорошо вписывается в окрестный пейзаж и в историю города.

Когда мне случается проходить здесь, я останавливаюсь у дома 2/6 и с грустью поглядываю на прямоугольную арку ворот — незачем углубляться во двор, сворачивать вправо,

открывать дверь подъезда, нажимать кнопку лифта. Потому что в квартире № 42 на пятом этаже теперь живут чужие люди, чужая мебель расставлена в двух маленьких комнатах, нет знакомых книг, знакомых картин и чуть выцветших фотографий.

А главное, не выйдет навстречу старая женщина, не скажет: «Заходите, Акоп, давно вас не видела, покажитесь, какой вы нынче».

Зато сразу вспоминается как она, бывало, приподняв очки, сощуриив свои глаза, и впрямь начнёт всматриваться в тебя, а потом с оттенком удивления промолвит: «Ничего не скажешь, действительно — Акоп, всамделишный Акоп!» Опустив очки, удовлетворённо добавит: «Вполне даже — Акоп!» И ты пойдёшь вслед за нею в тесный кабинет, а там всё впритык — тахта, книжный шкаф, рабочий стол, секретер, старое кресло. Вещам тесно, зато словам просторно, есть что послушать, но всегда найдётся и угощение — в столовой, такой же крохотной, уже накрывается чайный стол. Звякают чашки, но позванивают и фужеры. А тебе торжественно сообщают: «Представьте себе, Акоп, я как раз получила в подарок аштаракское вино, отличное! Впрочем, есть и коньяк отнюдь не московского разлива, потомок знаменитого шустовского».

В шкафу выстроились томики армянских поэтов, почти все с авторскими надписями, на стене висит портрет хозяйки дома, принадлежащий кисти Мартироса Сарьяна, а сама она читает себе стихи Ованеса Ширазы и спрашивает: «Ну, как вам эти строки, Акоп?».

Можно подумать, что мы с ней уроженцы Еревана, встретившиеся в районе заснеженной Садовой, чтобы вспомнить родную сторонку.

На деле всё обстоит иначе. Радушная хозяйка увидела свет в Москве, детство провела в Пензенской глубинке близ Верхнего Аблязова, где рос Радищев, потом вернулась в родной город. Одна из её ранних книг называлась «Московский ветер» и написана была, как всё, что вышло из-под пера этой женщины, на родном, прекраснейшем русском языке.

Кажется, нет лучшего адреса для неё, чем дом в Хоромном: она так же связана с московской традицией, как эта улочка, так же имеет право на всеобщее внимание, но привыкла жить в тени, нисколько этим не тяготясь.

Что же касается меня, то я родился на Украине, но с юных лет обитаю в Москве. В Армении был только однажды, да и то недолго. И зовут меня вовсе не Акоп, хотя настоящее моё имя созвучно с тем, которое любит произносить Вера Клавдиевна Звягинцева.

Теперь, когда героиня рассказа названа, читателю ясно, что, оставаясь коренной и типичной москвичкой, она имеет прямое касательство к Армении, которая зримо и незримо присутствует в её судьбе, в её комнатах, даже в том, как она обращается ко мне при встрече.

Но ведь и это неотделимо от московской, от русской традиции — душевная причастность к жизни других народов.

В соседнем доме, у Елагиной, Грибоедов мот, рассказывая о дальних странствиях, называть имена своих друзей — грузинских поэтов.

И не только он.

«Я взглянул ещё раз на опалённую Грузию и стал спускаться по отлогому склонению горы к свежим равнинам Армении».

Эти строки из «Путешествия в Арзрум» ещё до написания могли прозвучать в том же елагинском салоне, если бы Пушкина попросили поделиться увиденным на юге.

«Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство моё, на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали».

Так Лермонтов, родившийся в доме напротив, откликнулся на романтическую поездку, совершённую в раннем возрасте.

«Думаю... о Кучаке и Исаакяне, оба пленили меня» — это из письма Блока Брюсову.

А вот и Брюсов: «Благодарю, священный Хронос! Ты двинул дней бесценный ряд — и предо мной свой белый конус ты высишь, старый Арарат!»

Традиция продолжается.

«Я — дедом казак, другим — сечевик, а по рождению — грузин».

Это уже Маяковский.

«Давайте с первых строк обнимемся, Паоло!» — пылкое обращение Пастернака к Яшвили стало формулой поэтического братства.

Разве не о том же сказано у Звягинцевой?

«Равно я добрым жаром сердце грею, уж такова загадка бытия: не будь Россия родной моею, Армению не полюбила б я».

2

Но до её встречи с Арменией минула половина жизни. Были поиски своего пути, возникали увлечения и разочарования, увидели свет две книги стихов, доброжелательно встреченные. Была похвала Горького, который говорил о Звягинцевой, как о «поэтессе... вполне сложившейся». Но было и недовольство собой. Потом возникла пауза, отнюдь не бездеятельная. Когда поэт молчит, это вовсе не значит, что он перестал писать стихи.

Вновь и вновь обратимся к заповеди Пастернака: «...И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой отчёркивая на полях».

Безмолвие может оказаться действеннее торопливых высказываний, продиктованных инерцией. Наконец, существует феномен переводческого искусства, которое для истинного художника неотделимо от его собственных замыслов. Оно требует полной самоотдачи, но зато воздаёт поэту сторицей, открывая перед ним новые возможности в оригинальном творчестве.

Звягинцева прошла через всё это. Внешний пробел был у неё до краёв заполнен трудом, раздумьями, дорогами и встречами. И, когда Армения ворвалась в её жизнь, Вера Клавдиевна благодарно приняла этот подарок.

Вот что писала она много лет спустя:

«...В 1934 году к собственным стихам присоединилась работа над переводами. К ней привлекли меня друзья — Борис Леонидович Пастернак и Павел Григорьевич Антокольский.

Эту работу я начала с перевода армянских поэтов. Сперва переводила, пользуясь подстрочником, потом стала изучать армянский язык.

...Тогда Армения ещё не была такой блестящей, такой посещаемой, как сейчас. Навсегда она вошла в моё сердце со своей трагической в прошлом и прекрасной в настоящем судьбой, со своими горами и долинами, с вечным, будто плывущим над ней Араратом».

Вера Клавдиевна щедро отдала эту землю и её поэтов.

Потом началась война, которая резко обострила все чувства. Именно на этом трагическом рубеже выкристаллизовалась третья звягинцевская книга, вышедшая из печати через двадцать с лишним лет после второй.

В новой книге, продолжившей давние поиски, возник своеобразный сплав, заявила о себе лирика, равно восходящая к Некрасову и Блоку.

«Если приглядеться к поэтике Веры Звягинцевой, — писал в одной из своих статей Лев Озеров, — то явственно проступит это, с первого взгляда, странное совмещение...».

Совмещение и впрямь неожиданное. Озеров прав — при суждении поверхностном оно способно озадачить.

Но мы, к счастью, далеко ушли от однозначных школьных прописей. Современному читателю легко ощутить пронзительную нежность некрасовских проповедей и мужественную гражданственность безоглядных блоковских признаний. К этому сегодняшнему пости-

жению нас привела и Звягинцева. Пусть её строки не сопровождались критическим славословием, вдумчивый читатель нашёл их и оценил по достоинству.

Внешне простые, они пленяли свежестью выражения, традиционные по форме, они выбрали боль и надежду своего времени. Уроки великих учителей обернулись отнюдь не подражательством. Восприятие было весьма плодотворным. Личность автора и воздух века сочетались в неброских звягинцевских строфах, естественных, как дыхание.

Сборник назывался «По русским дорогам». Подчёркнуто простое, но ёмкое заглавие. Место и время, обозначенные на обложке, подтверждались каждой страницей этой книги.

И как нечто само собой разумеющееся в неё вошли первые стихи армянского цикла, которому предстояло развиваться из года в год, не иссякая, до последних месяцев земного бытия Звягинцевой.

Столь же естественно сборник «По русским дорогам» завершался переводами — любовные песни Саят-Новы, патетика Микаэла Налбандяна, мудрая лирика Аветика Исаакяна — звучали на этих страницах по праву душевного родства.

Вот четверостишие из той же книги, написанное в зрелую пору, когда многое уже состоялось или не состоялось, но до окончательных итогов было ещё далеко.

Повиликой молодость повяла,
Жизнь нельзя сказать, чтоб удалась.
Всё же повторяю, как бывало;
Слава той, что вихрем пронеслась.

Написано сдержанно, даже осторожно: «...нельзя сказать, чтоб удалась».

Потому что есть ещё время для попыток и раздумий. Но в любом случае осознание полноты удачи вряд ли придёт. Талантливому и умному человеку оно вообще противопоказано. И как бы там ни было, в конце жизни, всё равно будет казаться, что она пронеслась коротким ливнем. Лишь теперь, глядя со стороны на эту судьбу, физически исчерпанную, можно судить о том, какова её наполненность.

Оттого, что художнику при жизни, а порой и посмертно многое недодано, сделанное им не становится меньше.

Когда думаешь о Звягинцевой, вновь и вновь задаёшь вопрос: не наносят ли себе урон поэты, отдающие много энергии и времени искусству стихотворного переложения? Можно ли без потерь служить одновременно Евтерпе — покровительнице лирики — и переводческой музе, которая даже имени не имеет и обозначается порядковым номером — десятая?

(А может быть, и одиннадцатая, поскольку экспансивные деятели кино, которых трудно опередить, нередко числят десятой свою, очень современную и самоуверенную музу.)

Насколько стар и непрост поставленный вопрос, можно судить хотя бы по такому утверждению:

«Перечёл всего Жуковского — чудо-переводчик и ужасно беден как поэт».

Кому принадлежат эти слова?

Представьте себе, Некрасову. Они взяты из его письма Тургеневу.

Значит, и сам Жуковский испытал это: переводческая слава заслонила для многих его оригинальные страницы.

С Некрасовым — даже с ним — здесь можно не согласиться. При всех обстоятельствах утверждать, что Жуковский-поэт ужасно беден — не слишком ли это сурово?

Современники бывают несправедливы. Окончательный вердикт выносит время. Но здравствующий художник, трепетный и ранимый, остро переживает эту особенность

своей судьбы. Идущие рядом вольно или невольно дают ему почувствовать своё отношение.

Сказанное Некрасовым после смерти Жуковского Василий Андреевич мог ощутить и при жизни.

Время произносит своё веское слово, воздавая должное не только классикам. Современные примеры достаточно убедительны.

Дмитрий Кедрин, который, как и Звягинцева, был поощрён Горьким, тем не менее при жизни остался автором одной тоненькой книжки «Свидетели», изданной малым тиражом, и драматической поэмы «Рембрандт», напечатанной в журнале. Его имя чаще набиралось петитом под стихами поэтов, которых он много и прекрасно переводил, чем над заглавиями собственных творений. Критика его почти не замечала. Издатели считали перелагатель чужих строк.

Большой русский поэт Дмитрий Кедрин был достойно представлен читателю лишь посмертно. Справедливость, хоть и поздно, однако восторжествовала.

Прекрасно, что признание, тоже поздневатое и в разной степени, но, слава богу, при жизни пришло к Арсению Тарковскому, Марии Петровых, Петру Семынину, Елене Благиной и Юлии Нейман.

Всё ещё ждёт своего безмерно затянувшегося открытия Александр Кочетков. Правда, его «Баллада о прокуренном вагоне» давно проложила путь к читательским сердцам, строка «С любимым не расставайтесь!» у всех на устах. Но ведь этим не исчерпывается кочетковское наследие.

А Звягинцева? У неё, как мы знаем, всё сложилось несколько иначе. Она опубликовала свои первые сборники задолго до начала переводческого творчества. Но эти начинания к выходу третьей книги были основательно забыты. Заглянем вперёд. Между третьим и четвёртым сборниками пролегла новая пауза. На этот раз она длилась двенадцать лет. В эти годы её переложения печатались куда обильнее, чем стихи. Мастер перевода опять заслонил оригинального художника.

«Жизнь нельзя сказать, чтоб удалась...».

И всё же после третьей книги у Звягинцевой появился свой читатель.

А Вера Клавдиевна странствовала, продолжала писать, обрастала друзьями. Не изменяя Армении, она открывала новые земли. Перед войной переводила Шевченко, теперь увлеклась лирикой Рыльского и Первомайского. Отдала дань грузинской поэзии. Приняла участие в коллективном переложении осетинского эпоса «Нарты», а также в работе над Антологией венгерской поэзии.

Порой не всё шло так, как хотелось бы. Но она никогда не жаловалась. Не в её характере это было.

Между тем складывалась книга «Зимняя звезда».

3

Есть у Звягинцевой среди многих стихотворных посвящений строки, адресованные Павлу Антокольскому:

Я твою своей считала славу
И своей бедой — твою беду.
Другом я зову тебя по праву,
Ближе есть, дороже — не найду.

Это послание, помеченное пятьдесят шестым годом, я всегда перечитываю с особым чувством. Не только потому, что и Вера Клавдиевна и Павел Григорьевич не раз одарили

меня неисчерпаемой добротой и забываемыми уроками. Дело в том, что эти две поэтические натуры не только в моём представлении, но и в реальной жизни во многом близки. Всё способствовало этому — и схожесть характеров, и единство устремлений, и само бурно кипящее время, призвавшее их в поэзию почти одновременно.

Впервые я увидел и услышал Звягинцеву вскоре после войны на одном из вечеров, где звучали стихи разноязычных поэтов. Я читал свои переводы Аркадия Кулешова. Она — строки Сильвы Капутикян. В исполнении Звягинцевой я сразу ощутил совершенство. Переложения были сами по себе образцовы, но завораживало и то, как произносились эти стихи. У Веры Клавдиевны оказался молодой обаятельный голос, по-актёрски хорошо поставленный, владела она им свободно и легко, избегая, однако, театральных приёмов, придавая чтению естественность и мелодическую выразительность поэтической речи.

Я ещё ничего толком не знал о её привязанностях и пристрастиях, мы и познакомимся — то не успели, но сработала мгновенная ассоциация, неуловимая, что-то приоткрывавшая и, как определилось в дальнейшем, довольно точная.

Я подумал об Антокольском.

Строк, посвящённых ему Верой Клавдиевной, ещё не существовало. Другие её стихи не свидетельствовали напрямую о художественном родстве двух поэтов. Да и в тогдашних моих разговорах с Павлом Григорьевичем имя Звягинцевой, пожалуй, не упоминалось.

А вот стоило мне услышать её чтение — и незамедлительно возник отзвук, протянулась незримая нить, обнаружилось неожиданное единство.

Потом всё прояснилось — общим истоком их творчества было раннее увлечение театром. Если Антокольский начинал у Вахтангова, Звягинцева, как это теперь известно, делала первые шаги у Мейерхольда, играла в «Зорях» Верхарна и в «Мистерии-Буфф», причём искусству читать стихи её обучал на репетициях не кто иной, как Маяковский, поразивший дебютантку отнюдь не громогласностью, а мягкостью, добрым наставническим тактом. Она потом писала об этом:

Шла репетиция «Мистерии»,
И автор вслед за режиссёром
Работал методом доверия
К зелёным молодым актёрам.

У Звягинцевой, исполнявшей скромную роль Швей, поначалу получалось не так, как хотелось Владимиру Владимировичу. Очевидно ей, воспитанной на классической плавности русского стиха, не сразу удалось постигнуть стремительно-лозунговый ритм «Мистерии». Она по-своему ощущала мелодику необычных строк:

Колокола, гудите!
Вздыбливайте звон!
Это
он
шёл, рассекая воды Генисарета.

Маяковский терпеливо переучивал начинающую исполнительницу.

Как просто вовсе без презренья,
Без холодящего запрета
Просил он делать ударенья
на «это» и «Генисарета».

А у актрисы, бедной опытом,
Сильнее «звон» и «он» звучало.

Тогда он мягким полушёпотом
Ей то же повторял сначала.

Актриса та давно состарилась,
Но, знаю, будет верить вечно,
Что гений может разговаривать
Не очень громко
и сердечно.

Столь необычное на первый взгляд режиссёрское наставление Маяковского определило многое в поэтической манере Звягинцевой. И в её письме и в её чтении. Здесь не было ни внешних эффектов, ни многозначительных пауз, ни выразительной мимики, ни пылкой жестикуляции. Зато сколько страсти таилось в этом плавном звучании стиха. Как безраздельно сливались течение мысли и движение ритма.

Нет, Антокольский читал по-своему, Звягинцева была сдержанней, но, как и её славный сверстник, она равно служила Поэзии и Театру.

Однако их сходство и родство не ограничивалось актёрским прошлым.

Звягинцевой, как и Антокольскому, выпало счастье в юности слушать Александра Блока, и память об этом ярко сказалась на обеих поэтических биографиях. Как и Антокольский, Вера Клавдиевна читала свои ранние стихи в поэтических кафе, как и её товарищ, была замечена и поддержана Брюсовым. Подобно Антокольскому, она подружилась в те годы с Мариной Цветаевой. Надо ли говорить, что чистый и тревожный свет этой общей привязанности тоже способствовал сближению поэтических судеб. Наконец, вторая книга Звягинцевой «Московский ветер», уже упоминавшаяся, вышла в издательстве «Узел», в одной кассете со вторым сборником Антокольского «Запад».

Их начальные страницы выпорхнули из одного гнезда, их дороги сошлись на жарких перекрестках незабываемых лет, когда всё было впервые, всё в новинку, всё впереди.

...И уже в позднюю свою пору, на восьмом десятке, встречаясь в домах друзей или на поэтических вечерах, они сохраняли в разговоре давнюю пленительную повадку, в которой соединялись врождённая интеллигентность и молодое озорство, товарищеская нежность и забавная игра. Могло прозвучать: «Здравствуй, Верочка!». «Павлик, милый!», но могло быть и по-иному: «Здорово, лицедей!», «Здорово, актёрка!».

Однажды в Доме литераторов Антокольский, куда-то очень спешивший, стремительно шёл к выходу. У самых дверей он столкнулся с вошедшей Верой Клавдиевной. Резко остановившись, он изысканно приложился к её руке и громко осведомился: «Ну, как жизнь, Верка-разбойница?» А Звягинцева, церемонно присев, изрекла в ответ: «Благодарение богу, всё хорошо, ваше преосвященство!»

Это были маленькие спектакли, моментально сработанные для себя и для окружающих двумя достойными партнёрами.

Да, они при всей неоднозначности обладали схожими чертами. Всё было нараспашку: неиссякаемое жизнелюбие, артистизм, жажда общения, тяга к молодым, наконец, пылкое чувство дружбы, блистательно выраженное и в многолетнем служении переводческому искусству.

А ещё было преодоление возраста, утрат, преодоление в непрестанном труде, в частых встречах с милыми сердцу людьми, в шумном застолье — какие там беды, какие могут быть недуги, если существует работа, друзья, ученики, если жизнь продолжается несмотря ни на что!

Я улавливал общность даже в том, что Антокольский, как и Звягинцева, жил в старом уголке Москвы, тоже примыкавшем к Садовому кольцу, только в другой части славной

окружности. Кстати, дом 38-а на улице Щукина внешне походит на дом 2/6 в Хоромном — оба строения возникли в одном десятилетии.

«Ближе есть, дороже не найду»...

Когда появились эти стихи, я сказал Вере Клавдиевне, что для меня в них нет ничего неожиданного, что многое в ней напоминает мне Антокольского. Она рассмеялась:

— Меня же не зря смолоду называли: «Павлик в юбке».

4

Была ещё точка сближения в моих представлениях об этом неувядаемом товариществе.

Коктебель!

Здесь, на восточном берегу Крыма, где к бухтам, обрамлённым рыжими холмами и причудливыми скалами, подступает пахучая полынная степь, здесь на каменистом шуршащем пляже я когда-то впервые увидел Антокольского, а затем попал на импровизированный поэтический вечер, где выступал Павел Григорьевич.

Но близко с ним познакомиться мне довелось лишь несколько лет спустя, когда я пришёл со своими стихами в «Новый мир».

Звягинцеву я, как уже было сказано, впервые слушал в Москве. Нас торопливо представили тогда друг другу за кулисами после поэтического вечера, я что-то сказал, тоже на ходу, о том, как замечательно она читает. Но это могло показаться обычной вежливостью, не больше. Вера Клавдиевна благодарно кивнула, и тут же её позвали — ждала попутная машина. Потом мы раскланивались при встречах, но знакомство никак не развивалось.

А вот подружился мы года через два или три именно в Коктебеле. Вера Клавдиевна любила это побережье с незапамятных времён, приезжала сюда ещё при жизни Волошина. С поэтом и его женой Звягинцеву связывали давние добрые отношения, в их доме она была своим человеком.

Я, увидевший и полюбивший Коктебель в тридцать четвёртом году, мнил себя старожилом этих мест. Мне случалось посещать жилище Волошина и слушать рассказы хозяйки этого удивительного дома.

Но теперь, совершая с Верой Клавдиевной пешие походы вдоль моря, я понял всю незначительность моего коктебельского опыта и стажа. Я заново ощутил и постиг прелесть этих мест и неповторимость волошинского окружения.

Звягинцева могла часами рассказывать о том, как здесь всё было «при жизни Макса» — её право именовать маститого киммерийца так фамильярно подразумевалось само собой. Ведь и к Марии Степановне Волошиной она обращалась запросто: «Маруся».

В её устных повествованиях, расцвеченных достоверными и яркими подробностями, звучали имена Брюсова и Вересаева, Петрова-Водкина и Богаевского, Белого и Мандельштама.

Вера Клавдиевна помнила их, в юности общалась с ними, она и сама безраздельно принадлежала к этому кругу первых приверженцев Коктебеля, как принадлежали к нему Павел Антокольский и Всеволод Рождественский, Сергей Шервинский и Георгий Шенгели, Василий Десницкий и Анна Остроумова-Лебедева.

Некоторые из давних знатоков и поклонников Киммерии, поныне здравствующие, предпочитали приезжать не с литфондовскими путёвками, а просто к Марии Степановне. По давней традиции они были её личными гостями и непринуждённо располагались в странноприимной волошинской обители, образуя дружную коммуну.

Многолетние завсегдатаи этих радушных стен жили в складчину, ревниво оберегая заведённый издавна, предельно простой и несколько старомодный уклад, непритязательный быт, естественность и демократизм поведения. Седовласый учёный, знаменитый ак-

тёр, пожилая художница, переводчик античной литературы — всем им хорошо дышалось тут в летнюю пору. В их среде не было и намёка на чопорность, почтенность, избранность. Казалось, эти люди неподвластны возрасту, в них кипит неизменный юношеский запал, они легки на подъём, всё им по плечу — бесконечная прогулка, путешествие в горы, полуночное купание в море, таинственно фосфоресцирующем, многочасовые поиски примечательных камешков на пляже, чтение стихов, забавная лотерея, вечер экспромтов, самодеятельный спектакль — «капустник», для которого писались театрализованные пародии, шуточные песенки, эпиграммы, а также готовились декорации и костюмы. Тут состязались выносливость и сметка, талант и вкус, изобретательность и юмор.

Вера Клавдиевна участвовала во всех этих затеях самозабвенно.

Жила она в Доме творчества, но много времени проводила «у Маруси», в компании старых знакомцев.

В ту пору ей было уже немало лет, но двигалась она ещё легко и быстро, плавала в любую погоду, была полна зажигательной энергии, только зрение уже подводило её. Но этого она как бы не замечала. И ежегодно ждала поездки в Коктебель, словно свидания со своей молодостью.

В один из сезонов я жил с женой и сыном во флигеле, примыкавшем к волошинской мастерской, на втором этаже. Дверь нашей комнаты выходила на верхнюю террасу, прозванную «палубой».

В первом этаже, в прохладной келье, вход в которую был увит зеленью, обитал Николай Корнеевич Чуковский. Он писал тогда «Балтийское небо», долгие часы проводил за работой, а когда давала себя знать усталость, выходил в крохотный палисадник.

Звягинцеву в тот год почему-то поселили в самой шумной части дома, которую именовали «муравейником». Преобладали там писательские семьи с детьми. Однако Вера Клавдиевна не жаловалась, она даже любила царивший там ералаш, уверяла, что ей лучше работается в этом гуле: отключаться она умеет, а детские голоса для неё как гомон птиц или мерное дыхание моря.

— Когда мне хочется переменить обстановку, я наношу визиты, — говорила она, смеясь, — это ведь когда-то входило в обряд светской жизни, разъезжать в карете по Москве или Петербургу с визитами. Милая болтовня, забавные истории, изысканное пустословие. Это вносит разнообразие в жизнь. Кареты у меня нет, но друзей, слава богу, достаточно и в литфондовских угодах и в Марусиных апартаментах.

В маршрут звягинцевских визитов входила и наша «палуба».

Сперва её голос возникал внизу, у Чуковских. Она весело пикировалась с Николаем Корнеевичем, вышедшим в палисадник, а также с его женой Мариной Николаевной. Умения изящно острословить хватало у всех троих.

Потом Звягинцева поднималась вверх. Терраса, длинная и узкая, огороженная дощатым бортиком, и впрямь напоминала палубу. До моря были считанные шаги и стоило отойти в глубину, как ближний план с жёстким кустарником и пляжем исчезал. Ограда террасы превращалась в истинно корабельный борт, за ним оставалась только зелёно-синяя вода бухты.

Звягинцевой нравился этот оптический обман.

— При моих слабых глазах, — сказала она как-то, уютно устроившись в плетёной качалке, — иллюзия полная. Так и кажется, что сейчас мы отправляемся в плавание.

И тут же спросила:

— Куда ж нам плыть?

На этот пушкинский вопрос постороннего ответа ей не требовалось. Она покачивалась, повторяя: «Куда ж нам плыть», «Куда ж нам плыть?» — сама придумывала маршрут. И

вдруг предложила:

— Поплывём в Армению. Это неважно, что туда нет морского пути. Мы же на воображаемом корабле. Значит, можем добраться куда угодно.

Потом она резко повернулась в сторону холмов, желтовато-бурых, выгоревших на солнце:

— В библейской обнажённости здешнего пейзажа, в каменной осыпи, в этих складках и морщинах, если отвлечься от моря, есть что-то схожее с Арменией. Да, да! Вот и считайте, что мы причалили. И приветствуем землю Наири подобающими стихами. Мне сегодня ночью приснились четыре строки и я их утром записала:

Узнаю эти нежность и пламень,
Это вечное детство мечты,
Эту землю, где даже сквозь камень
Пробиваются к солнцу цветы.

— Нет, — оборвала она себя, — у Павлика Антокольского сказано лучше и торжественней. Послушайте:

Не высох, не выветрен камень ещё,
Которому сноса и возраста нет.
И зной золотит виноград горячо
И ржавые профили римских монет
Тускнеют за толстым музейным стеклом...

Она наморщила лоб:

— Погодите-ка... Что же там у него дальше? Какие-то строки, очень хорошие, опускаю, а потом:

...Где синь Арарата, едва проступая
В прозрачности синих воздушных озёр,
У зоны своей пограничной в почёте...

Не дочитав до конца, она вновь обратила лицо к морю, продолжая начатую игру:

— Куда ж нам плыть?

5

Судьбы художников различны. Один добивается успеха в ранние годы, создаёт свои лучшие строки весной. Другой, как бы следуя законам природы, собирает свой урожай в августе. У третьего звёздный час наступает в суровую метельную пору.

Смутным было небо вёсен.
Медленным душевный рост,
И несло мой челн без вёсел
К блеску отражённых звёзд.

Эти строки Звягинцевой можно счесть лирическим преувеличением. Её первые стихи обещали многое. Душа никогда не ленилась.

Но суть всего дальнейшего неоспорима:

Лишь, когда по всем приметам
Подступают холода,
Разгорелась тёплым светом
Зимняя моя звезда.

Да, счастливая звезда вспыхнула именно на пороге старости. Лучшая книга Веры Клавдиевны увидела свет, когда ей шёл седьмой десяток. Лишнее подтверждение того, что поэзии, как и любви, все возрасты покорны.

Лирические взлёты престарелого Гёте и умудрённого жизнью Тютчева вовсе не исключение, это теперь ясно каждому.

Свидетельств имеется множество и в прошлом и в наше время, свидетельств разномастных, но всегда убедительных.

Не будем соизмерять «Зимнюю звезду» с классическими образцами поздней лирики. Но истинность этого поэтического явления бесспорна.

И вот что ещё немаловажно. Пятая книга Звягинцевой «Вечерний день», название которой заимствовано как раз у Тютчева, не потребовала такого длительного созревания, как предыдущие. Она появилась через пять лет после «Зимней звезды» — срок для Звягинцевой минимальный. Новый сборник создавался без промедления. Обе книги внутренне связаны, их неразрывность сейчас, по прошествии времени, особенно ощутима.

Здесь единая причина, единое следствие — звёздный час оказался продолжительным, зимнего вдохновения хватило надолго.

Стихи из этих двух книг обрели популярность. Многие строки, став крылатыми, вошли в обиход, начали существовать самостоятельно.

«Я пишу, как дышу, но дышу-то я воздухом века», «Порою спросит кто-нибудь: — “Ну, как ты чувствуешь себя?” — Себя? Зачем? Других, тебя, всех у кого единый путь...». «Не слишком ли много стихов о любви? Но не о любви не бывает стихов...».

Строфы, вобравшие в себя пережитое, сочетающие опыт и страсть, пришлись по душе старым и молодым, повторялись, обильно цитировались. Они по сей день на слуху, на памяти.

В поздних книгах Звягинцевой под лучами зимней звезды, при тёплом свете вечернего дня, вновь и вновь вспыхивали южные краски, возникали долины и каменистые склоны, виноградники и родники, заросли серебристого пшата и лиловатые снега Арагаца.

«Моя Армения», «Ещё об Армении» — названия циклов говорили сами за себя. Чувство привязанности не остывало:

Я буду армянские песни слушать,
Встречать над Зангу зарю
И на волоске висящую душу
Сухой земле подарю.

Не оставила читателей равнодушными и та полемическая струна, которая звенела в книгах. Такие стихи, как «Моему молодому другу», «Памятки», «Другу-переводчику» пленяли нестареющим задором, ясностью взгляда.

«Я не люблю иронии твоей...» — эту некрасовскую строку Звягинцева избрала эпиграфом к непримиримому утверждению:

Ни твоей, ни своей, ничьей —
Никакой не хочу иронии.
Прятать боль под бронёй речей?!
Не нуждаюсь в их обороне я.

Если боль — так пускай болит,
Если радость, пусть греет, радует.
Не к лицу нам, боясь обид,
Боль души заменять прохладой.

Случалось, она затевала спор даже с людьми очень ей дорогими, если никак не могла с ними согласиться.

В стихотворении «Другу-переводчику» адресат угадывался просто. Он возникал уже в эпиграфе, взятом из Арсения Тарковского: «Для чего я лучшие годы продал за чужие слова? Ах, восточные переводы, как болит от вас голова».

Вздых усталости, тонкую улыбку, полусутоливую горечь, иносказание — всё, что таилось в этой строфе, в этом стихотворении близкого товарища, Звягинцева, конечно, ощутила и поняла.

Но не приняла, ибо считала, что каторжный труд переводчика прекрасен, что ранимость этого искусства не терпит шуточного к себе отношения, не допускает никакой, даже самой изящной, хулы.

Неужели Звягинцевой была присуща прямолинейность? Ни в коем случае! Здесь прощупает иное свойство натуры — трепетное, нерастраченное благоговение перед любимым делом, по сей день нуждающимся в защите.

Нет, мы не годы продавали,
Кровь не по кровинкам отдавали.
А то, что голова болела, —
Подумаешь, большое дело...
И худшее бывало часто:
Считались мы презренной кастой,
Как только нас не называли!
Друзья и те нас предавали.
А мы вторую жизнь дарили
Живым и тлеющим в могиле.
...Ты самого себя не слушай.
Не ты ль вдувал живую душу
В слова, просящие защиты.
Так на себя не клевети ты.

Полемика оборачивалась тем, что Звягинцева во всеоружии душевной чистоты защищала оппонента от самоиронии: «Ты самого себя не слушай...».

Читая «Зимнюю звезду» и «Вечерний день», я в обеих книгах особо выделил для себя стихи — портреты выдающихся людей, с которыми судьба счастливо свела Звягинцеву.

Одним она когда-то почтительно внимала из глубины аудитории, другие стали её повседневными доброжелательными наставниками, с третьими она была коротко знакома.

В её архивах хранились письма Пастернака и Цветаевой, акварели Волошина с его автографами, книги с дарственными надписями Исаакяна, множество других раритетов.

Устные рассказы Веры Клавдиевны о памятных встречах, несколько сумбурные, порой даже сбивчивые, но всегда яркие, с повторами, сообщавшими её повествованию своеобразный ритм, можно было слушать часами. Свободная манера этих темпераментных монологов порой напоминала цветаевскую прозу.

Друзья убеждали Звягинцеву приняться за книгу воспоминаний или записать их на магнитную плёнку.

Она покачивала головой:

— Мемуары — это не по мне. Дневников не вела и не веду. Прозу писать не умею и не люблю. А уж наговаривать в микрофон свою невнятицу тем более не собираюсь.

Может быть, в ответ на эти уговоры и возникло стихотворение «Вместо мемуаров». Там было сказано без обиняков:

Жизнь повторять дословно не берусь я,
Она в стихах рассеяна повсюду.
Я просто очень благодарна чуду,
Сияющему радостью и грустью.

Я благодарна жизни даже в горе
За изобилие земных свиданий...
Я не могу писать воспоминаний —
Ковшом никак не вычерпаешь моря.

И правда, эта жизнь, достойно прожитая, рассыпанная в стихах, донесла до нас драгоценные крупички многолетних наблюдений и замет.

Здесь порой в нескольких словах воссоздан характер человека, запечатлено его время. Недавно я услышал голос Блока — старую запись, к счастью сохранённую, заботливо реставрированную, искусно перенесённую на современную пластинку.

И тут же вспомнились удивительно точные и проникновенные строки Звягинцевой:

Забуду ли тот давний майский день,
Когда в аудитории московской
Увидела я профиль, как из воска,
И услышала голос горький, жёсткий:
Тот день отбросил дымчатую тень...

Какое это было колдовство!
С какой непререкаемой властью
Бросало в дрожь, похожую на счастье,
Трагическое страстное бесстрашие
Замедленного чтения его.

А как хорошо сказано о престарелом Сарьяне:

...Художник, спокойный, как вечер.

Вернёмся к стихотворению «Вместо мемуаров». Здесь достаточно одной строфы, чтобы возникла целая эпоха.

Шарф Мейерхольда, будто кумачовый
Октябрьским флагом развевался в зале.
Степные ветры воздух разрезали,
Когда читал Есенин «Пугачёва».

Стихи о Маяковском, строки, адресованные Исаакянцу, посвящения Заболоцкому, Первомайскому, Смелякову говорили и говорят нашему сердцу не меньше, чем увесистая книга мемуаров.

Но ведь есть ещё и памятник воображения. Ею навеяны стихи о Ярославне, о Пушкине в Михайловском, о декабристах, о рано ушедшей матери, чья студенческая юность совпала с последней четвертью прошлого века. Эта зоркая память вызвала к жизни и лирическую поэму о Радищеве, в которой впечатления реального детства, проведённого неподалёку от Верхнего Аблязова, сочетаются с такими же достоверными вёрстами бессмертного путешествия, совершённого в позапрошлом столетии.

Едет кибитка, трясётся кибитка,
Сёла мелькают одно за другим,
Строки жестокого длинного свитка
Жизнь разворачивает перед ним.

Реален и путник, осязаемо и зримо всё, что связано с появлением его великого дневника:

Поздний, с закрытыми ставнями вечер,
Мелкий, кривой типографский набор.
Тускло мерцают оплывшие свечи,
Вот он — бесправной поре приговор.

Наша современница, чей талант продолжал совершенствоваться и в старости, особенно ценила умение воскрешать давнее прошлое.

Моя неверная подруга,
О память, погоди, оставь,
Не заметай седую вьюгой
Тех дней, когда нашли друг друга
Воображение и явь.

6

В шестьдесят втором году, осенью, группа московских литераторов, совершивших путешествие по Италии и Франции, ожидала в парижском аэропорту Орли посадки на московский самолёт.

Пройдя положенный контроль, мы оказались на нейтральной территории, в зале, напоминавшем аквариум. За стеклянными стенами на стоянке пестрели разноцветные автомобили. Вдалеке покачивались пирамидальные тополя. Огромный плакат рекламировал сигареты «Житан». Дама в кожаных брюках, неся под мышкой болонку, толкала левой рукой алюминиевую тележку с красным чемоданом. Полицейский в каскетке, прикрываясь от ветра пелериной, прикуривал от зажигалки. Одинокий лист платана медленно парил над стриженным газоном, ища, где приземлиться.

Это была Франция, но мы находились уже как бы вне её.

По залу слонялись люди, подобно нам дожидавшиеся посадки и взлёта. Одни сидели в креслах, другие толклись у киосков с парфюмерией и сувенирами, третьи коротали время в баре. Через несколько часов им предстояло оказаться в разных концах планеты, у себя дома или в гостях, в Дакаре или Праге, в Монреале или Тегеране. Сейчас они были нигде, в стерильном ничейном пространстве.

Разноязычный гул звучал приглушённо — здесь разговаривали негромко, больше молчали. Прощание с Парижем, ожидание, предстоящая дорога располагали к сосредоточенности.

И вдруг эту сдержанность нарушили весёлые восклицания, возникла шумная суета, причём слышалось нечто весьма знакомое: «Здорово, братцы!», «Смотри-ка, чистые парижане!», «Надо же!», «Вот это встреча!», «Откуда вы свалились?», «С неба, конечно!».

Это появилась только что прилетевшая из Москвы другая группа наших коллег. Покинув салон родного «Ту», они тоже оказались в ничейном зале — им ещё предстояло переступить французский порог. Многие из них никогда не бывали в этой стране, в этом городе. Озираясь кругом, — стеклянные стены мало что говорили им, — взбудораженные земляки спрашивали нас: «А до центра от Орли далеко?» Мы в свою очередь интересовались: «Что нового в Москве?»

Когда встречаешь за рубежом соотечественников, даже мало знакомых — это всегда приятно. Когда встречаешь человека, который душевно близок тебе — это большая радость.

Я вдруг увидел Звягинцеву. В Москве она ничего мне не говорила о том, что собирается в дальнее странствие. Очевидно, считала, что нет смысла загодя распространяться об этом

— вдруг не получится? Простительное суеверие.

Сейчас она была взволнована, за толстыми стёклами очков пылливо щурились её глаза, полузрячие, но умеющие видеть то, что недоступно иным людям с отличным зрением.

Вера Клавдиевна готовилась вобрать в себя окружающее.

— Неужели я в Париже? — тихо спросила она меня, когда все эмоции, вызванные неожиданной встречей, несколько улеглись.

— Безусловно, — сказал я. — В этом вы вскоре убедитесь лично.

— Ну и как вам тут было?

— Обыкновенный Париж.

— Неужели свыклись? Неужели он может стать обыкновенным?

— Вся прелесть заключается в том, что к нему легко привыкнуть. И прекраснее всего этот город, когда он предстаёт перед вами обыкновенным.

— Сколько вы здесь пробыли?

— Десять дней.

— Ну я до обыкновенности не дотяну. Мы ведь проездом. У нас по программе всего около трёх дней.

— А дальше куда?

— В Тунис и Ливию.

— Вот где вас ожидает необыкновенность!

— Предпочла бы десять дней здесь.

Между тем прибывшие, пока не явился французский гид, торопились разузнать у отбывающих, как им лучше использовать короткое пребывание в Париже. Что лучше — посетить Лувр или потратить это время на прогулку по улицам? Поднимались ли на Эйфелеву башню? Были ли на Плас де ля Тертр, где под открытым небом работают художники? Пляс Пигаль небось тоже не забыли? Что посмотреть в кино?

Вера Клавдиевна спросила:

— А в Буживале были? У Ивана Сергеевича.

Я объяснил, что если повезут в Версаль, надо попросить сделать небольшой крюк. Но дом Виардо и шале, где жил Тургенев, придётся разглядывать со стороны, да и то если удастся пройти на территорию усадьбы. Нынешний её владелец господин Сабатье живёт в Париже. Буживаль навещает редко. Консьержке строго наказано не пускать посторонних. Правда, её можно задобрить... В общем всё зависит от общего желания и некоторой настойчивости.

— Я всех заставлю! — решительно сказала Звягинцева.

Побывала она там. И написала потом:

...В прошлое гляжу, как в глубь колодца:
Здесь уже давно живут другие,
Голос Виардо не раздаётся;
Листопад позёмкой жёлтой вьётся
На далёком кладбище в России.

Отчего ж зовёт меня, тревожа,
Поворот к чужой старинной вилле?
Всё совсем как было, всё похоже,
Та же улица и небо то же...
Время, что ли, здесь остановили?

В её квартирке на Хоромном десятки лет висел на стене акварельный рисунок Василия Поленова, подлинный, изображающий одинокого всадника в Ливийской пустыне. Богато

убранный конь, араб в белом бурнусе. Лицо путника обветрено, опалено солнцем и колкой песчаной пылью, глаза полны скорби и мудрости.

Вернувшись из своих африканских странствий, Звягинцева привезла горстку земли, зачерпнутой в Ливийской пустыне. Теперь этот красноватый песок в гранёном стакане хранился на полочке рядом с акварелью.

Вера Клавдиевна читала друзьям новые строки о своих странствиях, о ливийских зыбучих просторах, о той тунисской ночи, когда печальный крик фламинго напомнил москвичке жалобу «крунка», воспетого её ереванскими друзьями.

«Крунк» — скиталец-журавль, бездомный странник, традиционный образ армянской поэзии, померещившийся в далёкой Африке, как это было по-звягинцевски!

Путешествие, надо думать, далось ей нелегко. Но отставать от других, прислушиваться к своим недоумоганиям, жаловаться — этого она себе не позволяла. И рассказы её о Париже или о Карфагене пленяли не только поэзией, не только живописностью, но и молодым юмором, озорством, она то и дело подшучивала над собой.

Вслед за дорожными стихами Вера Клавдиевна написала строки, выражавшие её тогдашнее состояние:

Друзья мои, товарищи,
Беда не в том, что старишься, —
Беда, что в пору холода,
Как в мае, сердце молодо.
...Тужу в бессильной ярости,
Что для души нет старости.
Куда с такою денешься,
Как к возрасту применишься?

Шёл ей в ту пору семидесятый год.

7

...А ещё был зимний денек, оставшийся в памяти. Я встретил Звягинцеву в писательской книжной лавке на Кузнецком мосту. Вера Клавдиевна держала в руках небольшую пачку книг, только что приобретённых. Я вызвался проводить её до метро или, если повезёт, усадить в такси.

Машину, конечно, поймать не удалось. Мы дошли до «Детского мира». Буква «М» уже алела в ранних сумерках. Но Звягинцева сказала:

— Ужасно не хочется спускаться в подземелье. Нет ли у вас желания прогуляться пешком до Красных ворот? Снежок, погода самая-самая!

— Я-то — охотно. А вы не устанете?

— Ну что вы! Это гляделки у меня никудышные. А ноги ещё хоть куда! Только поводырь требуется. Подышим доброй московской зимой. Мне это не часто удаётся. А по дороге обещаю сюрприз. Только чур не спрашивать какой. Тем более что всё выяснится очень быстро.

Ждать пришлось, действительно, недолго. На углу Армянского переулка Звягинцева сказала:

— А теперь свернём.

Я, честно говоря, успел загодя догадаться, о каком сюрпризе идёт речь. Но виду не подал. И когда мы свернули, я, словно застигнутый радостной неожиданностью, бурно выразил своё одобрение.

— Давно я здесь не была, — откликнулась Вера Клавдиевна, — а ведь тут прошли многие прекрасные часы моей жизни.

Старый переулок, узкий, изогнутый, обставленный особняками и заваленный сугро-

бами, был в этот час полон обаяния. Снег прекратился, полоска неба между домами стала прозрачно-дымчатой, уже ощущалось присутствие луны, сугробы тоже источали призрачный свет.

Между тем Звягинцева вошла в роль гида.

— Знаете ли вы, что здесь, в центре Москвы, спокон веков селились армяне? Что в этом переулке была выстроена армянская церковь? Что здесь чинная московская старина, ни в чём не роняя себя, а наоборот, возвышаясь в своём радушии, уживалась отличнейшим образом с темпераментным и открытым бытом южан?

Мы углубились в переулок и вскоре оказались на просторном дворе, обнесённом узорчатой оградой. Здесь, перед парадным крыльцом двухэтажного особняка возвышался четырёхгранный обелиск, украшенный со всех сторон барельефами и стихотворными надписями. Барельефы были запорошены снегом, тёмные окна дома мерцали, отражая слюдяной блеск заиндевевших ветвей и вечернее небо, слабо просквожённное луной.

Вера Клавдиевна сказала:

— Наверное, научным сотрудникам, которые теперь трудятся здесь, всё это примелькалось — и дом, и обелиск, и переулок. Можно предположить, что есть москвичи, которые тут ни разу не бывали. А место славное. И семья, в честь которой сооружён обелиск, тоже незаурядная. Между прочим, армянского происхождения. Лазаряны. Сыграли немалую роль в движении за присоединение Армении к России. Кажется, ещё при императрице Екатерине за многие заслуги они были возведены в дворянское достоинство. И возник здешний клан Лазарянов, которые стали именоваться Лазаревыми. Ближе всего мне причастность этой фамилии к судьбе московских армян. Иван Лазаревич Лазарев, командор, действительный статский советник, завещавший построить на его средства школу для бедных армянских детей, — это, право же, фигура примечательная. А знаменитый институт, созданный в начале прошлого века и содержащийся несколькими поколениями Лазаревых в течение ста лет! Он дал России выдающихся востоковедов, лингвистов, дипломатов. По сути дела этот лазаревский институт — прямой предшественник нынешнего академического учреждения, которое изучает культуру народов Азии и обосновалось в тех же стенах. Мы с вами сейчас стоим у порога поистине исторического здания. Так что обелиск, напоминающий о династии Лазаревых, установлен в этом дворе по праву. Жаль, что темно и снегу намело, а то бы вы прочитали стихи, начертанные под барельефными портретами Ивана Лазаревича и его родичей. Эти мадригалы сочинил, между прочим, Алексей Мерзляков. Да-да, тот самый, написавший «Среди долины ровной...». Кроме того, он был нашим коллегой, переводчиком — перелагал древних греков и римлян. Ну и при этом — учёный муж, словесник, знаток и ревнитель фольклора. Профессор русского красноречия — так его именовали в Московском университете. Его лекции слушали Грибоедов, Лермонтов, Веневитинов. Тютчев... Алексей Фёдорович, надо полагать, высоко ценил семью Лазарянов, если посвятил им свои строки.

Вера Клавдиевна огляделась, передохнула. Опять заговорила:

— Здесь, в старом переулке, родилась прекрасная традиция. И тут же возникло её продолжение — Дом армянской культуры, который уже в наше время привлекал сердца многих столичных жителей. Ах, какие тут устраивались вечера, как часто звучали стихи!

Я сказал, что смолоду слышан об этом доме, особенно о встречах русских и армянских мастеров стиха. А также и о том, какой успех сопутствовал здесь Вере Клавдиевне.

Она засмеялась.

— Ну уж и успех! Тут выступали поэты, которым я не чета. Впрочем, и меня неплохо принимали. Но назвать это успехом...

Тогда я напомнил ей о вечере, на котором присутствовал Пастернак. Об этом я тоже слышал не раз от многих людей. Звягинцева читала стихотворение Геворга Эмина. Впервые

прозвучали строки, теперь широко известные: «Вьётся горлица в вышине за оконницей у меня. Я б увидел тебя во сне, да бессонница у меня». Публика щедро рукоплескала, требовала повторения. А Борис Леонидович поднялся и сказал так, что слова его донеслись до всех, сидевших в зале: «Вот живёшь на свете, живёшь, и не знаешь, что существует такое...».

— Вам всё известно! — обрадовалась Вера Клавдиевна. — Представляете, как повезло тогда Эмину, а заодно и мне. Вообще это был счастливейший вечер. Весь он был посвящён моим переводам с армянского. Их читала не только я. Эти строки звучали также в исполнении Цецилии Мансуровой и Всеволода Аксёнова. А кроме Пастернака присутствовал ещё и Мартирос Сергеевич Сарьян. Есть минуты и часы, которые не забываются.

...Мы выбрались из путаницы переулков на улицу Кирова, и тут нам повезло. Приблизился зелёный огонёк — нам удалось остановить попутное такси. Это было очень кстати — Вера Клавдиевна явно устала. Но и в машине она продолжала говорить о доме в Армянском, о том, что для неё каждое посещение памятного места — словно встреча с прошлым, с ушедшими друзьями, со всем, что к старости дорожает в цене. Поздние годы тревожно и благодарно перекликаются с пристрастиями ранних лет. Глубина памяти и протяжённость впечатлений — это преимущество почтенного возраста. Поэтому необходимо возвращаться к истокам, к заветным событиям, к милым сердцу углам...

И я понял, что сюрприз, обещанный мне Звягинцевой, был также её подарком самой себе. Она давно хотела побывать в Армянском, но для этого требовался попутчик более зрячий, чем она. Найти такого было нетрудно — друзей хватало. Но ей требовалось ещё и сносное самочувствие, а оно случалось всё реже.

Хорошо, что именно я оказался рядом, когда она вдруг ощутила, что сейчас у неё достанет сил совершить пешее — именно пешее! — паломничество.

Для меня это и впрямь был сюрприз — если уж идти в Армянский, лучшего знатока и очевидца, чем Вера Клавдиевна, не сыщешь.

Несколько лет спустя я с благодарностью вспомнил это трогательное путешествие, прочитав в «Литературной России» стихотворение Звягинцевой «Луна в Армянском переулке».

Стихотворению предшествовал эпиграф: «Очень хотелось бы, чтобы чудесный дом в Армянском переулке снова стал “Домом Армении”».

Опять прийти сюда весной,
Другие отложив прогулки,
И молодеть — тому виной
Луна в Армянском переулке.

Луна Армении в Москве.
Чу!.. Лает вдалеке собака,
Вот-вот змея мелькнёт в траве,
Качнётся стебель эринджака,

Севан повеет холодком...
Но нет, далёко до Севана.
Войди во двор, в старинный дом,
Тихонько сядь в углу дивана.

И слушай дорогую речь,
Дыша знакомою отравой,
Следи в блистанье белых свеч
Мельканье головы курчавой.

Но силлабический размер
Смолкает. Залы пусты, гулки.

Ну что ж, прощай, бари гишер¹,
Луна в Армянском переулке.

Кто знает, может быть, всё это было продиктовано нашей зимней прогулкой, а также стремлением снова навестить заветный дом, только уже в другое время года, когда среди старых камней пробивается трава, а на деревьях вокруг лазаревского обелиска щебечут птицы.

8

Сложилось так, что я впервые посетил Армению будучи уже немолодым. Давно мечтавший о свидании с этой землёй, внутренне подготовленный к такой встрече, я был щедро вознаграждён увиденным.

Первым слушателем, на которого я обрушил всю полноту своих впечатлений, была Вера Клавдиевна. Прилетев из Еревана в Москву, я поспешил к ней, в Хоромный. Потому что, когда я уезжал, она, горько сетуя на нездоровье, мешавшее ей снова испытать радость такого путешествия, потребовала:

— Как только вернётесь, сразу же приходите. Пока не расплескаете свои восторги...

И вот я взахлёб распространялся об увиденном, в горячности своей наивно упуская то обстоятельство, что сама-то она бывала в Армении не однажды, всем, о чём я рассказывал, любовалась многократно, и вряд ли мой пылкий рассказ что-либо прибавит к тому, что она отлично знает. Но Вера Клавдиевна слушала с живейшим вниманием, по ходу дела добавляла какие-то упущенные мною штрихи, что-то вспоминала, и когда я, спохватившись, спросил не скучно ли ей, сказала:

— Ну что вы? Я так рада, что ещё один из моих друзей очарован Арменией. Вам хочется выговориться — это так понятно. А я как будто опять прохожу по знакомым дорогам, но смотрю на всё не только своими, но и вашими глазами. Может, я бы сейчас не заметила то, что уловили вы. Для меня что-то уже примелькалось. А для вас там всё открытие. Острота первого впечатления — неоценимое качество! Продолжайте, ну, пожалуйста.

И я опять рассказывал о том, как парят над Ереваном белые очертания Арарата, как прекрасна огненная мозаика при входе в Матенадаран. Я восхищался новой армянской архитектурой и старинным храмом Рипсима, базальтовыми фрагментами Звартноца и залежами розового туфа в Ширакской долине. Живописал разноцветные осенние леса вокруг Дилижана и прозрачный воздух Цахкадзора, пленительную чашу Севана и пыльные облака над овечьими стадами, заросли шиповника и кизила вдоль каменистых дорог и виноградники Аштарак. Я отдавал дань дому Сарьяна, где на меня — тут пришлось к месту прекрасные строки Веры Клавдиевны — «с полонен обрушился, дух захватив, мир солнца и ультрамарина, и горы из света, и речитатив ашуга над рыжею глиной». Не умолчал я и о тех скромных крестьянских домах, где на крылечках развешаны стручки перца, а на подоконниках полыхают гранатовые плоды, словно созданные кистью Варпета.

И, конечно же, я вспомнил о том, как мы прогуливались с Леоном Мкртчяном по вечерней улице Абовяна, как доходили до фуникулёра, возносящего горожан в Норк, поворачивали обратно, а потом снова шли до фуникулёра, потому что я жил наверху, в гостинице «Наири». И как мы по дороге вслух читали стихи Гургена Боряна в звягинцевском переводе:

Брожу ль в золотистых сумерках я,
Спешу ль, озабоченный, утром рано,
Со мной разговаривают друзья —
Деревья на улице Абовяна.

¹ Бари гишер — доброй ночи (арм.).

Зелёные песни, знакомую речь
Я слышу сквозь бурю моих раздумий.
Хотят ли от грусти меня уберечь,
Звенит ли надежда в их чистом шуме?

Вера Клавдиевна, слушая меня, подхватила:

Настанет пора поколениям иным
Шагать по земле, где брели караваны.
И новой листвою шуршать будут им
Деревья на улице Абовяна.

А потом потребовала:

— Ну ещё чего-нибудь расскажите.

Напоследок я приберёг забавную историю о том, как в Эчмиадзине оказался не только свидетелем, но и участником жертвоприношения.

Следуя древнему обычаю, какая-то многолюдная семья из Талинского района приехала сюда в полном составе, чтобы отметить счастливое событие — перенёс тяжёлую болезнь и благополучно выздоровел дедушка Акоп. Был заколот барашек, за ним — другой, испечён лаваш, выставлено вино, приглашали всех, кто случился рядом. Когда-то полагалось угощать нищих — возможно, в этом и состояла суть обряда. Но нищих давно нет и в помине. Оттого теперь в трапезу вовлекаются туристы, которых в Эчмиадзине всегда полным-полно, а также все люди доброй воли. В числе последних оказались Левон Мкртчян, я и несколько слушателей поэтического семинара, которым мы вдвоём руководили: столица Армении в те дни принимала молодых стихотворцев, съехавшихся со всех концов страны.

После многочасовых занятий, чтения стихов, долгих споров, когда иссякло красноречие и улеглись критические страсти, Мкртчян раздобыл машину, и мы отправились в Эчмиадзин.

Уже завершалась наша экскурсия, когда, очарованные искусством древних зодчих, камнерезов, иконописцев, мы вышли на небольшую площадь, видимо предназначенную для счастливых внезапностей, и оказались втянутыми в орбиту затевающегося торжества.

В котлах варилась баранина, на столах под открытым небом лежали навалом гранаты и виноград, стояли кувшины с домашним вином, имелось кое-что и покрепче. Нас обступили, к нам взывали, путей к отходу не оставалось.

Количество приглашённых возрастало — появились туристы из Ростова, командировочные из Риги, присоединились к нам и аргентинские армяне, приехавшие навестить землю отцов.

Мы с Леоном на мгновение засомневались — стоит ли нам бражничать за одним столом со своими семинаристами? Педагогично ли это? Но сопротивляться стихийному гостеприимству было невозможно. И профессор Мкртчян с присущей ему весёлой мудростью обратился к нашим питомцам:

— Друзья, в обстановке жертвоприношения нам остаётся отнестись к происходящему философски. Обижать этих милых людей мы не можем, нас не поймут. Воздадим должное угощению, но постараемся сохранить трезвость. Надеюсь, что вы не принесёте вместе с барашком в жертву и нас, престарелых своих наставников. Будем же воздержанны и благо-разумны.

И мы включились в трапезу. Хозяева стола действовали энергично. У каждого из нас в одной руке оказался жаркий кусок мяса, завёрнутый в лепёшку, а в другой — гранёный стакан, который тут же надо было подставить под прохладную и терпкую струю.

Здесь не давали передышки. Тебя угощали непрерывно, баранина сменялась сластями, уже в твоём стакане багровел гранатовый сок, но опять возникал свежий лаваш и

струилось вино, вокруг возносились молитвы, содержание которых, судя по всему, мало отличалось от застольных тостов. Ты вместе со всеми поддерживал здравицу, следя одним глазом за тем, чтобы начинающие литераторы держались в рамках, а тебя снова потчевали, отказываться не полагалось, благодарить хозяев тем более. Наоборот, угощающие выражали признательность тебе, который помог совершить доброе дело, вознести общее благодарение за чудо, вернувшее к жизни дедушку Акопа.

Во всём этом, как мне показалось — да и не только мне, — уже давно не было ничего религиозного, языческого, просто люди приглашали тебя порадоваться вместе с ними исцелению ближнего.

...Вера Клавдиевна от души смеялась:

— Вам повезло. Сколько раз была в Эчмиадзине, а такого не видела. Слушайте, а ведь Акоп — это же ваш тёзка. Яков по-армянски. Всё. Отныне вы для меня Акоп. Ну конечно же, Акоп!

Дружба наша была достаточно давней и неизменной. Но в эту минуту она ощутимо перешла в какое-то новое качество — я стал для Веры Клавдиевны роднее, потому что общился к её Армении.

Вот с того дня Звягинцева и начала называть меня Акопом, причём в это шутовское обращение она вкладывала нечто весьма важное и серьёзное для неё.

— Акоп, я не поздно звоню?

— Акоп, очень прошу, передайте, что я не смогу быть на вечере Тарковского, расхворалась. Ужасно обидно! Скажите Арсению, что я его люблю, рвалась, но, увы...

— Акоп, вы читали в «Прометее» воспоминания Цветаевой о художнице Наталье Гончаровой?

— Куда вы подевались, Акоп? Отчего не звоните? А я перевела несколько айренов Кукача. Прелесть невообразимая! Хотите послушать?

9

Возраст брал своё. Вера Клавдиевна всё чаще болела. Страдала бессонницей. Исчезла лёгкая походка, всё труднее было ей выбираться из дому в издательство, в писательский клуб на заседание, на поэтический вечер, наконец, к врачам. Друзья старались облегчить ей жизнь, сопровождали её в поездках по городу, иногда пытались её заменить, вычитывая рукописи и корректуру. Она благодарно принимала такие попытки, но давалось ей это не просто — горько было сдаваться, признавать себя немощной, нуждаться в чьих-то, пусть самых искренних, услугах. Она изменилась внешне, стала медлительней, беспомощность сквозила в её неуверенных движениях.

Но стоило вам услышать её голос в телефонной трубке — и казалось, что всё идёт по-прежнему. Голос был звучный, беседа могла длиться без конца. Размышления вслух, воспоминания, каламбуры — всего тут хватало. А ещё было чтение стихов, только что написанных.

Звягинцева завершала работу над книгой «Исповедь», публикуя в периодике новые свои строки. Всего четыре года отделяли этот сборник от «Вечернего дня». Поздний взлёт продолжался.

Готовился к печати и томик избранной лирики.

Всё, что пришло с годами, всё, что медленно накапливалось и без скидок проверялось временем, опытом, совестью, теперь обретало особую весомость.

Название нового сборника, как всегда у Звягинцевой, исчерпывающе раскрывало суть книги. Мудрой исповедальностью были проникнуты эти страницы, уже овеянные печалью будущего прощания с миром.

Обещайте мне, что люди вечно
Будут помнить Пушкина и Блока,
Что высокий дар и дух сердечный
Не исчезнут в пропасти глубокой.

Обещайте мне, что этот город,
Гордо именуемый Москвою,
Будет вечно древен, вечно молод —
В летних парках шелестеть листвою.

Сколько света было в этом обращении, открывавшем книгу!

Тем временем в Ереване двумя изданиями вышел сборник «Моя Армения».

Для Веры Клавдиевны это был праздник. Книга состояла из лучших стихотворений и переводов, созданных за три десятилетия неизменной дружбы. Строки Звягинцевой и её переложения, дополняя друг друга, сливались воедино. Лирический портрет Армении возник на этих страницах, переводчица и переводимые были его щедрыми соавторами.

В разделе переводов поэты давних веков соседствовали с классиками новейшего времени, с выдающимися мастерами наших дней, с молодыми лириками. Прекрасное разноголосье под пером переводчицы, сохраняя свою неповторимость, обретало внутреннюю цельность.

У нас нет возможности сопоставить эти строки с оригиналом. Поверим армянам, которые с признательностью приняли работу Звягинцевой.

Нам остаётся лишь засвидетельствовать: то, что воссоздано ею, звучит по-русски превосходно.

Что же касается звягинцевских лирических посвящений Армении, предоставим слово Корнею Ивановичу Чуковскому. В предисловии ко второму изданию книги он написал:

«Переводя, например, грузинских поэтов, Борис Пастернак и Николай Заболоцкий всей душой полюбили Грузию. И Самуил Маршак, пленившись поэзией Бёрнса, стал питать самые нежные чувства к родине своего любимого барда.

...То же самое произошло и с Верой Звягинцевой, переводчицей армянских поэтов...

...Переводам предшествует цикл собственных стихотворений Веры Звягинцевой, которые можно назвать гимном этой стране, её песням, её пляскам, её Арарату, её Исаакяну, её Сарьяну».

Одна из последних переводческих работ Звягинцевой — цикл стихов Леонида Первомайского, посвящённый Армении.

Поэзию этого украинского мастера Вера Клавдиевна высоко ценила, была дружна с ним, перевела немало его строк. В творчестве Первомайского её привлекало всё — чеканный стих, напряжённость мысли, живописность изображения, чувство истории.

Первомайский сам был блистательным переводчиком. В его семитомном собрании сочинений поэтические переложения заняли два объёмистых тома. Эти страницы вобрали многое. Русскую лирику, классическую и современную. Обширный свод народных баллад, созданных в разных странах мира. Избранные творения Франсуа Вийона, Шандора Петёфи, Генриха Гейне.

Наконец, Первомайский был издавна связан с Арменией, с её поэзией. В своей поздней книге «Древо познания» он посвятил армянским друзьям большой цикл стихов.

Для Звягинцевой тут всё сошлось. Любимый художник, любимая земля. И она перевела этот цикл на русский, перевела в полную меру своего дара и вкуса.

Первомайский, весьма требовательный к себе и другим, принял интерпретацию Звягинцевой безоговорочно.

Будучи в Москве, он пришёл ко мне. Я тогда переводил его стихи для «Нового Мира». Мы внесли окончательную правку. А когда закончили работу, Первомайский сказал:

— Давайте позвоним Звягинцевой. Я хочу её повидать и выразить свою признательность.

Вера Клавдиевна обрадовалась звонку и потребовала:

— Приезжайте немедленно!

Взяв такси, мы поехали в Хоромный.

Звягинцева чувствовала себя довольно скверно. Первомайский тоже был далеко не в лучшей форме. Но об этом не было сказано ни слова. Они обменялись приветствиями по-армянски и наперебой стали подбадривать друг дружку.

— Спасибо, что не забываете старуху, — начала было Вера Клавдиевна, но гость галантно возразил:

— Не вижу поблизости ни одной старухи. А вы ничуть не изменились и по-прежнему представляете опасность для стихотворцев мужского пола.

— Конечно, представляю опасность, это уж точно! — парировала Вера Клавдиевна. — И немалую опасность. Особенно для тех, чьи строки перевожу. Могу исказить оригинал за просто, как и положено маразмизирующей даме.

— Меня вы исказили чудесно, — не остался в долгу Первомайский, — продолжайте в том же духе.

— Да вы заправский комплиментчик, — отшучивалась хозяйка дома, — кроме того, дорогой варпет, должна вам в ответ заявить, что вы постройнели, вы большой молодец и вполне можете свести с ума киевских, ереванских и наших столичных девушек.

На столе, конечно, появилась бутылка «не московского разлива». Но пили мало, соблюдая строгий запрет эскулапов.

— Акоп, выручайте, — то и дело подливала мне Вера Клавдиевна.

Первомайского такое обращение восхитило.

Провозгласили тост за это имя. Коньяку, однако, почти не убавилось.

Зато говорили, вспоминали, спорили вдоволь.

Зашла речь об Амо Сагияне. Первомайский высоко ценил этого поэта, считал его одним из сильнейших в Армении. Он стал читать его стихи на память по-русски и по-украински.

— Да, стихи хороши, — сказала Вера Клавдиевна, — я тоже люблю эти строки Амо. И вы удивительно читаете.

Первомайский, «постройневший» увы, от жестокого недуга, с лицом исхудавшим, болезненно обострившимся, с печальными глазами, сразу просветлел:

— Люблю, когда хвалят моих друзей, а заодно и меня, — улыбнулся он.

Беседа продолжалась. Говорили о художнике Арутюне Галенце, о недавно погибшем Паруйре Севаке, о музыке Комитаса.

И опять могло показаться, что собрались в Хоромном уроженцы Еревана вспомнить родные места и своих земляков.

Это был последний приезд Первомайского в наш город, последняя встреча москвички и киевлянина, пленённых далёкой южной республикой.

Гость попросил Веру Клавдиевну прочитать стихи.

И мы снова услышали строки, выражавшие приверженность братству, снова заворожило нас признание в глубоком чувстве к Армении:

Жизнь проводит последнюю бóрозду,
Знать, нужна и такой глубина,
Мне другая любовь не по возрасту,
Остаётся лишь эта одна.

Близится конец моего рассказа, близится...

Вскоре я навестил Веру Клавдиевну в Переделкине.

Она жила в Доме творчества и проводила большую часть времени на крыльце, в соломенном кресле. Здесь я её и застал. День был летний, но пасмурный, на коленях у Звягинцевой лежал плед. Луч, ненадолго пробившийся сквозь облако, упал на облупившиеся перила балюстрады, на асфальтовую дорожку, где сразу же очертилась лёгкая тень дерева.

— Здесь хорошо, только я вот никуда не поеду, — вздохнула Вера Клавдиевна, — работать не могу. Располагайтесь рядом, в комнату идти не хочется. Чувствуете, как прояснилось!

Она сказала чувствуете, и я понял, что с глазами у неё совсем худо, что зримый мир она теперь воспринимает всем своим существом.

Ветер, внезапно нагрянувший, качнул деревья. Среди хвои мелькнула беличья спинка. Трясогузка смешно просеменила по газону. Взлетела с ближней скамейки забытая кем-то газета.

Звягинцева ничего этого не разглядела. Она только поёжилась от ветра и спросила:

— Наверное, на юг собираетесь? В наш Коктебель.

Я ответил, что еду в противоположную сторону, в Эстонию, — снял комнату в домике на берегу залива, хочу поработать в одиночестве. А Коктебель теперь не тот, слишком шумно, пансионаты, шашлычные — людное, модное место...

— Мне-то уж ни юга ни севера не увидеть, — произнесла она грустно, — а Коктебель был так прекрасен! Жаль, что одиночество теперь надо искать в других местах...

И, как бы продолжая разговор, когда-то оборванный, она вдруг сказала:

— Да, кстати об одиночестве... У вас там про Макса говорится, что он — отшельник. И я с этим раньше соглашалась. Так вот...

Там — это означало в моих набросках к поэме о Коктебеле, за которую я в ту пору принялся. Работу удалось закончить лишь несколько лет спустя. А тогда имелись начальные отрывки, которые я однажды прочитал Вере Клавдиевне. Замысел пришёлся ей по душе, она всячески поощряла меня, советовала продолжать работу, несколько раз в телефонных беседах возвращалась к этому. И сейчас опять вспомнила.

— Так вот, я было засомневалась, верно ли это, что Волошин был отшельником. Ведь летом его всегда окружали московские и ленинградские друзья, кроме того он водил знакомство с планеристами, с местными виноградарями и рыбаками. Но зато в зимние месяцы этот общительнейший человек бывал надолго отрезан от большого мира. Он да Маруся — и всё. А Коктебель в холодную пору не очень-то уютен. Свирепые ветры, штормы, пустынный берег, редкие огоньки вокруг, редкий человек заглянет... Но каким плодотворным было для Макса это время! Ему хорошо думалось и работалось. Запасы дружеского тепла и света, накопленные за лето, согревали душу. Да и можно ли назвать одиноким человека, который пребывает в мире своих образов и размышлений. В конце концов, в центре Москвы или в этом переделкинском доме, если работается, ты за своим столом тоже становишься на какое-то время отшельником.

Она расправила плед на коленях, на мгновение сосредоточилась и вдруг стала читать строки из волошинского «Дома поэта».

Мой кров — убог. И времена — суровы,
Но полки книг возносятся стеной.
Тут по ночам беседуют со мной
Историки, поэты, богословы.
И здесь их голос, властный, как орган,
Глухую речь и самый тихий шёпот

Не заглушит ни зимний ураган
Ни грохот вод, ни Понта мрачный ропот.

И тут же, перейдя от возвышенной интонации к негромкому разговору, заключила:
— Какое уж тут отшельничество, если тебя окружают великие собеседники...

Я сказал:

— У Даля, помнится, отшельник это производное от слова отшествоие...

Она подхватила:

— Вот именно, отшествоие. Отход от мирской суеты в сферу духовную. Конечно, в нашем-то деле религиозный оттенок этого понятия даже в старину был несуществен. Отшельничество художника не есть отход от мира, потому что за отшествоием следует пришествие, причём не с пустыми руками. Мир обогащается новым творением. Отшельничество Микеланджело, который провёл месяцы на лесах, под потолком Сикстинской капеллы, или уединение Пушкина в Болдине это на самом деле страстное общение с людьми, это повседневное возвращение в мир. Так что в художническом смысле Волошина можно безбоязненно назвать отшельником. И не ищите другое слово, лучшего не найдёте.

Вера Клавдиевна задумалась, потом, улыбнувшись, добавила:

— Уж раз вы едете в Эстонию работать, желаю вам доброго отшествоия!

И опять безо всякого перехода, с той же улыбкой, грустно сказала:

— Знаете, Акоп, нашей с вами дружбе я буду верна очень недолго — до гробовой доски.

Невесёлая получилась шутка.

— Значит долго! — откликнулся я. — Очень долго!

— Не надо... Я ведь не зря говорю.

Она привычно сдвинула очки на нос, приподняла веко над правым глазом, попыталась рассмотреть меня. Потом, опять возвысив голос, прочитала из Мандельштама:

Ах, ничего я не вижу и бедное ухо оглохло.

Всех-то цветов мне осталось лишь сурик да хриплая охра...

И уж совсем тихо, почти шёпотом, сообщила:

— Я что-то и правда слышать стала плоховато...

— Отлично вы всё слышите.

— Милый, мне-то лучше знать! Скоро и краски и звуки останутся только в памяти. Впрочем, и на том спасибо. Пока помню любимые стихи — жить можно.

Она приподнялась:

— Помогите мне. На ваших сколько? Пять? Значит, пробил час чаепития. А у меня припасено роскошное кизиловое варенье. Как говаривал кто-то из популярных московских острословов, не то Арго, не то Адуев: «С паршивой овцы хоть файв-о-клок».

И мы пошли пить чай.

11

Эта глава моей маленькой повести почти вся написана стихами. Появились они ещё при жизни Веры Клавдиевны.

Мне хочется здесь привести два послания, адресованные ей в разное время, в её юбилейные дни. Возможно, они окажутся здесь уместными, что-то добавят к уже сказанному.

Первое посвящение было отправлено Звягинцевой в день, когда ей исполнилось семьдесят лет, и не было рассчитано на опубликование.

Но сейчас, поразмыслив, я решил его обнародовать.

Вот оно:

Что там в мире за отчим порогом?
Солнце, грозы, тревожная мгла?
Шаг за шагам по русским дорогам
Эта жизнь молодая прошла.

Не повяла она повиликой,
И бессонные блещут следы.
Простираясь от вешнего блика
До немеркнущей зимней звезды.

И опять, словно раннюю ранью,
Волшебство покоряет меня.
Нескончаемо очарованье
Золотого вечернего дня.

Второе стихотворение было напечатано в дни, когда Звягинцевой исполнилось семьдесят пять лет. Оно публиковалось неоднократно.

Есть в Хоромном тупике
Дом, где вовсе не в хоромах —
В комнатах давно знакомых
Вы живёте налегке.

Никаких излишков нет
Ни в дому, ни на сберкнижке.
Дверь зато не на задвижке —
Так и должен жить поэт.

А войдѣшь в квартиру ту,
Ослепит глаза богатство —
Только лирика и братство
У хозяйки на счету.

Рано вспыхнувший мороз
Ей приносит в день рожденья
Веток белые сплетенья,
Свет радищевских берѣз.

И алмазов в сто карат,
Песней в переводе Блока
Ей сияет издалѣка
Снежноглавый Арарат.

Сколько б ни сравнялось лет
Вам, хранительница клада,
В чистом пламени заката
Выплавляется рассвет.

Этот мудрый поздний час?
Обещанье новых суток,
В дымке утренней лучась,
Возникает первопуток...

...Потом было ещё одно лето в Переделкине, последнее лето Звягинцевой.

Силы покидали её. Нарушилась координация движений. Падение, перелом ноги, вынужденная неподвижность. Травма, трудно заживающая в преклонные годы, непривычное бездействие — было от чего впасть в отчаяние.

Нет, на людях Вера Клавдиевна держалась молодцом. Старалась держаться. Когда я внезапно появился, она даже встретила меня шуткой:

— Спешите видеть! Мумия доступна для обозрения. Сохранилась чудом, но от малейшего ветерка может рассыпаться...

Вероятно, ей лучше было лечь в больницу, но она всячески противилась этому. И врачи не настаивали. Конечно, уход в Доме творчества весьма несовершенен. Но для таких натур привычная обстановка, общение с людьми, давно знакомыми, куда целебнее, чем палата, пропахшая лекарствами, чем соседство с больными.

Я привёз только что вышедший из печати, изящно изданный томик Наапета Кучака, чьи айрены, написанные в тринадцатом веке, до сих пор почитаются в Армении как великий образец любовной лирики. Теперь эти строки пришли и к русскому читателю в переложении нескольких московских поэтов. Большое место в книге занимали переводы Звягинцевой. Взяв томик в руки, она погладила нарядную суперобложку.

— Спасибо! Кажется, выглядит красиво. И формат отличный — книжка умещается на ладони... Ах, будь я помоложе и покрепче, взялась бы за Нарекаци. Десятое столетие, средневековье, а как современно звучит! Какой гул скорби, какая глубина! Но эта работа мне уже не по силам...

Я прочитал ей новое стихотворение Максима Танка, посвящённое Нарекаци, в своём переводе.

Над книгою его стихотворений
Склоняюсь, как над бездной, не дыша.
От этих нареканий и прозрений
Вновь содрогается моя душа...

Прослушав до конца, Вера Клавдиевна благодарно улыбнулась:

— Передайте Танку нежный привет от меня! Я люблю ваших белорусов. Они многое пережили сами и может быть поэтому необыкновенно добры и участливы к другим. В этих стихах как раз и покоряет щедрое братское сопереживание...

Говорила она, как всегда, увлечённо, но каждое слово давалось ей с трудом. Окно в комнате было открыто, Однако Вера Клавдиевна пожаловалась:

— Воздуху маловато.

Потом спросила:

— Вы опять в Прибалтику собрались, Акоп? Далась вам эта Прибалтика! Впрочем, вы ведь там воевали. И, конечно, там хорошо. Дюны, море... Возвратитесь, звоните сразу. Я буду в городе. Обещаю, что мумия не рассыплется. Обещаю исправиться и оказать вам более светский приём, чем сегодня. Я живучая. Хотя и непонятно зачем...

Дела её были плохи. Но если прошлым летом она страдала от мрачных предчувствий, сейчас надежда, казалось, не покидала её. Во всяком случае Вера Клавдиевна стремилась внушить её другим:

— Я живучая...

Её уверенность странным образом передалась тогда и мне. Я ушёл с убеждением, что она и впрямь выкарабкается, что нога постепенно придёт в норму и силы, хотя бы частично, восстановятся. Что всё обойдется без больничной койки.

Не обошлось.

Когда я вернулся и сразу же позвонил в Хоромный, женщина, которая вела у Звягинцевой хозяйство и ухаживала за ней в Переделкине, сказала:

— Вера Клавдиевна вчера скончалась...

13

Всё-таки она прожила счастливую жизнь. Не потому что судьба баловала Звягинцеву. О нет! Чего не было в её существовании, так это благополучия. Огорчений, неудач и тяжёлых утрат насчитывалось куда больше, чем радостей, успехов и обретений. Работа не всегда ладилась. Критика часто обходила молчанием сделанное. Замечала прежде всего переводы. Но даже и тут случались несправедливые суждения: рецензенты-буквалисты попортили Вере Клавдиевне немало крови.

Но, право же, это была завидная жизнь. Потому что на всём её протяжении Звягинцева занималась любимым делом, потому что совесть её всегда была чиста перед людьми, перед поэзией, перед собой. Потому что Вера Клавдиевна была наделена многими талантами. В том числе талантом дружбы. А уж друзьями её судьба не обидела. Среди них были яркие, благородные, выдающиеся люди.

Искусство в любом своём проявлении есть поэтический перевод. Художник перелагает житейские впечатления на язык своей души. Во всех книгах Звягинцевой — от юношеского сборника «На мосту» до зрелой «Исповеди» — торжествует именно этот язык, слышится чистое звучание пережитого.

Занятия переводом в прямом смысле, сколько бы теоретики ни твердили о точности и объективности, сулят удачу только в том случае, если иноязычные строки вошли в твою душу. Только тогда они войдут и в родную словесность.

Вера Клавдиевна была истинным художником. Она не делила строки, выходявшие из-под её пера, на свои и чужие. Именно за это её любили и продолжают любить читатели.

Мы много размышляем, пишем, говорим о том, что определяет высоту нашего общества — о равенстве народов больших и малых, о взаимном уважении наций.

Звягинцева была страстным ревнителем и защитником этой высоты.

Сохраняя и трепетно продолжая пушкинские, некрасовские, блоковские традиции, она воплощала в себе всё лучшее, что несла, продолжает нести, обязана нести наша интеллигенция. Непреходящее чувство долга, неизменное бескорыстие, жизнелюбие и человеколюбие. И, наконец, самое главное — не внешнюю, а глубинную, избегающую суетных слов, преданность родине.

Не подниму ни голоса, ни глаз,
Про это петь не смею...
Бывает: в слишком ранний утра час
От холода и радости слабеешь...

Такая по душе проходит дрожь
Всей сыростью твоих оврагов сразу.
И все слова к тебе дурны, как ложь.
Не по любви моей мой разум.

«России» — так называлось это стихотворение, написанное в двадцать пятом году. Именно его отметил Горький среди других удач, особенно выделив афористическую строку: «Не по любви моей мой разум».

Сорок лет спустя в последней своей книге Звягинцева адресовалась к потомкам:

Обещайте мне, что вечно будет
На земле существовать Россия.

Не спялят её и не остудят
Никакие бедствия лихие.

...Обещайте, дайте слово, люди,
Что не станет злобы, лицемерья.
Я прошу вас вовсе не о чуде, —
Жить и умирать должны мы веря.

Обещайте мне, что сгинут войны,
Будут мирными поля и реки, —
И тогда задумчиво, спокойно,
Я смогу закрыть глаза навеки.

Её звали Вера. Своей жизнью и своей поэзией она учила вере и верности. Она принадлежит к тем художникам, чей путь не завершается с их кончиной, чей закат — обещанье нового рассвета, а конец дороги может обернуться перепутьем.

Мы больше не придём в её тихую квартирку близ громогласного Садового кольца. Её дом теперь повсюду — в радищевских местах и в Армянском переулке, в Коктебеле и в Ереване. И, конечно же, везде, где её помнят и чтут.

Обозревая путь Звягинцевой, размышляешь о том, что искусство создаётся не только прославленными корифеями, но и теми талантливыми и высоконравственными художниками, которые, не стремясь в первый ряд, безоглядно служат своему делу. Хрестоматийные имена и знаменитые произведения возникают не в безвоздушном пространстве, а в многоцветном и многоголосом окружении.

Когда поэт оставляет после себя не только свои строки, но и стихи разноязычных братьев и сестёр, воссозданные им, обогатившие родную литературу, — его наследие нам дорого вдвойне.

Я завершаю эти записки в заснеженном Переделкине. Если выйти за ворота дома, где Вера Клавдиевна часто работала, если свернуть направо по дорожке, протоптанной среди сугробов, вдоль оград, за которыми на заиндеветых ветвях алеют снегири, вдоль шоссе, ведущего к станции, за мостиком слева возникнет холм, на склонах которого раскинулось кладбище.

Здесь почивают переделкинские старожилы, скромные обитатели посёлка. Здесь нашли свой последний приют литераторы, чья жизнь так или иначе связана с этим местом. Их могилы навещают не только близкие и родные, но и читатели. Здесь покоятся Пастернак и Чуковский — к их надгробьям протоптаны тропы, которые не зарастают летом и не исчезают под зимней заматью.

У подножия этого холма погребена Звягинцева.

Памятник над её прахом прекрасен. Он создан в Ереване и доставлен в Переделкино друзьями.

Это вертикальная плита из розового туфа. В Армении такое надгробье называется — хачкар. Покрытое резьбой, оно почти всякий раз являет собой неповторимое произведение искусства.

Переделкинский хачкар — творение молодого художника Самвела Казаряна. Работа выполнена безвозмездно. Это — истинный дар дружбы и вдохновения.

Плита обрамлена орнаментом. Ювелирное мастерство резчика, изящество линий. В центре Казарян изобразил женщину с лирой в руках. Где мы видели такие большеглазые лица, покатые плечи, пластичные руки с узкими музыкальными пальцами? Вспоминаются пожелтевшие от времени рукописные книги, древние миниатюры, старинные немеркнущие фрески. Думаешь и о нынешних образцах резьбы, чеканки, монументальной мозаики,

о современниках, чьи поиски продолжают и обновляют высокую традицию.

Камень, суровый и нежный, словно частица Армении, бросает тёплый отсвет на нетронутые февральские снега. Он окружён подмосковными елями и берёзами. И воспринимается не как символ смерти, а как знак непрекращающейся жизни.

Армянский хачкар, осенённый русским лесом. Это и герб дружбы и память о поэтическом родстве.

Можно ли лучше выразить судьбу Веры Клавдиевны Звягинцевой?

ЕЛЕНА НОВИКОВА

ПРОЖИТЫЕ ГОДЫ

Нарисовать образ Веры Клавдиевны Звягинцевой нелегко: она была человеком самобытным, сложным и в известном смысле противоречивым. В ней было редкое сочетание разнообразных и казалось бы исключаящих друг друга черт: широта натуры, любовь к большому шумному обществу — и способность к задушевному интимному общению с друзьями; удивительная доброта и благожелательность — и некоторый эгоцентризм; высокая лиричность — и насквозь пронизывающее её чувство юмора; тонкий литературный вкус — и пристрастие к немножко даже вульгарным, но забавным словечкам и выражениям, многие из них походя — в разговорах и письмах — рождались ею самой. В этом последнем её свойстве, может быть, сказывалась «русскость» её натуры. В ней счастливо сочетались глупо русский человек из саратовско-пензенских глубин, обаятельная женщина и поэт, который пил только из своего стакана, как бы ни расценивать его размеры.

Источником всех этих свойств, как и её творческой и жизненной энергии, умения наслаждаться природой, общением с людьми, театром, музыкой, её неистощимой щедрости, неизменной верности друзьям — перечислишь ли все эти качества, так привлекавшие к ней людей? — источником их было постоянное ощущение счастья. Для неё счастье было во всём. Она не раз говорила, что уже просыпаясь, она испытывала чувство счастья от того, что живёт, дышит, впитывает в себя «все впечатленья бытия». Встать поутру, куда-то идти, что-то делать, кому-то звонить, привечать кого-то, пришедшего в гости или по делу, проводить дни и вечера в работе, а ночью, перед тем, как заснуть, «крутить в уме» (по её выражению) строчки своих, только слагающихся, стихов и переводов, — всё было счастьем. А что уж говорить о поездках в Армению, о месяцах, проведённых в Коктебеле! В ней был заряд энергии счастья, несший её неудержимо, — заряд огромной потенциальной силы. Она видела вокруг себя немало горя и бед и не была к ним глуха... И всё же ощущение счастья всегда побеждало.

Но шли годы и брали своё. С годами пришли болезни. Близкие люди уходили из жизни. Сначала жизненные удары сгибали её, но она вновь выпрямлялась. Потом они начали её надламывать и в конце концов сломили. Тогда-то и обнаружилась её душевная хрупкость и незащитность. Последние два года её жизни были мучительны.

1. На Пятницкой улице

Познакомил меня с Верой Клавдиевной мой брат Александр Андреевич Новиков. В начале 20-х годов он работал в учреждении, которое называлось Главснабпродарм. Там он сблизился со своим сослуживцем Александром Сергеевичем Ерофеевым, которого частенько посещал.

Хотя мы все — три сестры и брат — жили вместе, у каждого из нас была своя жизнь, свой круг знакомых, и друзья брата нас не очень интересовали, да и ему не приходило в голову знакомить нас с ними. Тем более мы были удивлены, когда осенью 1925 года он как-то пришёл домой не один и представил свою незнакомую нам спутницу как жену приятеля и сослуживца А.С. Ерофеева, выразившую желание познакомиться с его сёстрами.

Вера Клавдиевна пробыла у нас около часа, и её визит оставил большое впечатление, прежде всего потому, что уж очень был велик контраст между нами и ею. Она была изящно, со вкусом одета, в её внешности было что-то артистическое, и весь облик не совсем отвечал нашему студенческому быту, обстановке и более чем скромной одежде. Несмотря на это, с первых же минут мы почувствовали себя с ней просто и непринуждённо. Сначала, помню,

говорили о театре, который мы все очень любили, потом — о поэзии, культ которой издавна царил в нашей семье. Тут мы узнали, что Вера Клавдиевна поэт, что она ещё несколько лет тому назад выпустила сборник своих стихов, и теперь готовит второй. Нам это, конечно, импонировало и вместе с тем вызывало и интерес, и симпатию.

После этого первого визита Вера Клавдиевна стала заходить к нам уже одна, без брата. Мы оказались соседями. Наша семья жила на Пятницкой улице в доме № 49, а Вера Клавдиевна с мужем на той же улице в доме № 43. Приходя к нам, она обычно читала стихи, чаще не свои, а чужие. Тогда она увлекалась Багрицким, Асеевым; уже в те годы к числу её любимых поэтов принадлежал Б.Л. Пастернак. Иногда она переключалась на что-либо менее серьёзное и с задором, немножко кокетничая, «выдавала» какие-нибудь стишки вроде «Любочка, Любаша, это гордость наша...».

Вскоре после знакомства я как-то встретила Веру Клавдиевну на улице около дома, и она пригласила меня зайти к ним. По-видимому, это был воскресный день, так как её муж, Александр Сергеевич, был дома.

С тех пор я стала всё чаще захаживать к Вере Клавдиевне и Александру Сергеевичу. Жили они в коммунальной квартире, где занимали небольшую комнату; первое, что в ней бросалось в глаза, — это пианино.

В те годы у них регулярно, главным образом по средам, собиралось довольно многочисленное и разнообразное общество — артисты, поэты, литераторы, друзья и сослуживцы Александра Сергеевича. Я предпочитала приходить к ним, когда гостей не было, обычно по субботам вечером. Мы с Александром Сергеевичем играли в четыре руки: я в то время училась в музыкальном техникуме, Александр Сергеевич тоже играл. Не знаю, где и когда он учился музыке, но знал её очень хорошо и любил, хотя играл дилетантски и частенько вступал в неравную борьбу с трудными пассажами. И у Александра Сергеевича, и у Веры Клавдиевны интересы двоились. Вера Клавдиевна, как известно, начинала свой жизненный путь актрисой; она окончила театральную школу актёра Художественного театра Адашева, после этого училась на театральных курсах у артистки Малого театра Матвеевой, где среди преподавателей были Певцов и Худолеев, а потом работала в театре, в частности, у Мейерхольда. Однако ещё задолго до этого она начала писать прозу и стихи, и в конце концов поэт взял в ней верх над актрисой, хотя ещё в 1921—1922 гг. она, по её собственному выражению, «подхалтуривала» на сцене. Александр Сергеевич, если оставить в стороне служебную деятельность, делил свои интересы между литературой и музыкой, и последняя, пожалуй, преобладала. У него были какие-то связи в музыкальном мире, он был близок с Держановскими — известным музыкальным критиком Владимиром Владимировичем и его женой, певицей Екатериной Васильевной Кокосовой. Александр Сергеевич встречался и даже переписывался с Н.Я. Мясковским, а один раз, как он не без гордости говорил мне, — был даже у Скрябина.

К нашему музицированию Вера Клавдиевна относилась терпеливо, а иногда даже говорила, что оно доставляет ей удовольствие. Во всяком случае, она нас вознаграждала за него чаем, и для меня, может быть, самым приятным временем были эти чаепития втроём, иногда и вчетвером, когда к нам присоединялся Наум Михайлович Белинский, сослуживец Александра Сергеевича и близкий друг его и Веры Клавдиевны.

За чаем и после него шли долгие разговоры, главным образом о литературе, читали стихи — самой Веры Клавдиевны, чаще — только появившиеся в печати, а иногда ещё неопубликованные тех поэтов, с которыми Вера Клавдиевна была связана сотрудничеством в изданиях товарищества поэтов «Узел»: Б.Л. Пастернака, П.Г. Антокольского, С.Я. Парнок и других.

На литературных «средах» я бывала редко. Для меня была тогда непривычна и даже чужда атмосфера этих вечеров — многолюдных, немножко божественных. Хотя с ранней моло-

дости мне приходилось бывать среди писателей и литераторов — друзей моего дяди, но там были люди другого поколения, иного умонастроения и жизненного уклада, более старомодного и чинного.

На средах Веры Клавдиевны было менее всего чинности. Сегодня София Яковлевна Парнок читает свои тонкие и проникновенные стихи, в другой раз поэт Георгий Николаевич Оболдуев поёт на какой-нибудь популярный мотивчик сочинённые им несколько фривольные стишки или садится за пианино и играет прелюдии и фуги Баха — своего любимого композитора. Тут же кто-то делится своими планами — литературными, художественными, а то и просто житейскими, а давнишняя приятельница Александра Сергеевича — Л. Н-а в это время всюду флиртует с поэтом Иваном Ивановичем Пулькиным, не на шутку, кажется, увлечённым ею. Разговор перескакивает с литературных тем на театральные, с театральных на музыкальные, и всё это попеременно то с шуткой, то со стихотворным каламбуром, то снова с серьёзными стихами.

Иногда Георгий Николаевич и мой брат Александр Андреевич разыгрывали стихотворную игру под названием «Эхо», на ходу импровизируя вопросы и ответы эха. Мне запомнились два двустишия:

- «Кто кончит жизнь свою, сгоревши в мире оргий?»
— «Ге-ор-гий!»
- «От чьих стихов стоит в зверинце вой?»
— «Звя-гін-це-вой!»

Было шумно, очень весело и интересно, но меня это несколько стесняло. Сковывало, может быть, и обилие людей, уже в то время занимавших видное место в литературе и искусстве. Посетителями сред были П.Г. Антокольский, В.А. Луговской, Л.М. Леонов, драматург и театровед В.М. Волькенштейн, литературоведы Н.К. Гудзий и И.Н. Розанов, известная переводчица М.П. Богословская, по прозвищу «Белка», и наш прославленный кинорежиссёр В.И. Пудовкин. Я видела его наверное не больше двух раз, но эта яркая фигура запечатлелась в моей памяти. Хорошо помню, как он со свойственным ему воодушевлением развивал план задуманного им — не знаю, всерьёз ли — фильма под названием «Подлец»: «Представьте себе — первые кадры: ванна, в ней голый человек. И сразу видно, что он подлец!»

Бывали у Веры Клавдиевны и её друзья по сцене: Олег Николаевич Фрелих, Евгения Матвеевна Глубоковская. Частым гостем был Сигизмунд Доминикович Кржижановский, интересный человек, одарённый и своеобразный писатель, со склонностью к житейской фантастике, неудачник, разменявшийся на либретто для оперетт и оставивший кроме них, кажется, только одну печатную работу на довольно необычную тему — «Поэтика заглавий». Вера Клавдиевна ценила его литературное дарование, в частности, его произведения с совершенно неожиданными и парадоксальными сюжетами, вроде повести о «неукусуемом локте». Вера Клавдиевна нередко приглашала гостей специально послушать новый рассказ или повесть Сигизмунда Доминиковича. Это называлось «позвать на Кжижу».

Неизменными посетителями сред были Наум Михайлович Белинский (о нём я ещё буду говорить) и мой брат, стихотворные каламбуры которого очень любила Вера Клавдиевна. Чуть ли не до последнего года своей жизни она повторяла особенно полюбившиеся ей двустишия-каламбуры. Один был давним, времён Пятницкой улицы:

Не поймёшь, не то поют, не то топают
Если даже и поют, то не то поют.

Другой содержался в письме, полученном ею от брата с фронта:

С тех пор, как нацепил я портупею,
Я стал тупеть и до сих пор тупею.

Острое словцо, каламбур, словесный «перевёртыш» — всё это Вера Клавдиевна воспринимала очень живо. Подвизался на этом поприще и Александр Сергеевич. Ему принадлежит, например, такой каламбур:

В Неве сом невесом,
Вне — весом.

В те времена Вера Клавдиевна относилась ко мне как старшая замужняя женщина к юной девушке — любовно и слегка покровительственно. Тогда я, действительно, по сравнению с ней, была ещё молода, носила не причёску, а косы, была несколько романтически настроена. Летом 1926 и 1927 годов я ездила в Среднюю Азию, была совершенно покорена её экзотичностью и красочностью и прямо бредила ею. В то же время я была смешлива, и Вера Клавдиевна любила повторять услышанные ею слова пятилетней дочки нашей соседки: «мама, мама, как Алечка хохотает». Я пишу обо всём этом потому, что иначе нельзя понять сохранившегося у меня шуточного стихотворения Веры Клавдиевны, написанного в 1927 году:

Лукавых опытов запас
Снежок задора прорастает.
Каштаны кос. Каштаны глаз.
Каштаны сыплет — «хохотает».

Не потому ль восток пленил
Твою пленительную младость,
Что смех гортанный, смех Леил
Не тульскую вмещает сладость.

Не знаешь, караваны книг,
Верблюдов ли тебе дороже,
Цикад иль Шумана язык,
Дорога или бездорожье?

Но только прямо на огонь
Бегут каштановые косы.
Всегда в весёлую погоню
Летишь по рельсам и по росам.

К этому времени я и отношу начало дружеской близости, которая продолжалась в течение 45 лет. К концу 20-х годов уже несколько сгладилась разница в возрасте, обе мы стали больше чувствовать себя на равной ноге, так как к этому времени у меня уже определился жизненный путь, я не только училась, но и работала, вышла замуж. И если ранее Вера Клавдиевна была главным образом моей confidentкой, то к этому времени мы уже взаимно делились и своими узко-личными делами, и житейскими заботами, и планами. Иногда мы вместе — вдвоём, иногда втроём или вчетвером совершали экскурсии по Подмосковию — в Мураново, Абрамцево, Архангельское, а однажды, в 1927 году с Верой Клавдиевной и Александром Сергеевичем съездили на мою родину — в Тулу.

2. Поездка в Ясную Поляну

Это было глубокой осенью 1927 года. В Туле остановились мы в потемневшем от старости, деревянном доме, где я родилась и некогда проживала наша большая, шумная семья, а тогда жила только моя тётя. Днём мы много гуляли по городу, тогда ещё местами сохранившему аромат Растеряевой улицы. Вера Клавдиевна очень остро воспринимала всё старорусское, особенно когда оно связывалось в её представлении с каким-либо литера-

турным явлением, и было для неё чем-то новым. Ранее русская провинция ассоциировалась у неё прежде всего не с промышленными городами, вроде Тулы, а с полусельским Кузнецком её молодости. Центр Тулы тогда ещё сохранял облик дореволюционного губернского города с его стародворянскими улицами, архитектурой первой половины XIX века и остатками седой старины — Кремлём начала XVI века. Мы много бродили и по боковым улицам с деревянными одноэтажными домиками и фруктовыми садами — в то время когда мы там были, уже пожелтевшими и наполовину осыпавшимися.

Вечером приходили мои школьные друзья и мы все собирались за столом, на котором кипел большой старинный «Баташевский»¹ самовар. Вера Клавдиевна читала свои стихи, как всегда не чинясь и не заставляя себя упрашивать. Моих друзей пленили её стихи и манера читать, но ещё больше — простота, общительность и непринуждённость.

Главной целью нашей поездки в Тулу было посещение Ясной Поляны, в которой ни Вера Клавдиевна, ни Александр Сергеевич ещё ни разу не были. Добравшись, не помню уж как, до Косой Горы — старого сталелитейного завода, тогда находившегося в 7-ми километрах от города, а теперь давно уже вошедшего в его черту, мы сговорились с каким-то яснополянским мужичком, возвращавшимся на телеге из Тулы домой. Не припомню, сколько времени тряслись мы на этой телеге по выбитой шоссейной дороге в Ясную Поляну, — мы были поглощены другим. Возница наш был человек немолодой и хорошо помнил Льва Николаевича. Вера Клавдиевна в него так и вцепилась, и всю дорогу пыталась выжать из него какие-либо сведения о Толстом. Мужичок отделялся всё больше междометиями, но под конец одарил нас довольно неожиданной сентенцией: «Вот все ездят, спрашивают, интересуются — Лев Николаевич, Лев Николаевич! Ну, а мы-то знаем!..» Вере Клавдиевне эта фраза страшно понравилась, она сохранилась в нашем обиходе до конца дней, и Вера Клавдиевна очень часто, когда речь заходила о Толстом, повторяла: «Толстой, Толстой... А мы-то знаем!».

В самой Ясной Поляне маршрут был обычный: парк, дом, могила... В то время Ясная Поляна ещё не была только «литературно-мемориальным музеем»: в ней в какой-то мере сохранялась атмосфера дома, в котором живут. Ведь сравнительно недавно, на нашей памяти, там умерла хозяйка дома — Софья Андреевна, не так давно покинула Ясную Поляну дочь Толстого, нередко приезжали из Москвы «к себе домой» и сын Льва Николаевича Сергей Львович, и его внуки. Водил нас по дому не «гид», а бывший слуга семьи Толстых — Илья Васильевич — высокий, худой старик. Он, кажется, числился сотрудником музея, но ходил с нами не по служебной обязанности, а по собственному желанию, рассказывая, кто в какой комнате жил или где что происходило. Ничего нового, неизвестного нам даже тогда, мы от него не узнали, но рассказы живого свидетеля и то, что кроме нас никого не было, создавали у всех нас ощущение, редко возникающее в экскурсиях с квалифицированными и высоко эрудированными гидами, — приобщения к обыденной жизни великого писателя.

Потом, как это было принято, смотрели и дерево бедных, и колокол на нём, и любимую скамейку Льва Николаевича. Всё это, после того как мы походили по дому, уже не произвело, как мне кажется, особого впечатления; тем большим оно было от посещения могилы Толстого, холмика с увядшей травой в окружении наполовину опавших пожелтевших деревьев.

По возвращении в Москву Вера Клавдиевна записала свои впечатления от этой поездки. Не знаю, сохранились ли эти записки в её архиве.

Вера Клавдиевна не принадлежала к безоговорочным почитателям Толстого. Достоевский был ей гораздо ближе. Недаром на её письменном столе стоял портрет только одного

¹ Баташевы — до революции владельцы известной по всей России тульской самоварной фабрики.

писателя — фотография Достоевского. Она любила больше Толстого «Детства, отрочества и юности», «Казачков» и «Войны и мира», чем Толстого «Анны Карениной», «Смерти Ивана Ильича», «Воскресения». Такое впечатление я вынесла из одного давнего разговора с ней о Достоевском и Толстом.

В Туле нас провожали на вокзал мои тульские друзья. Когда мы стояли на площадке вагона и поезд должен был вот-вот тронуться, от группы провожающих отделилась моя подруга Олечка Гриншпон, прелестная, тоненькая «девушка библейской красоты», как выразилась вспоминая о ней Вера Клавдиевна, и подбежав к вагону сказала:

- Спасибо Вам, Вера Клавдиевна!
- За что, Олечка?
- За восторг.

3. Хоромный тупик

В феврале 1929 года в жизни Веры Клавдиевны и Александра Сергеевича произошло крупное событие: они покинули Пятницкую улицу и переехали в отдельную двухкомнатную квартиру в кооперативном доме в Хоромном тупике рядом с нынешней станцией метро «Лермонтовская».

В те годы — конце 20-х и первой половине 30-х — материально они были довольно стеснены, хотя со стороны это не было заметно. Зарплату Александр Сергеевич получал довольно скромную. В начале 20-х гг. Вера Клавдиевна иногда подрабатывала на сцене, но вскоре бросила её совсем. После того, как в 1926 г. в издании товарищества поэтов «Узел» вышел второй сборник её стихов, Вера Клавдиевна изредка печаталась в какой-нибудь газете, и для неё, и для Александра Сергеевича каждый раз это было подарком судьбы. В те же годы она иногда выступала с чтением своих стихов, главным образом перед рабочей аудиторией, иногда вместе с О.Н. Фрелихом, порою, правда, бесплатно. Помню, как в 1934 или 1935 году под 7 ноября она читала свои стихи на предпраздничном вечере в клубе Электрозавода. Моя сестра, работавшая тогда на этом заводе инженером, рассказывала, что у аудитории Вера Клавдиевна встретила очень тёплый приём. Кроме скудных гонораров за более или менее случайные выступления в печати или на клубной эстраде, были ещё, тоже нерегулярные, заработки от печатания на пишущей машинке.

У меня сохранились письма Веры Клавдиевны тех лет. Тогда, в начале 30-х годов, я часть года проводила в Средней Азии, где работал мой муж. В письмах Вера Клавдиевна не то чтобы жаловалась, а просто констатировала факты. В начале 1932 г. она писала: «У меня без Вас завелось новое платье, шёлковое, безумно модное... зелёного цвета, к Вашему приезду вероятно в чёрный выкрашу. Спросите — на какие шиши? Шишей нет абсолютно, а это на цепочку в Торгсине. И колечко голубое тоже там». (Письмо от 10 февраля). В том же году, 24 мая, она снова писала: «Сейчас побранилась с Вашей сестрой, задавшей мне раздражающий меня вопрос: “А куда Вы летом?” Точно мы Ротшильды...». То же повторяется в 1934 г.: «Писательские дома отдыха нам не по карману... Хочу на природу, но куда с нашими деньгами» (июль 1934). И в августе того же года: «Хочется к морю, а это не по карману».

Приобретение квартиры в кооперативном доме, а затем выплата пая, требовали в таких условиях больших жертв и усилий. И всё же это удалось.

Я хорошо помню этот переезд, так как принимала в нём непосредственное и деятельное участие. Решалось, что брать и что оставить. Из коридора извлекались шкафы и полки, не вмещавшиеся в комнате, а из чулана — большой сундук, памятный мне потому, что, во дружённый на новой квартире в кухне, он в течение очень многих лет служил мне кроватью, когда я оставалась ночевать у Веры Клавдиевны.

После переезда немало дней ушло на разборку вещей, установку мебели, — пока квартира не приобрела тот вид, который потом она, почти без всяких изменений, сохраняла в течение 43-х лет.

И Вера Клавдиевна и Александр Сергеевич были равнодушны к вещам. Ни тогда — в 1929 году, ни позже, когда Вера Клавдиевна получила широкое признание как поэт и переводчик, и её материальное положение кардинальным образом изменилось, не было у них ни мебели красного дерева, ни мебели «модерной», не было сервантов, трельяжей и прочего. За все 43 года Вера Клавдиевна только один раз, да и то по настоянию своей близкой приятельницы, автора широко известных пьес для детей, Валентины Александровны Любимовой, сменила старый, дореволюционного времени, громоздкий обеденный стол на занимавший меньше места и более лёгкий круглый, да по мере увеличения количества книг прикупала застеклённые книжные полки. В конце 30-х годов она, тоже по чьему-то совету, купила для «приёмов» набор хрустальных рюмок и бокалов, но стояли они в скромном полузастеклённом, тоже дореволюционном, шкафу. Такими же старомодными, доставшимися, наверное, ещё в наследство от родителей Александра Сергеевича, были двухтумбочный письменный стол, платяной шкаф, комод, два застеклённых книжных шкафа, полки для нот Александра Сергеевича. Более современный вид имели только книжные полки, да две тахты, покрытые коврами. Главным украшением первой комнаты, как и на Пятницкой, было пианино.

Расставить всю эту громоздкую мебель в двух небольших комнатах можно было только поступившись внешней красотой. Несмотря на это, у квартиры был, на мой вкус, не только привлекательный, но даже нарядный вид. В первой комнате окрашенные в ярко-синий цвет стены, освещённые большой люстрой, создавали вечером впечатление чего-то праздничного; второй, — с 1949 года служившей и рабочим кабинетом В. К., — бледно-абрикосовая окраска стен и матовый фонарь придавали характер интимности. На стенах — ни репродукций, ни эстампов. В синей комнате на одной стене небольшой рисунок Поленова (живописный бедуин на коне), в скромной окантовке портрет А.А. Фадеева; на другой — в овальной рамке портрет Наталии Николаевны Пушкиной — акварель старинного приятеля В. К. и А. С. художника Петра Васильевича Сивкова. Много позже на синей стене появилось красочное пятно — портрет Веры Клавдиевны работы Мартироса Сарьяна. На стенах другой комнаты висели лишь портрет Блока, да две акварели Максимилиана Волошина — пейзажи Коктебеля, второй после Армении любви Веры Клавдиевны. На письменном столе никаких безделушек, только две фотографии: Ф.М. Достоевского и самой Веры Клавдиевны в раннем детстве; она её очень любила и называла «девочка с дудочкой». Позднее к ним прибавился портрет Александра Сергеевича, скончавшегося в 1949 году.

Почти так же как к вещам, Вера Клавдиевна была равнодушна и к деньгам: когда их не было, она с этим легко примирялась, когда они были, она их не копила и ей не приходило в голову приобретать что-нибудь фундаментальное. Она не была ни ригористом, ни аскетом, любила хорошо одеваться, очень любила хорошие духи и, когда была возможность, тратила на них довольно много денег. Она щедро платила за любую оказанную услугу — медсестре, когда болела, мастерам, приглашённым что-нибудь починить. Любила дарить, и порой покупала за очень большие деньги билеты на хороший спектакль или концерт для себя и своих друзей. Но это было много позже — в 50-е — 60-е годы, когда её литературные заработки стали довольно высокими. В первые же годы после переезда в Хоромный тупик их образ жизни продолжал оставаться очень скромным, и только со второй половины 30-х годов, когда её стихи и переводы всё чаще стали появляться в печати, материальное положение Веры Клавдиевны начало мало-помалу улучшаться.

С переездом Веры Клавдиевны и Александра Сергеевича на новую квартиру мы перестали быть соседями. Несмотря на это, наши встречи стали не только более частыми, но и

более продолжительными. Нередко я приезжала к Вере Клавдиевна прямо с работы и, засидевшись за долгими разговорами до позднего вечера, оставалась ночевать. К числу моих лучших воспоминаний принадлежат эти вечерние часы, когда, забравшись с ногами на тахту, мы говорили часами — о стихах, о музыке, о личных делах, а то и о всяких мелочах жизни, или о каких-нибудь происшествиях в литературном мире. В соседней комнате Александр Сергеевич в это время либо читал, либо играл на пианино.

В эти времена я присмотрелась к быту их семьи и даже в какой-то мере вошла в него.

В обыденной жизни Вера Клавдиевна и Александр Сергеевич были совершенно непохожи друг на друга, и в то же время было в них и нечто общее. Вере Клавдиевне был абсолютно чужд свойственный Александру Сергеевичу педантизм, и она подшучивала над тем, как он с укоризной говорил ей: «Верочка, метр должен лежать с левой стороны окна, а ты его положила с правой». Не найдя однажды на положенном месте подставки для чайника, Александр Сергеевич спросил Веру Клавдиевну: «Дружочек, где кружочек?» Эта фраза стала в семье и среди близких к ней людей чем-то вроде присловья во всех случаях, когда что-нибудь оказывалось не на отведённом ему месте. Сходство же между ними заключалось в том, что как Александр Сергеевич, так и Вера Клавдиевна не выносили никакой неряшливости. Я часто наблюдала, как Вера Клавдиевна утром, только вскочив с постели, и накинув на себя «соделишку»¹, мгновенно убирала постели, хватала половую щётку, тряпку, и в считанные минуты обе комнаты приобретали такой вид, что хоть гостей, принимать. Умывшись и присев затем ненадолго к туалетному столику, она и сама через каких-нибудь четверть часа после уборки была вполне «в форме», и мы шли на кухню пить чай или кофе, тем временем приготовленный Александром Сергеевичем.

Когда я приезжала к Вере Клавдиевне прямо с работы, мы трое там же на кухне обедали. Как бы Вера Клавдиевна ни была занята, но к моменту прихода Александра Сергеевича обед всегда уже был готов, хотя бы и самый скромный. Подавая на стол, Вера Клавдиевна часто говаривала: «хотя Новиковы каши не любят, но сегодня у нас на второе каша».

К вечернему чаю, особенно когда ожидалась гости, приготовления были весьма тщательными. Называлось это «стол столить». Тут главным действующим лицом был Александр Сергеевич. Нужно было «застолить стол» так, чтобы всё вовремя было готово и на месте, и не надо было прерывать разговора или перебивать кого-нибудь из-за не поставленного на место «кружочка» или какого-нибудь другого упущения. Тут педантизм Александра Сергеевича был как нельзя более кстати.

На новой квартире не было уже более или менее регулярных «сред», но гости собирались часто и в довольно большом количестве. К тому времени я уже настолько сблизилась с Верой Клавдиевной и Александром Сергеевичем, что знала почти всех их друзей и близких знакомых, и бывала на всех устраиваемых ими «приёмах». Было всегда много народа, шумно и весело.

Сколько я помню, в Хоромном тупике не бывали уже ни Пудовкин, ни Луговской, ни Леонов, но появилось много людей, которых мне не приходилось встречать во время редких посещений «сред» на Пятницкой. Частой гостьей была подруга Веры Клавдиевны по сцене Наталия Алексеевна Белевцева с мужем — профессором психиатром Карлом Яковлевичем; иногда, раза два-три, приходил Б.Л. Пастернак; нередко бывали Елизавета Яковлевна Тараховская — автор детских стихов и популярной пьесы-сказки «По щучьему веленью», поэтесса Клара Арсенева, с которой впоследствии В. К. очень сблизилась. Постоянным посетителем был художник П.В. Сивков; очень неплохой портрет Веры Клавдиевны его работы долгое время стоял за стеклом одного из книжных шкафов. Довольно колоритной фигурой был почтенных лет адвокат — фамилию его я позабыла — балетоман и, в да-

¹ Так Вера Клавдиевна шуточно переделала французское название халата «sault de lit» («прыжок из постели»), обычно употреблявшееся одной моей родственницей.

лёком, думается, прошлом, *bon vivant*, со вкусом рассказывавший, как в таком-то (дореволюционном) году такая-то балерина в таком-то балете сделала тридцать два фуэте и, кажется, огорчался, что это не вызывало у слушателей изумления и восторгов. Многих, за давностью лет, я уже позабыла. Как и на Пятницкой, читали стихи. Когда бывал П.Г. Антокольский, он вдохновенно, жестикулируя, выкрикивал, а иногда даже почти что пел свои ещё не опубликованные произведения. Б.Л. Пастернак, много и воодушевлённо говоривший, стихов никогда не читал. Зато это охотно делала Вера Клавдиевна. Читала она очень просто и хорошо; в её чтении не было ничего актёрского, но от её профессиональной актёрской выучки остались хорошо поставленный голос и прекрасная дикция, и может быть поэтому ей так удавалось передавать музыку стиха.

Всего больше народа собиралось на именины Веры Клавдиевны — 30-го сентября, день Веры, Надежды и Любви — и под Новый год. В эти дни «стол столился» богато, было много вина, пили шампанское. Вера Клавдиевна пила немного, и после трёх рюмок вина начинала, как она сама говорила, «всех любить». Она была тогда особенно привлекательна — раскрасневшаяся, улыбающаяся и на всех глядевшая умилённым взглядом. Встречая Новый год, Вера Клавдиевна неукоснительно соблюдала давно установившийся ритуал: пока Кремлёвские куранты отбивали двенадцать часов, нужно было успеть написать на бумажке самые заветные пожелания, свернуть её и до последнего удара проглотить, запив шампанским.

Иногда танцевали, почти всегда вальс под музыку И. Саца к пьесе С. Юшкевича «*Miserere*». Играл, конечно, Александр Сергеевич.

Чаще, однако, собирались в более узком, интимном кругу родственников или близких друзей. Родни в Москве у Веры Клавдиевны было немного, и бывали у неё главным образом два её двоюродных брата — Алексей Евгеньевич и Венедикт Евгеньевич Звягинцевы; дружна она была больше с Алексеем Евгеньевичем и его женой — Софьей Георгиевной. Часто приходили кузины Александра Сергеевича — Кестнеры и друзья его детства сёстры Новосильцевы.

Круг ближайших личных друзей, бывавших в те годы в Хоромном тупике, состоял из Наума Михайловича Белинкого, моего брата Александра Андреевича, Евгении Матвеевны Глубоковской, дружба с которой восходила ещё к дореволюционным временам, когда они обе учились в театральной школе, Ольги Фёдоровны Головиной — тоже старинной приятельницы Веры Клавдиевны, известного в своё время актёра Олега Николаевича Фрелиха. К числу литературных друзей принадлежали тогда Павел Григорьевич Антокольский, София Яковлевна Парнок (до своей смерти в начале 30-х годов), позднее — Клара Арсенева. Очень часто бывал С.Д. Кржижановский. Нередко заходили Сергей Николаевич Дурылин, Николай Каллиникович Гудзий и Иван Никанорович Розанов. Это не были отделённые друг от друга круги; чаще всего наряду с теми или иными её литературными друзьями были и чисто личные («простые люди», как шутливо говорила Вера Клавдиевна). Но каков бы ни был состав гостей, почти всегда читали стихи и слушали музыку в исполнении Александра Сергеевича.

4. Концерты А. Л. Доливо

Вера Клавдиевна часто бывала на концертах, обычно с Александром Сергеевичем, и в театрах — больше с Наумом Михайловичем Белинким. Но были концерты, на которые она ходила только с нашей семьёй — со мной, моими сёстрами и старшим братом Петром Андреевичем. Это были концерты известного музыковеда и певца А. Доливо, познакомившего широкий круг любителей музыки с забытыми или малоизвестными произведениями: шведского поэта и автора песен XVIII века Бельмана, шотландскими и ирландскими застольными песнями Бетховена (слова к ним переводил, а точнее заново создавал Андрей Глоба), романсами русских композиторов, главным образом, первой половины XIX века, и

даже с древнегреческими напевами. Вера Клавдиевна была страшно увлечена этими концертами. Ей было свойственно переносить своё увлечение музыкой на исполнителя, стихами — на их автора. Так было и с А.Л. Доливо, и с Б.Л. Пастернаком¹. Увлечения эти приобретали у неё характер некоей «игры», «сценического действия», всегда юмористического и даже гротескного. С А.Л. Доливо и его женой Вера Клавдиевна вскоре познакомилась и несколько раз встречалась с ними — всегда на концертах. Письма, которые она мне писала в 1932 г. в Узбекистан, были полны забавными описаниями встреч, как с А.Л. Доливо, так и с Б.Л. Пастернаком, в которых реальные факты расцвечивались фантастически-комическими деталями; вместе взятые они составляли коротенькие, иногда в несколько строк, но законченные сценки. В них фигурировали и А.Л. Доливо с супругой и аккомпаниаторшей Мирзоевой и Андрей Глоба с семейством, и Б.Л. Пастернак с женой — Зинаидой Николаевной. В них не было ничего обидного для кого-либо, но я думаю, что Вера Клавдиевна едва ли была довольна, если бы могла предположить, что они будут опубликованы. Иногда она даже делала оговорку: «не читать Давиду» (т. е. моему мужу) или «не для Давида», хотя прекрасно знала, что он разделит со мной удовольствие от чтения этих гротесков. Здесь я их, конечно, опускаю. Но даже и самые простые и абсолютно реальные эпизоды обрастали под её пером какими-нибудь комическими вымыслами. Если, например, мои сёстры задержавшись на работе запаздывали, то в изложении В. К. получалось, что «сёстры, конечно, заезжали в баню и опоздали». Когда они как-то преподнесли Доливо букет цветов, то об этом сообщалось так: «Мы купили ему цветы, Вера бросила, но он, подлец, их кому-то скормил...».

На концерты Доливо Вера Клавдиевна отозвалась и стихами. Одно из них она послала ему. Так как оно нигде не опубликовано, я привожу его целиком. Стихотворение построено на реминисценциях песен, певшихся Доливо, в частности, застольных Бетховена («Таверны», «Бетси и Дженни», «Забвение грога»).

ДОЛИВО

Хромает, как Байрон,
И музыки полная горсть.
Какого-то края
Какой-то бродяга и гость.

То строгого роста
Орестом рыдает,
То мальчиком просто:
Мне жалость подайте.

Он бродит по странам,
Векам и тавернам,
Звенит он стаканом
Красоткам неверным.

Где рожь колосится,
Где тмин зацветает,
Где юность, как птица
Поёт, отлетая...

Стеснивши дыханье
Мы слушаем: вьюга,
И шторма качанье
Волною упругой.

¹ В 50-е годы Вера Клавдиевна поделила с другим моим братом, Александром Андреевичем, увлечение поэтическим и исполнительским даром А.Н. Вертинского. Помню, как встречая 1954 и 1955 Новый год, они после 12 часов по телефону поздравляли его.

Глаза закрываем
Невольным движеньем:
Вот он запекает
О Бетси и Дженни.

Вот мы у порога
Последнего дома:
«Забвение грога,
Забвение рома...»

И зыблется вечер
И сердцебиение...
Счастливая встреча
С самым вдохновеньем.

О знакомстве с Доливо Вера Клавдиевна писала мне: «Приятно было... слушать последние бисы, зная что сейчас пойдём к нему. И идти. Но в артистической было много народу, причём Глоба водил кроме меня свою тещу и двоюродную свояченицу. Представили меня сначала королеве Эрнестине¹, которая приняла меня очень милостиво, узнав что я автор стихов... Я сказала, что есть ещё шуточные. Милостиво разрешила прислать и шуточные... Доливо Глоба сказал: «Вот автор тех стихов, которые Вам так нравятся». Доливо, бедный, глазами захолопал. Я сказала:

«Хромает, как Байрон,
И музыки полная горсть».

Тогда он ахнул и быстро-быстро начал целовать мне обе руки. Ну поговорили о том о чём². Причём я от страху забыла, как называется Парк культуры...» (письмо от 16.IV—1932 г.).

Шуточные стихи, о которых упоминала Вера Клавдиевна, в письме назвала она «шуточные стихи с нешутливым восторгом». (Письмо от июня или июля 1932 г. В. К. не имела обыкновения датировать свои письма, и я устанавливаю даты по штемпелям на конвертах, а если они утрачены, по косвенным признакам).

ВЕЧЕРА ДОЛИВО

Это стало чудесным обрядом.
Это стало как в детстве — награда:
На афише завидев «Доливо»,
Усмехнуться в смущеньи счастливом,
И — скорее — по телефону
Извещать сообщниц влюблённых.

В зал приходишь всегда заранее,
Проверяешь, как в поле брани, —
Всё в порядке ли. Смотришь в оба:
Так. С женою проходит Глоба.

И рояль особо параден
Серебристой мирзоевской прядью.
И певца особо ритмично
Поэтическое обличие.

Вот он начал: широкой песней
Ковыля по степи безвестной;

¹ Жена А.Л. Доливо.

² «Быстро-быстро» — словечко из какого-то старого анекдота; «о том о чём» — любимое выражение Веры Клавдиевны, заимствованное ею у владелицы дачи, которую снимала под Москвой С.Я. Парнок.

Вот он сыплет россыпи рая,
Упоительно в жизнь играя.

И горячий ветер Глинки
Мне на губы паутинкой;
Прямо по сердцу, при народе
Даргомыжский вкрадчиво бродит.

Ох, как гладит нас против шёрстки.
Музыкальная длань Мусоргского.
Сзади гулом: «ах, если б спели нам
Шаловливую Уллу Бельмана!»

От концерта к концерту тянется
Сверху вопль: «Беспризорник», «Пьяница!»
Я сижу задержав дыхание,
Мне не вымолвить и названия.

Знаю только, что очень больно
От Бетховенских, от застольных:
И метель заметает залу,
И соседей как не бывало...
Закусивши губы, не знаешь,
Отлетаешь, иль умираешь¹.

В одном из писем В. К. передала содержание своего разговора с Доливо: «Он в своём деле — писала В. К., — любит больше “исторические экскурсии” и передать стиль XVII века, а я требовала, чтоб он любил романтическое упоенье и “пафос романтики”. Багрицкого любит. Пастернака очень ценит (очень любит), но трудно понимает». (Письмо от мая 1932 г.).

Увлечение Доливо продолжалось года два.

В 1934 г. пошли другие заботы. Готовился съезд писателей, и начался приём в Союз. Требования ставились высокие, и волнений среди писателей было немало.

5. Вступление в Союз писателей

С мая по август 1934 г. я снова была в Средней Азии, и полученные тогда от Веры Клавдиевны письма полны, главным образом, событиями, связанными с предстоящим 1-м съездом писателей и приёмом в Союз. «Сейчас, — писала она, как всегда с юмором, — живём в ажиотаже приёма в Союз. Я не подаю, но стояла в очереди на Асеева для переговоров и знакомства и не выстояла ни полкило... Теперь я интересуюсь не Леонидовичами [т. е. не Борисом Леонидовичем Пастернаком и Анатолием Леонидовичем Доливо. **Е. Н.**], а Николаевичем [т. е. Николаем Николаевичем Асеевым. **Е. Н.**]». (Письмо от 23 мая 1934 г.). Впрочем, не все письма носили шуточный характер. Через несколько дней она писала: «Все безумно заинтересованы, кого примут, кого нет. Б.Л. [Пастернак] уже выступал с призывом к товариществу, т. к. большая часть писателей без Союза. Сначала не приняли Л. Гроссмана, Волькенштейна, Алтаузена, Зозулю... Потом переприсяли. Но месяц осталось так. Я-то, конечно, и не думаю. Интересуюсь только знакомством с Асеевым, что вероятно и свершится в ближайшее время... Кжижа [С.Д. Кржижановский], Гудзий даже не подадут заявлений... Но, например, Левидова не приняли, Федорченко... да массу... кажется Блобу, но это не точно. Жилкина не приняли».

¹ Это стихотворение имеется у меня в двух вариантах: первоначальном, в самом письме, и более позднем, машинописном. Я привожу первый вариант, вставив в него из второго одну строфу. «Беспризорник» — романс Мусоргского, но, кажется, на новые слова. Улла — героиня песни Бельмана. «Пьяница» — застольная Бетховена «Постой! Выпьем ей-богу! Ещё...».

Письмо, написанное в начале июля, носило более оптимистический характер, и в нём снова звучали юмористические нотки: «У меня события большие: во-первых, меня приняли в стажёры (кандидаты) в Союз, и я теперь должна быть молодой и энергичной и быстро-быстро расти... Затем я встретила с Асеевым и много говорили. Он стальной, острый, весёлый, жёсткий и блестящий, не «стелет мягко» как Горынычи [Горынычи] — синоним «Леонидовичей». Е. Н.], очень хвалил мои стихи (музыкальность, мускулы [? Е. Н.], темперамент лирический), но ругает за то, что сижу в углу и катаюсь золотым яблочком по серебряному блюдечку (как и Пастернак и многие). Будет вытаскивать меня из угла и с блюдечка».

В лиричности и интимности её стихов упрекал Веру Клавдиевну не только Асеев, но и её близкий друг тех времён Павел Григорьевич Антокольский. «Был крупный случай с Павликом. Он напечатал статью “против сердечности меня и Пастернака”, как сказал он сначала, а когда мне её прочли (Гудзий по телефону), оказалось что она против личного в поэзии, короче же говоря: против “небывалого товара”¹. Павлик сначала сам звонил, не рассердилась ли я на неё, а когда я её узнала и позвонила ему, он уже отрекался, что она против меня, а говорил что против Уткина и вообще что он перегнул палку и усиливал линию, как бывает когда дерёшься за что-нибудь. Статья умная, интересная, но в основе не верна: ведь от Пушкина до Маяковского и Багрицкого без личности и автобиографичности] не было стихов». (Письмо от июля 1934 г.).

Судя по письмам тех месяцев, Веру Клавдиевну нагрузили какими-то поручениями по организации Съезда: «Торчу в Оргкомитете насчёт съезда; тысячи мелких дел и невылазная Москва, лестницы, трамваи меня утомили смертельно...» (Письмо от августа 1934 г.).

В Союз, как известно, Веру Клавдиевну приняли, и письма, касающиеся этого события, заканчиваются, по обыкновению, юмористически: «...на улице пристал ко мне, провожал, умолял о встрече молодой рабочий, почуяв мою перестройку, но не различив возраста». (Письмо от августа 1934 г.).

Последовавший за приёмом в Союз 1935-й год был в жизни Веры Клавдиевны переломным; в некотором смысле он предопределил и её будущую литературную деятельность. В этом году впервые был напечатан её перевод армянского поэта — Гегамы Сарьяна. С той поры началась её плодотворная переводческая работа, в которой особое место занимали переводы армянских поэтов — классиков и современников. В 1936 г. она впервые была в Армении. Ею она «заболела» ещё больше, чем некогда Коктебелем.

В начале своей самостоятельной жизни Вера Клавдиевна знала только среднюю Россию, да один раз в начале 20-х годов была в Полтавской губернии на летних гастролях, если не ошибаюсь, труппы Матвеевой. Не помню точно, когда она впервые побывала в Коктебеле, во всяком случае это было ещё при жизни Максимилиана Волошина.

Тогда ещё не было Литфондовского Дома творчества, и приезжавшие в Коктебель писатели жили либо в доме Волошина — «Доме поэта», — либо в построенных рядом с ним нескольких хибарках. Я вспоминаю рассказы Веры Клавдиевны о Максимилиане Александровиче (она называла его Максом), о его поклонниках и поклонницах, ходивших, как и он сам, в чём-то вроде туник или хитонов и именовавшиеся «волошинцами» и «волошинками».

Вера Клавдиевна высоко ценила М.А. Волошина и как поэта, и как художника, и как человека, но ко всем этим чудачествам относилась с весёлой иронией. Вместе с тем ей нравился своеобразный колоритный быт этого дома, нравилось бывать в мастерской Волошина. Тогда он подарил ей несколько своих акварелей со стихотворными дарственными надписями. Она подружилась с Максимилианом Александровичем, а с его женой, Марией

¹ Из неопубликованного, по крайней мере тогда, стихотворения П.Г. Антокольского, в котором была такая строка: «Я пойду за своим небывалым товаром».

Степановной, поддерживала дружеские отношения до конца её дней.

Но больше людей Веру Клавдиевну пленяла в Коктебеле природа: степь, прибрежные голые скалы, а чуть отделившись от берега вглубь полуострова, буйная зелень. Но главное — море. Оно её притягивало, и мне не раз приходилось слышать от неё или читать в письмах: «хочется моря», «моря хочется до безумия». Со второй половины 30-х годов, а затем после войны и до 1965 года Вера Клавдиевна ездила в Коктебель почти ежегодно. Но в эти же годы всё больше росла её любовь к Армении, и поездки туда стали для неё ещё большей внутренней необходимостью.

Последнее предвоенное пятилетие было, наверное, у Веры Клавдиевны самым безоблачным и благополучным: она не знала тогда, что такое болезни, все близкие её тоже были здоровы. Она получила признание как поэт и переводчик, у неё появилось много новых друзей, больше всего среди армянских поэтов. Вместе с тем, пришло и некоторое материальное благополучие, которое, при всём её равнодушии к житейским благам, было всё же, конечно, очень приятно. На этом безоблачном небе было точно только одно облако: это — неудавшаяся встреча с её старым другом Мариной Цветаевой, вернувшейся в 1939 г. в Советский Союз.

6. Марина Цветаева

Я не знаю, когда именно и как Вера Клавдиевна познакомилась с Мариной Цветаевой. Их знакомство состоялось, кажется, в 1918 году и довольно быстро перешло в дружбу.

Много времени спустя Вера Клавдиевна и Александр Сергеевич рассказывали, как Марина Цветаева встречала у них новый 1919 год. Случилось так, что Вера Клавдиевна куда-то была приглашена — может быть даже для выступления на каком-то новогоднем вечере. Цветаева не то гостила тогда у них, не то пришла к ним на встречу Нового года, и Александр Сергеевич должен был остаться дома. По-видимому, встреча не обошлась тогда без шуточного флирта. Рассказывая об этом вечере, А. С. прочитал мне первые строки посвящённого ему стихотворения, написанного Цветаевой по поводу этой встречи Нового года:

Поцеловала в голову,
Не догадалась в губы.
А всё ж по старой памяти
Ты хороша, любовь...

Помнится, тогда же Вера Клавдиевна рассказывала, как увидав у них подвязанные к наружным оконным откосам горшочки с цветами, Марина Цветаева сказала: «В этом доме цветы на привязи, жена на свободе».

Уже после войны Вера Клавдиевна дала мне прочесть несколько писем и записок Марины Цветаевой, написанных в 1920 г.¹ Они говорят о глубокой дружбе, связывавшей тогда этих двух так непохожих друг на друга по жизненному укладу и мироощущению людей, и столь разных по литературному стилю поэтов. Дружила Цветаева не только с Верой Клавдиевной, но и с Александром Сергеевичем. Её письма и записки были обычно обращены к обоим и начинались словами: «Милая Вера, милый Саша», или «Друзья мои». Сколько я помню, только одно письмо начиналось обращением: «Верочка!» Оно было написано в феврале 1920 г., вскоре после смерти в детдоме её младшей дочери Ирины, было полно отчаяния от своей заброшенности, одиночества и неустройства... В это время тяжело болела её старшая дочь — Аля. Письмо обрывалось на полуслове и, судя по пометке Александра Сергеевича, таким и было получено. В эти же примерно дни было написано обра-

¹ После смерти Веры Клавдиевны эти письма и записки были обнаружены среди бумаг Александра Сергеевича, тщательно подколотые им в хронологическом порядке и с указанием дат получения. Они хранятся сейчас в фонде Веры Клавдиевны в ЦГАЛИ.

щённое к обоим письмо, в котором она сообщала о смерти дочери. Оно было одновременно и самообвинением и самооправданием, пронизано страхом за старшую дочь. Я по памяти могу только сухо передать содержание этих писем, но не их полную трагизма экспрессию. Она уже в них задавала вопрос — стоит ли ей жить, и когда я у Веры Клавдиевны читала эти письма, то у меня возникло чувство, что трагическая смерть Цветаевой была предрешена уже тогда.

Записки относились к осени 1920 г. В одной из них она писала о том, что приходила и не застала, в другой, что собирается прийти. Эти записки были коротки, непринуждённые и потому разительно отличались от писем.

В том году Марина Цветаева часто навещала Веру Клавдиевну и Александра Сергеевича и нередко одна, а иногда вместе с дочкой, жила у них день-другой. Ночевала она обычно на старинном диване. Когда Вера Клавдиевна и Александр Сергеевич переехали в Хоромный тупик, этот диван перекочевал к нам, и я долгое время пользовалась им с гордым сознанием, что сплю на том же ложе, что и великая русская поэтесса.

Весной 1922 г. Цветаева уехала за границу, и их встречи прервались почти на два десятилетия. Возможно, что их дружба оборвалась ещё до отъезда Цветаевой. По рассказу Веры Клавдиевны Цветаева иногда брала у них что-нибудь почитать. Как я уже говорила, А. С. был человек аккуратный и даже педантичный. Как-то, проводив уходившую от них Цветаеву до дверей, он крикнул ей вслед: «Мариночка, Мариночка! У Вас моя книжечка, не забудьте вернуть!» Ответ был краток и выразителен: «Ноги моей в этом доме больше не будет!» Не знаю, было ли это всерьёз, или нет. Вскоре после этого Марина Цветаева уехала, и я никогда не слышала от Веры Клавдиевны, как они расстались. Вспоминали её и она и Александр Сергеевич очень часто, но больше в шутовском тоне, так, как принято говорить о старом, любимом, но не лишённом чудачеств, друге. Я помню их рассказы о том, как Марина Цветаева варила суп в самоваре, или как, придя с работы домой, Александр Сергеевич застал её за приведением то ли стула, то ли табуретки в состояние, пригодное для того, чтобы вытопить «буржуйку». Когда Александр Сергеевич выразил недоумение по поводу столь нерационального использования мебели, Цветаева спокойно ответила: «Саша, ну что такое **мебель**, и что такое для человека — **тепло!**».

Наверное не без шаржировки, к которой она всегда была склонна, Вера Клавдиевна не раз говорила: «Марина любила, чтобы Аля¹ видела красивые сны». По её словам, утром иногда происходили такие сцены.

Марина Цветаева строго спрашивала дочь: «Аля, что ты видела во сне?» И семилетняя малышка робким голосом лепетала: «Я видела большую красивую комнату... В ней кресло... В кресле сидите Вы, Марина... Откидывается портьера и входит Казанова... Он целует Вам руку...». Вера Клавдиевна заканчивала этот рассказ словами: «И Марина была довольна».

Ещё помню я драматическую историю, рассказанную Верой Клавдиевной. Соседями у них была семья П-вых. Люди они были в общем очень милые, и отношения с ними у Веры Клавдиевны и Александра Сергеевича были вполне дружелюбными. Тем не менее, Вера Клавдиевна панически боялась свою соседку, потому что та была в квартире блюстительницей порядка. Как-то Марина Цветаева с дочерью пришли к Вере Клавдиевне с ночёвкой. П-вы были в то время в отъезде, и так как спать вдвоём на довольно узком диване было не слишком удобно, решили воспользоваться случаем и поместить гостей у П-вых, благо запирались друг от друга на замок не было у них в обычае. Вера Клавдиевна решилась на это не без колебаний, т. к. смертельно боялась, как бы об этом не узнала П-ва. На следующее утро, зайдя в комнату П-вых, чтобы прибрать её и скрыть следы нашествия, Вера Клавдиевна обнаружила на стене над ложем, где спали гости, чёткую надпись: «В этой комнате (тогда-то)

¹ Старшая дочь Цветаевой — Ариадна Сергеевна Эфрон.

ночевали Марина Цветаева с дочкой Алей». Что было после возвращения П-вых, ни Вера Клавдиевна, ни Александр Сергеевич не рассказывали. Надо думать, финал был не лишён драматизма.

За всеми этими шутивными рассказами скрывалась глубокая любовь к Марине Цветаевой и как к человеку, а ещё большая, как к поэту. Вера Клавдиевна считала её одним из наиболее выдающихся русских поэтов нашего времени и, по крайней мере тогда, ставила её много выше Анны Ахматовой. В поэзии Ахматовой она не любила того, что называла «дамскостью» и в качестве иллюстрации приводила строки из стихотворения «Песня последней встречи»: «Я на правую руку надела перчатку с левой руки...».

Во второй половине 20-х годов в литературных кругах Москвы широкую известность получила поэма Марины Цветаевой «Крысолов». Особым успехом пользовалась глава «Детский рай». Её неоднократно читала у Веры Клавдиевны и Александра Сергеевича их добрая знакомая Марина Баранович. Я не знаю, кем она была; знаю только, что не поэтом, не актрисой, не профессиональной чтицей. Но у неё был голос редкой красоты, широчайшего диапазона, и «Детский рай» она читала необычайно выразительно, тонко передавая мельчайшие оттенки всё время меняющихся интонаций и ритма. Этим чтениям отводились специальные вечера, на которые Вера Клавдиевна приглашала друзей и близких знакомых. Так и говорилось: «Приходите на Марину Баранович».

Прошло много времени, без малого двадцать лет, и в 1939 году Марина Цветаева вернулась на родину. К Вере Клавдиевне она пришла, как мне помнится, не сразу. Это было тяжкое время; вокруг Цветаевой, оставшейся в Москве без мужа и дочери, с одним сыном, образовался своего рода вакуум: её чурались, и мне известен даже случай, когда увидав своего старого близкого друга и обратившись к нему со словами приветствия, она получила холодный ответ: «Я Вас не знаю».

Вере Клавдиевне и Александру Сергеевичу было совершенно чуждо столь распространённое в ту пору чувство страха. Они не боялись встречаться и привечать людей, в семьях которых кто-нибудь был репрессирован, и даже тех из своих знакомых, кто сам подвергался ранее репрессиям. Для них обоих важно было самим быть уверенными в добропорядочности человека, которого они принимали, и на них не оказывали влияния ярлыки, которые с такой лёгкостью наклеивались иногда в те годы на людей. Марина Цветаева в глазах Веры Клавдиевны и Александра Сергеевича продолжает оставаться большим русским поэтом, старым другом и хорошим человеком.

Марина Цветаева заранее предупредила о своём приходе, и Вера Клавдиевна пригласила на эту встречу Наума Михайловича Белинского и меня. Цветаева пришла с сыном Муром. Вера Клавдиевна и Александр Сергеевич встретили их очень радушно. За чаем Марина Цветаева с горечью говорила о том, как она мечтала показать своим детям русскую природу, русский лес, русскую берёзу, — всё то, что с детства было так дорого её сердцу, и не нашла у них — особенно у сына — ни понимания, ни сочувствия. Прочла несколько стихотворений из цикла, посвящённого Пушкину. Читала сухо, несколько резким голосом, и мне лично слушать и воспринимать её стихи было трудно — отчасти из-за манеры чтения, отчасти из-за сложной структуры стиха и обилия enjambements. Сын — Мур держался с подчеркнутой корректностью и несколько официально, а в Марине Цветаевой чувствовалась отчуждённость. Слишком был велик контраст между Верой Клавдиевной, оживлённой, экспансивной, с обычным для неё ощущением счастья, и Мариной Цветаевой, от которой веяло — таково было, по крайней мере, моё впечатление — чувством одиночества и скрываемого от всех отчаяния. Казалось, что она замкнулась в себе и все были ей чужды. Одна была воплощением благополучия жизни, другая — полного её неблагополучия. Встреча явно не удалась.

Я не знаю, как сложились в дальнейшем взаимоотношения Веры Клавдиевны и Марины Цветаевой. Из заслуживающего доверия источника мне недавно стало известно, что Вера Клавдиевна пыталась помочь ей, найти переводную работу, в связи с этим происходили какие-то деловые встречи, перед кем-то Вера Клавдиевна насчёт этого хлопотала. Сама она никогда об этом мне не говорила.

7. Военные и первые послевоенные годы

Наступил навеки памятный день 22 июня 1941 года. Первые месяцы войны Вера Клавдиевна перенесла очень болезненно. Как и всех, её потрясли временные неудачи Советской Армии. Как и для всех, наверное, трагической неожиданностью оказались для неё бомбёжки Москвы. Впрочем, я мало знаю о жизни Веры Клавдиевны в эти тяжёлые дни. Уже в конце июля 1941 г. я с ребёнком и свекровью уехала во Владимир. Знаю только, что она и тогда продолжала работать, выступала на митингах и собраниях.

Впервые мы расстались на долгий срок. Мы не виделись два с половиной года. И даже переписка у нас завязалась не сразу. Из Владимира я осенью 1941 г. уехала в деревню; к тому времени учреждение, в котором работал Александр Сергеевич, эвакуировалось в Свердловск, и вместе с ним уехали из Москвы и он с Верой Клавдиевной. Долгое время она не знала моего адреса, я — её. Много месяцев спустя я получила от неё первое письмо. Насколько можно было по нему судить, жилось им нелегко, и при всей её непритязательности, Веру Клавдиевну тяготили и неустройство быта, как у всех эвакуированных несколько бивуачного, продовольственные трудности и прочие материальные невзгоды. Очень удручало её ухудшающееся здоровье Александра Сергеевича. Ему ведь уже тогда было сильно за пятьдесят.

Вернулись они в Москву, кажется, летом 1943 года. Мне пришлось задержаться в деревне, и я приехала домой только в декабре и, конечно, один из первых моих визитов был к ним. У обоих был усталый вид, Александр Сергеевич очень постарел, и было заметно, что его здоровье сильно расшатано. Всё же к началу 1944 г. их жизнь стала налаживаться. Вливал бодрость наступление Советской Армии на всех фронтах. Уже было ясно, что худшее далеко позади и немного осталось до того долгожданного дня, когда война перейдёт на территорию противника. В норму стал приходить и быт. У Веры Клавдиевны и Александра Сергеевича улучшилось материальное положение, и это позволило подлечить Александра Сергеевича. Настроение у Веры Клавдиевны было приподнятое. Она много писала, у меня создалось впечатление, что она торопилась возместить потерянное для творчества время — почти два с половиной года.

Хороший тупик посещали уже старые друзья: Н.М. Белинский, который всю войну проработал в Москве, П.В. Сивков, кажется, тоже не покидавший столицы. Я упоминаю о нём потому, что с ним связано может быть и не существенное, но характерное воспоминание. Он не имел постоянной работы, и к тому времени порядком набедствовался и наголодался. У Веры Клавдиевны и Александра Сергеевича были тогда так называемые «литерные» карточки, т. е. несколько лучшее снабжение, и они всегда усиленно зазывали к себе Петра Васильевича, для того, чтобы немного подкормить его. В интимном кругу говорили: «Сегодня будет петрокорм».

В этой связи вспоминается мне колоритная фраза Веры Клавдиевны, вероятно, многим сейчас непонятная. В конце 1945 года мой брат, тогда ещё не демобилизованный, приехал из армии в отпуск, в Москву, и, конечно, на другой же день поспешил в Хороменный тупик. Встреча была самой радостной. Вера Клавдиевна захлопотала, появилось угощение. Время было карточное, и брат решил ограничиться пустым чаем. Вера Клавдиевна заметила это и стала усиленно угощать «капитана энской части»: «Попробуй лимитного сырку с коммерческим маслицем. Бери, бери сахар: сахар с рук».

Ещё раньше, весной 1944 года, сенсацию вызвало внезапное прибытие с фронта поэта Г.Н. Оболдуева. Он был на передовой, и приехал в Москву на несколько дней то ли на побывку, то ли с каким-то поручением. Помню звонок В. Кл.: «Приехал Георгий! Завтра будет у нас!» Назавтра я, конечно, была на Хоромном. Кроме хозяев и Г. Н. были только Н.М. Белинский и я. В гимнастёрке с солдатскими погонами, в кирзовых сапогах, с обветренным лицом, в приподнятом настроении, жизнерадостный, он сыпал остротами, перемежая их рассказами о фронтовой жизни. Потом сел за инструмент и, аккомпанируя себе, стал петь сочинённые им на фронте частушки, пользовавшиеся, по его словам, большим успехом в части, где он служил. Мне запомнились некоторые куплеты:

Немец брал у нас портянки,
Сапоги да пряники.
Нынче собственные танки
Оставляет в панике.

Можно, так сказать,
Выучить, коль неучи,
Фрицу дать под зад
Долго ли умеючи...

А потом пел Векерленовские старинные французские народные песни, и контраст между этими простыми «пасторальными» мелодиями и военными частушками, в которых сквозь задор, удаль и шутку веяло страшной действительностью войны, был почти непереносим.

Сколько я помню, Г. Н. до конца войны ещё раз приезжал с фронта, но эту встречу время изгладило из моей памяти.

Потом пришли незабываемые дни мая 1945 года.

Вскоре вернулись из армии Г.Н. Оболдуев и мой брат. Из давних друзей не вернулся с фронта И.И. Пулькин. Потянулись в Москву писатели — фронтовые корреспонденты, и писатели, находившиеся в эвакуации. Жизнь понемногу начала входить в нормальную колею. Вера Клавдиевна с головой окунулась в работу.

В 1946 году вышел в свет сборник её стихов «По русским дорогам». От предыдущего сборника его отделяло 20 лет. Но и русские дороги вели Веру Клавдиевну в Армению: наряду с собственными стихами там были помещены и переводы армянских поэтов. Переводной работе В. К. отдавала тогда много времени; для неё переводы были тем же творчеством, и переводила она поэтов не только армянских, но и украинских, и грузинских, и венгерского классика Ш. Петёфи и многих других.

Когда я вспоминаю те годы, мне живо представляется Вера Клавдиевна оживлённая, помолодевшая, с выплёскивающейся из всего её существа радостью. В её доме снова собирались друзья, снова звучали стихи и музыка, и казалось, что раз кончилась война, ничто уже не может омрачить жизнь. И тут-то жизнь нанесла ей первый тяжёлый удар: 11 февраля 1949 г. внезапно, не боля, скончался Александр Сергеевич.

В тот день Вера Клавдиевна была нездорова. У неё был легкий грипп, она лежала в постели, и навестить её пришла её давняя приятельница Е.А. Новосильцева. Посидев у постели больной, она пошла на кухню, куда Александр Сергеевич пригласил её пить чай. Затем он зашёл в комнату, взял с полки томик Маяковского, чтобы прочесть гостье какое-то стихотворение, уселся на сундук, раскрыл книгу — и откинулся к стене... «Скорая помощь» могла лишь констатировать факт смерти, по-видимому, мгновенной.

Семейная жизнь Веры Клавдиевны и Александра Сергеевича продолжалась более тридцати лет, и к тому времени между ними установились отношения ровной, спокойной, тёплой, глубокой привязанности.

Смерть Александра Сергеевича нанесла Вере Клавдиевне глубокую рану. Первое время её отчаянию, казалось, не было предела. Её друзья старались не оставлять её одну. Кто мог, забегал днём; я и Н.М. Белинский приходили к ней каждый день прямо с работы и уходили утром — она не могла оставаться одна в опустевшей квартире. Через несколько месяцев после смерти Александра Сергеевича она писала мне в Ирпень, где я проводила отпуск: «Я вся разбита, работаю плохо, хотя в двух Комсомольских правдах были переводы... Езжу часто на кладбище, памятник поставили». (Письмо от 11 июня 1949 г.).

Мало-помалу Вера Клавдиевна начала приходить в себя, рана постепенно затягивалась, надолго осталась боль, но сама Вера Клавдиевна вновь вернулась к жизни и творчеству. Она была обязана этим и своему тогда ещё не иссякшему потенциалу жизненной энергии, и, в не меньшей мере, Науму Михайловичу.

8. Н. М. Белинский

Мне редко приходилось встречать примеры такой преданной и самоотверженной дружбы, какую проявлял к Вере Клавдиевне Наум Михайлович Белинский — с начала их знакомства в 1921 г. и до смерти обоих в 1972-м.

Ни Вера Клавдиевна, ни Наум Михайлович не рассказывали мне сколько-нибудь подробно о том, как состоялось их знакомство. Впервые они встретились, кажется, на Никитинских субботниках. Тогда же, как будто, выяснилось, что Наум Михайлович работает вместе с Александром Сергеевичем в Главснабпродарме, и они не только знакомы, но и поддерживают приятельские отношения. Я не знаю, чем Наум Михайлович занимался в Главснабпродарме. Впоследствии, в течение более сорока лет, он работал в системе мясо-молочной промышленности, сначала финансистом, а затем начальником или заместителем начальника финансовых отделов крупных учреждений — главных управлений, наркоматов и министерств. Судя по его успешному продвижению по служебной лестнице, он был работником незаурядных знаний и способностей. Но другая, может быть главная, половина его жизни принадлежала литературе, в частности поэзии. Её он любил самозабвенно и знал, как далеко не всякий специалист. Его суждения о литературе были всегда глубоко продуманы, кратки и отточены.

Вера Клавдиевна любила подтрунивать над несоответствием его поэтических склонностей столь прозаическим служебным занятиям. Он отвечал своим спокойным, немного глухим голосом: «Кормить страну мясом не менее важно, чем писать стихи».

Навещать Александра Сергеевича и Веру Клавдиевну он начал вскоре же после знакомства, и царившая в их доме атмосфера литературных интересов была ему как нельзя более по душе. С тех пор он стал постоянным посетителем «сред» на Пятницкой, больших «приёмов» в Хоромном тупике, встреч и там и здесь в более узком кругу личных друзей Александра Сергеевича и Веры Клавдиевны.

Я как сейчас вижу его: высокий, стройный, почти аскетически худой, всегда очень тщательно, даже элегантно одетый, изысканно, по-старомодному вежливый, а в большом обществе даже немножко чопорный. Когда было много народу, он был обычно молчалив — больше слушал, чем говорил, но в его редких репликах сквозил критический и пронизательный ум, обширные знания и тонкий литературный вкус. Он любил поэзию Веры Клавдиевны, но всегда судил её стихи беспристрастно и скорее более сурово, чем чьи-либо другие. Вера Клавдиевна очень считалась с его оценками, и после его замечаний нередко вносила в свои ещё не опубликованные стихи исправления.

В начале 30-х годов в Московских литературных кругах пользовались большим успехом стихи В. Ходасевича. Их часто читали и у Веры Клавдиевны. Обычно никогда не принимавший непосредственного участия в таких чтениях, Наум Михайлович однажды (это было, помнится, в 1934 году) прочитал никому ещё не известное стихотворение Ходасевича, с ко-

торым сам Наум Михайлович только на днях познакомился. Стихотворение было пронизано лирикой человека, потерявшего родину, щемлящим чувством ностальгии, и произвело на слушателей большое впечатление. Наум Михайлович в тот день прочитал его дважды. Когда-то я помнила его наизусть; теперь, по прошествии четырёх с лишним десятков лет, в моей памяти сохранились только отдельные отрывки, иногда неполные строки. Оно начиналось так:

Я низко сгибаюсь под ношею вечной
Ночей одиноких и бесчеловечных,
Бессонных ночей, когда нету вокруг
Тебя никого, когда надобно вдруг
Сказать хоть кому-то, что всё притерпелось,
Прошла твоя юность, пришла твоя зрелость,
В [каких-то] висках заблестев сединой.
То было иною твоею весной,
Весной [. . .] [. . .] и кувшинок,
Дорожек, под велосипедною шиной,
[. . .] [. . .] сосны.
Мои подмосковные детские сны!

Потом были какие-то пронзительные строки «о девочке рыжей, о дымных бульварах в далёком Париже» и ещё что-то хватающее за душу.

На очередном «приёме», на котором я не была, Наума Михайловича заставили ещё раз прочесть это стихотворение, и Вера Клавдиевна, со свойственной ей склонностью к некоторым преувеличениям, рассказывала мне потом, как Павел Григорьевич Антокольский, уронив голову на руки (это показывалось жестом), «рыдал».

Прошло довольно много времени. Наум Михайлович провожал куда-то Веру Клавдиевну, и она, по её рассказу, стала стыдить его, что он, такой тонкий знаток и ценитель поэзии, погряз в своих финансах, в то время, как другие пишут прекрасные стихи, и в качестве иллюстрации начала читать стихотворение Ходасевича «Я низко сгибаюсь под ношею вечной...». Наум Михайлович остановился и стал неудержимо смеяться: «Вера Клавдиевна, да ведь это же мои стихи». Оказалось, что он задумал и написал цикл стихов «в стиле» разных современных русских поэтов, и на стихотворении «под Ходасевича» решил проверить реакцию на них. Несмотря на полный успех эксперимента, он никому, насколько я знаю, даже и Вере Клавдиевне, других стихов этого цикла не читал, как не читал и своих стихов настоящих, написанных для себя, а не мистифицирующих.

Я уже писала о некоторой противоречивости характера Веры Клавдиевны. Эта противоречивость проявлялась между прочим и в том, что при всей внутренней самостоятельности, энергии и даже жизненной цепкости, она всегда нуждалась в опоре. После смерти Александра Сергеевича такой опорой стал для неё Наум Михайлович. С тех пор их жизни были так тесно связаны, что говоря о Вере Клавдиевне, нельзя будет не говорить и о нём.

9. Вечерний день

В 1949 году Вере Клавдиевне исполнилось 55 лет. Это, конечно, было ещё далеко от старости, но и молодостью тоже не назовёшь. Но именно последующие полтора десятилетия были у Веры Клавдиевны самыми насыщенными — насыщенными творчески, общественной деятельностью, обилием впечатлений и литературным успехом.

Придя в себя после смерти Александра Сергеевича, она, быть может как никогда раньше, проявила свою жизненную энергию: много работала и над переводами и над собственными стихами, много печаталась, часто читала стихи на читательских конференциях, юбилейных вечерах, выступала на всякого рода собраниях и совещаниях, занималась с по-

этической молодёжью, много ездила — в Армению, в Коктебель, в Грузию, дважды за границу, побывав и в Греции, и в Тунисе и Ливии, и в Италии, и во Франции, и в Чехословакии.

В эти годы Вера Клавдиевна много печаталась — в журналах и газетах в Москве и в Армении. Тогда вышли или были подготовлены к печати сборники её стихов «Зимняя звезда», «Вечерний день», «Моя Армения», несколько позже — в 1967 году — «Исповедь». Её собственные стихи переводили в Армении. Но именно об этом времени я мало что могу сказать. Были, конечно, общие интересы — без них никакая дружба невозможна, — но работа наша протекала в совершенно разных сферах, и в этих условиях личная близость была связана со множеством мелочей, которые ни для кого кроме нас не представляли интереса, и проявлялась главным образом в понимании друг друга с полуслова; этого не передашь на бумаге. От того времени у меня сохранилось много писем Веры Клавдиевны, но они носили несколько иной характер, чем в довоенные годы. Раньше это были письма из Москвы, в которой кипела культурная жизнь, в далёкую Среднюю Азию. В 50—60 годы я получала от Веры Клавдиевны главным образом письма, посланные в Москву из Коктебеля, где она проводила почти ежегодно один-два месяца. Из Армении она не писала, так как обычно ездила туда ненадолго, и за обилием встреч, деловых и личных, у неё не хватало времени на письма. Возвращаясь оттуда, она часами буквально выплёскивала из себя свои впечатления, но их во много раз лучше передают её стихи, чем это могла бы сделать я.

Письма из Коктебеля полны, главным образом, впечатлениями от природы, красок, моря. Так, по приезду в 1952 г. в Коктебель она писала: «...первый час был блаженной встречи и упоительного запаха дроков и даже роз... Обожаю ходить в деревню». (Письмо от 6 июля).

Горечь недавней потери её ещё не оставляла: «Частенько тоска, вижу Сашу во сне и свой знаменитый сон об оставленной где-то квартирке»¹. (Письмо от 22 июля 1952 г.). И всё же способность наслаждаться природой, морем её не оставляла, хотя она и пожаловалась тогда на старость, в первый, а до середины 60-х годов в последний раз. Но в том же письме были и такие строки: «Купаюсь в зелёном море, а ночью в фосфоресцирующем, когда руки в воде — большие лунные, а от живота сыпятся звёзды».

Хотя она и сетовала иногда на то, что Коктебель уже «не тот», и «толпы народа» и «вся степь в “Блинных”, “Коктейлях”, “Бульонных” и прочих заведениях» (июль 1952 г.), любовь к Коктебелю не проходила: «Я блаженствую в нашем несравненном, то жарком, то ярком, то золотисто-дымчатом Коктебеле. Хрустит гравий, блестит упругое тёплое море, лают собаки на деревне» (24 авг. 1954 г.). «Боже, как здесь хорошо! Мне уже скоро уезжать, а я не нагляжусь на холмы, не наброжусь в степи...» (26 авг. 1954 г.).

И то же самое в 1955 году: «Я приехала после дождя... Утром было абсолютное блаженство. Сбежать с лесенки... и золотистый мыс около Мёртвой бухты и изумрудное (сейчас) море... Всё равно — лучше Коктебеля нет ничего, — эта бухта, эти холмы, эта помесь деревни с довольно комфортабельным теперь домом. Эта близость моря, лёгкость воздуха». (Июль 1955 г.).

И так в течение многих лет.

«Вот я в Коктебеле, нет! его не испортишь, как ни стараются...» (Июль 1960 г.).

«Нет, я не “переездила” в Коктебель. Лучше его всё равно нет мне места для отдыха... Бухта и краски гор и холмов — неопишимо прекрасны!» (8 авг. 1964 г.).

В том же году она писала из Коктебеля: «Иногда говорю, что больше сюда не приеду, а иногда чувствую, что как бы опять не приехать на будущий год!» (29 июля 1964 г.).

На будущий год Вера Клавдиевна в Коктебель всё-таки приехала, но уже в последний раз.

¹ Долгое время после переезда в Хоромный тупик Вере Клавдиевне снилось, что они потеряли квартиру, она внезапно куда-то исчезла.

Чем ещё Веру Клавдиевну привлекал Коктебель, так это плаванием. Плавала она великолепно — уверенно и смело. В Коктебеле она завоевала славу лучшего среди женщин пловца. Заплывала всегда очень далеко, не считаясь с линией заградительных буйков. В 1955 г., когда ей было уже за 60, она писала: «Плаваю за флажок, лежу пробкой на воде со скрещёнными на груди руками, плаваю кролем — вниз, мордой в воду... Очень бойкая старушка». (Июль 1955 г.). И в письме, написанном через десять лет, в последний приезд в Коктебель, — снова: «...жара, тёплое море и заплыв за буйки» (28 июля 1965 г.). Когда, по её возвращении в Москву, я спросила, как ей плавалось, Вера Клавдиевна ответила: «Теперь только и плавать!» К сожалению, оказалось не так.

Судя по письмам, в Коктебеле Вера Клавдиевна часто бывала у Марии Степановны Волошиной. В 1952 году в мастерской М. Волошина она работала над поэмой о Радищеве. Из числа отдыхающих она больше всего общалась с В.А. Любимовой, дружба с которой у неё началась в том же Коктебеле ещё в довоенные годы, М.И. Алигер, Е.Я. Тараховской, тогда уже терявшей зрение, супружеской четой Чуковских — Николаем Корнеевичем и Мариной Николаевной, Я.А. Хелемским, В.Ф. Асмусом, С.В. Шервинским, отдыхающими в Доме творчества армянскими поэтами. Многие из них входили и в московский круг друзей Веры Клавдиевны.

В отличие от 30-х и 40-х годов, в последующие годы я знала далеко не всех её друзей. Я не встречалась у неё почти ни с кем из армянских поэтов. Припоминаю лишь одну встречу с ними, на которой случайно была и я. Тамадой был Мартирос Сергеевич Сарьян, провозглашавший за каждого из присутствовавших несколько по-восточному цветистые тосты. Почти никогда я не встречалась ни с её московскими друзьями и товарищами, связанными с ней работой, например, Л.В. Гинзбургом и другими, ни с её учениками по Литературному институту.

Чаще мне приходилось встречаться с теми из её близких друзей, которые собирались у неё вечерами в праздничные дни, в частности на её именинах. Кроме давних интимных друзей, таких как Николай Каллиникович Гудзий, Евгения Матвеевна Глубоковская, Клара Арсенева, мой брат Александр Андреевич и другие, к нему принадлежали, в частности, Валентина Александровна Любимова с мужем Владимиром Александровичем Маркусом, Александр Иосифович Дейч с женой Евгенией Кузьминичной, Николай Корнеевич и Марина Николаевна Чуковские, Мария Сергеевна Петровых, Лев Адольфович Озеров, Лев Минаевич Пеньковский. Обычно в ещё более узком кругу собирались под Новый год, или на масленицу есть блины.

Вообще встречи у Веры Клавдиевны не были уже такими многолюдными, как некогда. Их очень оживлял Александр Иосифович Дейч, всегда жизнерадостный и весёлый. Я вспоминаю его полные юмора рассказы о поездках то на Украину, то на гейневские торжества в ГДР, то во Францию, о встрече с другом его молодости Марком Шагалом. Интересны были и воспоминания Николая Корнеевича о литературной жизни Ленинграда 20-х годов.

Внешне жизнь Веры Клавдиевны в те годы — с начала 50-х годов почти до середины 60-х — была ярким солнечным днём. Но это был день, который уже клонился к вечеру.

Началось с утрат. В 1960-м году скончался Борис Леонидович Пастернак. Я уже говорила, что Вера Клавдиевна высоко ценила поэтическое дарование Цветаевой и любила её, но её трагическую смерть заслонила война — трагедия всей страны. Как-то, просидев чуть ли не целый день с Наумом Михайловичем за чтением стихов Мандельштама, она сказала мне: «Такого поэта больше нет». Но лично она его не знала, вернее, до последней почти минуты их мимолётного знакомства не знала, что знакома с ним. Не помню уж, в каком году, у Веры Клавдиевны собрались гости; кто-то из её знакомых пришёл не один. Предполагая, по-видимому, что Вера Клавдиевна знает пришедшего, этот знакомый не представил его. Только во время чаепития, когда тот же знакомый попросил «Осип Эмильевич, почи-

тайте стихи», Вера Клавдиевна догадалась, кто был её гостем. Мандельштам стихов читать не стал и вскоре ушёл. А Пастернака Вера Клавдиевна знала долгие годы, не менее 35 лет, и нежно любила его и как поэта, и как человека. Стихи Пастернака она часто читала нам — захлёб, наизусть, иногда целыми циклами. Его смерть была для неё тяжёлым ударом.

Я вместе с Верой Клавдиевной была на похоронах Пастернака. После прощания с покойным мы долго, до выноса, сидели возле дома. Оттуда всё время звучала музыка — сначала трио Чайковского «Памяти великого артиста» — произведение, которое, как писал в автобиографии Пастернак, впервые потрясло его в раннем детстве. Затем Святослав Рихтер почти непрерывно играл Бетховена — отдельные части сонат. Потом вместе с другими мы прошли к месту его последнего упокоения — под тремя старыми соснами на Переделкинском кладбище.

Вера Клавдиевна отозвалась на смерть Пастернака стихотворением, опубликованным семь лет спустя в сборнике «Исповедь». В подаренном мне вскоре после похорон первом варианте имеются некоторые разночтения с печатным текстом. Мне кажется, что первоначальный текст был сильнее, особенно последние строки:

Но и как встарь в Гефсиманском саду
Бог не отвёл от сына беду.

При всей внешней бодрости, энергии, огромной работоспособности и жизнерадостности Веры Клавдиевны, с начала 60-х годов здоровье её начало понемногу сдавать, но сама она не сдавалась. В 1961 году Вера Клавдиевна, оступившись, сломала ногу, но письма её по-прежнему были бодрыми и весёлыми. В конце мая она писала мне из Москвы в Коктебель, где я тогда отдыхала: «Бегаю с переломанными ногами в клинику... перевожу, выступала на армянском Аюпяне, а с 13-го [июня] вечера армянские. Быть может, поедем в Ленинград и Ярославль. Платье роскошное сшито... Морда девяностолетняя, фигура двадцатилетняя... Душа лет на 35. Купаться всё равно мечтаю. А ноги опять там [т. е. в Коктебеле, куда Вера Клавдиевна собиралась поехать в июле. **Е. Н.**] подверну обязательно». Это печальное пророчество, не в тот год, правда, но сбылось.

Началось с бессонницы. Сначала она довольно легко преодолевала её — в Москве небольшими дозами снотворного, в Коктебеле — свежим морским воздухом. Со временем бессонница усиливалась. Некогда ей доставляло наслаждение вечером и даже ночью, лёжа в постели, «крутить в уме» строки рождающихся стихов, после чего она крепко засыпала; теперь «крутить строки» становилось мучением, потому что они крутились неотвязно, не давая заснуть. Бессонница усиливалась, а с ней расшатывались нервы, а это в свою очередь ещё больше расстраивало сон.

На нервы действовало и другое. После смерти Александра Сергеевича заботы о её материальных делах взял на себя Наум Михайлович. Но нужен был ещё человек, который жил бы с ней, вёл хозяйство, делал покупки, готовил. В то время Вера Клавдиевна вела настолько деятельную жизнь, что на всё это у неё не было времени. В качестве полу-компаньонки, полу-домашней работницы Вера Клавдиевна пригласила Татьяну Михайловну С-ву, почти что землячку (она была из Пензы), портниху, некогда жившую на Пятницкой улице в том же доме, что и Вера Клавдиевна, и обшивавшую её и всех её друзей. И тут Вера Клавдиевна совершила крупную ошибку: она прописала Татьяну Михайловну на постоянное жительство, тем самым лишив себя возможности отказаться от её услуг. Прежде приветливая и приятная, Татьяна Михайловна в близком общении оказалась для Веры Клавдиевны тяжким крестом. С годами совместная жизнь с Татьяной Михайловной становилась всё более и более невыносимой. В 1964 г. она писала мне из Коктебеля: «Я иногда в комическом виде рисую свою жизнь и вы все не понимаете, что **у меня нет дома** в Москве. Это дом Татьяны, полный голубями, звонками соседок, сплетнями, проклятьями... ненавистью

ко мне, к “вашей писанине...” Так я и живу, отмалчиваясь, ласково умоляя её беречь себя, не сердиться. Ничего не выходит». (Письмо от 29 июля). Ничего не выходило и у Наума Михайловича, пытавшегося вмешаться и хоть немного усовестить Татьяну Михайловну. Так всё и наслаивалось — бессонница, Татьяна Михайловна, а кроме того развившаяся гипотония, прогрессирующее ухудшение зрения... Впервые, в том же письме, я услышала от неё о «потере чувства радости жизни. Ну, пропало и всё...» И дальше, в письме от 8 августа: «...а потеряла я радость от старости, глаз и пониженного давления... Клара [Арсенева] пишет, опять у неё депрессия. У меня не депрессия, а просто потеря счастливого мироощущения».

10. Последняя глава

С 1965 года всё покатило вниз. Это был год последней поездки Веры Клавдиевны в Коктебель; в этом году она в последний раз отметила свои именины в том кругу, в каком обычно праздновала их в те времена. Эта последняя радостная встреча была под конец омрачена сердечным приступом, случившимся у Александра Иосифовича Дейч. К счастью, всё обошлось благополучно; на следующий день он был почти здоров и вскоре уехал куда-то на юг. Обычную его жизнерадостность этот эпизод, по-видимому, не поколебал: Вера Клавдиевна показывала нам полученную от него открытку, на которой адрес был написан так: Москва, Хоромный тупик, 2, квартира 42, Дейч не умер там едва.

Но менее чем через полтора месяца произошло неисправимое. 4-го ноября внезапно скончался Николай Корнеевич Чуковский, и для Веры Клавдиевны эта смерть, как мне кажется, оказалась переломным моментом — в ней была какая-то бессмысленная жестокость, с которой было трудно примириться. Здоровый, ещё не старый, всегда казавшийся моложе своих лет, человек, полный творческих сил, заснул, чтобы не проснуться.

С того времени здоровье Веры Клавдиевны резко пошло на ухудшение. Она продолжала писать, даже выступать, но было видно, что жизненная энергия в ней иссякает, что процесс внутреннего старения всё больше набирает скорость. Теперь бы она уже не сказала, что у неё «душа лет на 35» или даже на сорок. Не помню, ездила ли она после 1965 года в Армению. Кажется, нет. Летние месяцы она проводила теперь только под Москвой — почти всегда в Переделкино. А друзья тем временем уходили. В мае 1968 года скончалась В.А. Любимова. В то лето Вера Клавдиевна отдыхала в Малеевке, откуда я получила от неё короткую открытку — очень грустную: «...писать очень плохо пишу. Хожу только с провожатым. Когда сплю, когда совсем нет. Как буду в Москве, не знаю. “Чёрной жабы” [так Вера Клавдиевна называла возникающее в груди чисто физическое ощущение тоски] — меньше, но физических недугов полно». (20 июля).

Слова о Москве связаны с тем, что Татьяна Михайловна, полностью впавшая тогда в старческий маразм, уехала к родным в Пензу. Морально этот отъезд был огромным облегчением, но он ставил перед Верой Клавдиевной ряд бытовых проблем. Она была уже не в состоянии вести хозяйство, тем более совмещая это со своей работой. Кое-как эта проблема разрешилась лишь спустя довольно продолжительное время, когда удалось найти женщину — человека довольно культурного, которая взяла на себя труд днём обслуживать Веру Клавдиевну и ухаживать за ней. К тому времени требовался уже и уход. До этого всё почти бремя забот о Вере Клавдиевне пало на плечи Наума Михайловича. После 1965 года он бывал у неё каждодневно, делал все необходимые покупки, сопровождал к врачу, в Союз писателей, когда это было нужно, помогал ей в её довольно обширной корреспонденции и был первым, кто являлся на сигналы бедствий. А их было немало, и с каждым годом они множились. Бессонница усиливалась, и чтобы одолеть её, требовалось всё растущее количество снотворных, от которых тяжелела голова, терялось равновесие.

Ночью, по утрам, вставая с постели, Вера Клавдиевна падала, иногда отделяясь лёгкими ушибами, но порой расшибаясь очень сильно. И тогда единственный, кто мог помочь,

был Наум Михайлович. Она звонила ему, и в какое бы время суток это ни было, он приходил незамедлительно.

Я не помню точно, когда это случилось — должно быть, в начале 1970-го года — она упала и не могла подняться. Кое-как, чуть ли не ползком добравшись до телефона, она позвонила Науму Михайловичу. Придя, он тотчас же вызвал «скорую». Веру Клавдиевну отвезли в больницу Склифосовского. Там констатировали сложный перелом руки, и её надолго уложили на больничную койку. Наум Михайлович навещал её ежедневно, реже — я; иногда мы ходили в больницу вдвоём. И тогда я впервые увидела, как он физически сдал. Мы в течение лет, даже десятилетий, виделись так часто, что мне не были видны медленно накапливавшиеся изменения. И как-то, возвращаясь с ним от Веры Клавдиевны и спускаясь по ступенькам больницы, я заметила, что Наума Михайловича пошатывает, и тогда только увидела, как он осунулся и постарел, и мне вспомнились последние строки посвящённого ему Верой Клавдиевной стихотворения «Зеркало»:

День за днём набираются годы,
Незаметен лишь миг перехода.
Всё как будто различия нет,
А глядишь — ты морщинист и сед.

А ведь это было написано восемь лет тому назад, когда жизнь, казалось, ещё была в цвету.

Сломанная рука срослась, Вера Клавдиевна вернулась домой. И тут вскоре обнаружилось нечто, поставившее всех в тупик: Вера Клавдиевна внезапно разучилась ходить. Когда ей нужно было пройти хоть несколько шагов, она плотно сжимала ноги и, не отрывая их от пола, поворачивала то влево, то вправо, сначала носки, а затем пятки. Казалось, что это связано с каким-то психическим сдвигом; врачи недоумённо пожимали плечами. Наум Михайлович пытался как-то помочь, внушить ей, что нужно сделать над собой какое-то усилие. Всё было тщетно. Разгадка пришла через два года, когда уже ничего нельзя было поправить.

С этой поры были почти забыты оживлённые, более или менее многолюдные приёмы гостей даже в праздничные дни. Её часто навещали самые близкие друзья, и как в былые времена, Вера Клавдиевна, сидя в кресле, читала стихи — свои и чужие. Помню, с каким восторгом она прочла нам только что напечатанные в «Новом мире» стихи Первомайского, не помню, в чьём переводе. Наум Михайлович приходил дважды в день: утром и после обеда — как на службу. И если в последние годы своей жизни Вера Клавдиевна продолжала свою литературную работу, то этим она обязана в первую очередь Науму Михайловичу. Дело не только в том, что он снял с неё значительную часть житейских забот. Главным было другое: Наум Михайлович считал — и на мой взгляд совершенно правильно, — что без творческой работы Вера Клавдиевна погибнет — погибнет и духовно, и физически, что она должна работать, как бы это ни было ей трудно. Он в буквальном смысле заставлял её продолжать работу, подбадривал её и даже подхлёстывал. И помогал. Тут как нельзя более ценными для Веры Клавдиевны оказались критические способности Наума Михайловича и его тонкий литературный вкус.

А тем временем силы её всё падали. В Переделкине, где Вера Клавдиевна проводила обычно два летних месяца, она ещё до перелома руки не выходила за пределы усадьбы Дома творчества. В 1971 году она, хоть и с чьей-нибудь помощью, доходила до ближайшей скамьи в саду. В 1970 и 1971 годах в Переделкине была и Клара Арсенева, и Вера Клавдиевна проводила много времени с ней. Не реже двух раз в неделю приезжал Наум Михайлович. До 1969 года включительно её ежедневно, хотя бы ненадолго, навещал Корней Иванович Чуковский, живший на своей даче напротив Дома творчества. С 1968 года наша семья

каждое лето проводила в посёлке Мичуринец, минутах в 20—30-ти ходьбы от Дома творчества, и начиная с 1969 года, мы старались возможно чаще навещать Веру Клавдиевну.

Наступил 1972 года. Нелёгкая жизнь Веры Клавдиевны шла по-прежнему. Только круг друзей всё уменьшался. В 1971 году скончался Л.М. Пеньковский. В начале 1972 года тяжело заболела Клара Арсенева.

В последних числах апреля, навестив Клару, я пошла к Вере Клавдиевне. Вслед за мной пришёл Наум Михайлович. Часов в 10 вечера мы вместе ушли — я пошла к станции метро, он — к себе домой в Лялин переулок. На следующее утро Наум Михайлович к Вере Клавдиевне не пришёл — накануне его увезли в больницу.

Через несколько дней мой муж Давид Миронович, уезжавший тогда на Украину, навещал перед отъездом Наума Михайловича и узнал от него, что произошло. Когда Наум Михайлович прошёл сотню-другую от Хоромного тупика, ему стало дурно; он почувствовал, что до дома ему не дойти. И всё же, собрав все силы, всю свою волю, он не только дошёл до своего дома, но даже вскарабкался на 4-й этаж к своей квартире. Там он сразу свалился. «Скорая помощь» поставила диагноз — инфаркт. В больнице Давид Миронович нашёл Наума Михайловича в неплохом состоянии; он был спокоен, лежал на спине с томиком Блока в руках. Уходя, Давид Миронович зашёл в кабинет врача. Медицинский прогноз был оптимистичен. Врачи не были даже уверены в правильности первоначального диагноза и сохранили его из осторожности, чтобы обеспечить больному надлежащий уход. Давид Миронович уехал успокоенный. 8-го мая я послала ему телеграмму: Наум Михайлович скончался.

Фактически в этот день умерла и Вера Клавдиевна, хотя физически она протянула ещё четыре месяца. В июне её привезли в Переделкино вместе с женщиной, ухаживавшей за ней. Целые дни она проводила в своей комнате в состоянии почти полной протрации, лёжа, иногда с книгой, которую читала машинально. Мы навещали её, и тогда с трудом выводили посидеть в кресле на крыльцо. Она говорила с нами и о книгах, и о стихах, расспрашивала о друзьях. В июле скончалась в больнице Клара Арсенева. Мы скрыли это от Веры Клавдиевны, и она продолжала опрашивать о ней. Но о чём бы она ни говорила, в этом не было не то что интереса, а жизни. Как-то она сказала Давиду Мироновичу: «Наума Михайловича я переживу недолго». Давид Миронович ответил ей теми банальностями, которые только и можно сказать в таких случаях, — что у неё остаётся её творчество, что она прежде всего поэт, и это должно её поддерживать. Вера Клавдиевна вяло махнула рукой и усталым голосом сказала: «Какой уж я теперь поэт!».

Днём 18-го августа мы пришли в Переделкино, и нам сообщили, что Вера Клавдиевна упала, и «скорая помощь» увезла её в больницу на Минском шоссе. Мы тотчас выехали в Москву, сообщили о случившемся двоюродному брату Веры Клавдиевны Алексею Евгеньевичу и отправились в больницу. Вера Клавдиевна лежала в отдельной палате, встретила нас ласково и спокойно. Врач сообщил, что рентген показал перелом шейки бедра; он был озабочен и, учитывая возраст Веры Клавдиевны, считал положение критическим. Не помню, в тот ли день, или в следующий приезд мы встретили в больнице Алексея Евгеньевича — старого опытного хирурга. Вместе с больничным врачом он изучил рентгеновские снимки, и они обнаружили не один, а два перелома шейки бедра — второй был очень давним. В этом и была причина неспособности Веры Клавдиевны передвигаться. Когда и как это случилось, никто сказать не может. Но это значит, что почти два года Вера Клавдиевна жила с переломом шейки бедра, испытывая мучительную боль. Я давно знала, что Вера Клавдиевна с исключительным терпением и мужеством переносила физическую боль, но такое трудно было себе представить.

Мы несколько раз навещали Веру Клавдиевну. Состояние её всё время ухудшалось. 10 сентября она скончалась. Непосредственной причиной смерти был инсульт.

Потом было всё как положено: гражданская панихида в ЦДЛ, речи, венки, кремация в Донском монастыре. Только погребение праха состоялось не скоро — долгое время этого сделать не могли. На небольшом семейном участке на Даниловском кладбище было уже столько могил, что не оставалось даже места для небольшого памятника. На Ваганьковском кладбище — не удалось; далеко — не хотелось. Только благодаря энергии Евгении Кузьминичны Дейч под могилу отвели место на Переделкинском кладбище, где 14 лет тому назад был похоронен Б.Л. Пастернак, а через 11 лет после того — Корней Иванович Чуковский, проявлявший так много внимания к Вере Клавдиевне в последние годы своей жизни.

7-го июня 1974-го года состоялось погребение. Евгения Кузьминична и Давид Миронович с утра уже были на кладбище, чтобы всё подготовить. А я шла туда из Мичуринца...

Мне часто случалось бывать спутницей Веры Клавдиевны. Мы вместе были в Архангельском, Абрамцеве, Муранове, в живописных местах Подмосковья, ходили вдвоём в Янычары и к Лягушиной бухте в Коктебеле, ездили в Тулу и Ясную Поляну. И вот сейчас мы снова идём с ней вдвоём. Нет, это мне только кажется. Я иду одна и несу небольшую белую урну и в ней горсть пепла. Это всё, что осталось — не от поэта, после него остаются книги — а от живого человека, от Веры Клавдиевны, с которой за сорок с лишним лет «Господи, боже мой, сколько всего мы на веку своём испытали!». Ясный июньский день, цветут вишни, щебечут птицы, а я иду туда, где засыпят землёй эту урну и через год поставят памятник из туфа того же цвета, что и земля Армении, которую она так любила.

И в голове у меня всплывают строки её стихов:

Послушай, как это будет,
Когда ничего не будет?
Ни телефон не разбудит,
Ни солнце встать не принудит...
.
Не станет друга и брата,
Ни музыки, ни заката,
Ни снежных глав Арарата...

ЛЕВ ОЗЕРОВ

ДОМ В ХОРОМНОМ ТУПИКЕ

Она была человеком восторженным и — это очень важно — не стеснялась своей восторженности. В наше время «души прекрасные порывы» — пушкинское свойство — путают с сентиментальностью. Глубокое заблуждение! Без этой не помнящей себя восторженности, без самозабвенного выхода, нет, вылета одного человека к другому человеку, без упительной открытости не было бы нашей великой поэзии прошлого века.

Юноша с бокалом шампанского влетает в комнату, и пылкая его речь увлекает всех присутствующих. На его устах презренная проза звучит, как стихи. Жест рукой — от груди к облакам.

Я любовался этой восторженностью Веры Клавдиевны Звягинцевой на всём многолетнем пути нашей дружбы. Что-то в этом было от прошлого века. Но выглядело это очень современно, казалось в высшей степени уместным и кстати преподанным уроком нашему юношеству. «Шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой» был ей ведом — душевно, прежде всего душевно. Восторженность переходила то в увлечённость, то в истинную любовь, то в дружескую привязанность. И во всё это верилось.

Что я могу поделать, если сердце
Стучит, как сумасшедшее в груди?!

Юность может и должна позавидовать этому человеку. И постараться быть на него похожим.

* * *

«Я пишу, как дышу», — просто и в то же время глубоко говорит поэт о своей работе. В этом легко усматривается прямая зависимость между дыханием поэта и его вдохновением. Здесь важно не только корневое сочетание слов — дыхание и вдохновение, но и существенная близость, нет, более того — волшебное соотношение жизни и поэзии.

Для Веры Звягинцевой характерна естественность душевного жеста. Её высказывание стремится быть верным переживанию, и слово хочет поспеть за чувством, донести до читателя правду душевного мира:

Я пишу, как дышу,
По-другому писать не умею.
Поделиться спешу
То восторгом, то болью своею.

Говоря о своих восторгах и болях, истинный поэт понимает не только себя одного. Природа лирической поэзии такова, что личное переживание, если оно глубоко и исполнено драматизма, переполняет сердце поэта, но затем, словно спутник, выходит на большую орбиту общественного существования. Так и у Веры Звягинцевой: говоря о судьбе одного человека, она заставляет нас думать о большом мире, о событиях, делах, людях нашего стремительного времени. «Я пишу, как дышу... Но дышу-то я воздухом века». Даже без этого особого напоминания о веке, читая стихотворения Веры Звягинцевой, мы не можем не ощущать связи дыхания времени с вдохновением поэта.

В лирической поэзии позволительно говорить о «сквозном образе», подобно тому как говорят в драматургии о «сквозном действии». У Веры Звягинцевой такого рода «сквозным образом» служит звезда, звёзды, созвездья. Казалось бы, обычный символ, эмблема, чуть

ли не штамп. Но нет в словаре расхожих слов, есть расхожие образы и идеи. Любое слово молодеет, обретает силу и наливается соками, если оно естественно и верно выражает мысль автора, его чувства, ещё более — его жизнь:

Смутным было небо вёсен,
Медленным душевный рост,
И несло мой челн без вёсел
К блеску отражённых звёзд.

Художник говорит о весне своей жизни, о начальной поре своей работы, об отражённости звёздного света своих первых стихов. И далее, поэтически осмысливая всю свою жизнь от «весны» до «зимы», Вера Звягинцева вспоминает, что «лето было бурным, знойным», осень шла с торжеством дней Победы, с тяжким горем — потерей близкого человека, любимых друзей.

Лишь когда — по всем приметам —
Подступают холода,
Разгорелась тёплым светом
Зимняя моя звезда.

О тёплом свете зимней звезды, о радости позднего творчества Вера Звягинцева пишет так убедительно потому, что это её действительное переживание, и для воплощения этого переживания она нашла простые, ёмкие и яркие слова. Таких звёзд, так тепло светящих в зиму человеческой жизни, мы не встречали ни у кого. Это — звёзды Веры Звягинцевой.

В «Памяти друга» мы видим, как дрожит «снежинки белая звезда», в другом стихотворении прямо сказано: «Человеку нужна звезда», потому что «без её далёкого света мне порой не видать ни зги», в третьем — «небо над нами качается деревом звёздным». В четвёртом — мы видели «звёздную над степью россыпь». Звёзды над Арменией сравниваются с озёрами («Мне бы погостить на такой звезде!»). Любя жизнь и мечтая даже после смерти всё же вернуться к ней, художник хочет, подобно мальчику из волшебной сказки, на дороге разбросать светлячки-крупинки — «жар земного бытия», — чтобы по этим светящимся точкам «обратно в эту жизнь прийти!». Что это, как не видоизменённый образ всё тех же звёзд?

Разумеется, образы звёзд, рассыпанные в стихах Веры Звягинцевой, перемежаются со многими другими: они то звучат в полную силу, то уступают место другим звукам, другим краскам. Досадно, если однажды удачно найденный образ иной поэт беспощадно эксплуатирует, повторяя самого себя. Но вполне оправданно, когда «сквозной образ» лирики углубляется со временем и отсвечивает всё новыми и новыми гранями. Это — свидетельство цельности, а не однообразия. Здесь «сквозной образ» не навязчив, он — выражение главного в личности поэта.

Что же ещё означает зимняя звезда Веры Звягинцевой?

Зима человеческой жизни, отзывавшаяся в сердцах многих поэтов скорбью и усталостью, у Веры Звягинцевой звучит как тема вечно творящей и не знающей усталости жизни:

Льётся ровный синий-синий,
Поздний свет на поздний путь.
Поглядеть в глаза России—
Как живой воды глотнуть.

Так тема личной судьбы, выраженная в образе зимней звезды, естественно сливается с темой России, её исторических судеб, её природы, её красоты, со всем тем, что всегда питало творчество наших поэтов.

Вера Клавдиевна Звягинцева родилась в Москве в ноябре 1894 года. Отец её тогда был студентом медицинского факультета. Росла без матери, рано умершей. Отец вскоре снова женился, девочка перешла на попечение мачехи и родственников. С семилетнего возраста она живёт у дяди — земского врача в деревне Кунчерово, потом в городке Кузнецке Саратовской губернии. Там и прошло её детство. Играла с соседскими ребятами — детьми бочаров, кузнецов, плотников. Часто с утра до ночи тряслась в таратайке с дядей, ездившим лечить больных в окрестные сёла и деревни. В двенадцати верстах от Кузнецка, в селе Верхнее Аблязово, в ту пору стояли ещё руины старого дома, где провёл детство (считалось, что и родился) Радищев, а в самом городке жили его потомки. При первом же детском знакомстве с этими местами, овеянными горькой славой «российской земли гражданина», девочку поразила судьба и образ Радищева. Через всю свою жизнь пронесла она любовь и интерес к автору «Путешествия из Петербурга в Москву». Её впечатления и раздумья в дальнейшем воплотились в лирической поэме «Радищев».

Жизнь, быт, уклад, речь, верования, природа, песни срединной России, встречи со ссыльными студентами, круг чтения и образ мыслей передовой русской интеллигенции, среди которой росла, — формировали мировоззрение будущего поэта. Отсюда впоследствии внимание к народным нуждам и глубокий интерес к революции.

Окончив гимназию (в 1912 году), Вера Звягинцева поехала в Москву поступать на педагогические курсы, но, увлечшись театром, попала в драматическую школу.

Молодость Веры Звягинцевой совпала с первыми годами революции. Будущее задумывалось широко и дерзко. Хотелось как можно скорее и с наибольшей пользой для дела приложить руки к творчеству новой жизни и новой культуры. В 1917 году, получив театральное образование, она становится артисткой театра «Комедия», затем «Второго Передвижного» и позже театра Мейерхольда. Увлечённо кричала романтические фразы в пьесе Верхарна «Зори», играла роль швеи в «Мистерии-Буфф» Маяковского. Всё, что касалось чтения, то есть словесной стороны актёрской игры, у неё выходило. Мейерхольд был о ней очень хорошего мнения, но так называемая биомеханика, движение, ей не давалась.

Одновременно с работой в театре Звягинцева посещает литературные кружки и собрания, пишет стихи, выступает с ними, в частности, в кафе «Музыкальная табакерка», где её слушал Брюсов и обещал ей, что она «будет поэтом»; в ту пору такое напутствие метра значило много.

В 1922 году выходит первая книга стихов Веры Звягинцевой «На мосту». Театр она оставляет. В 1926 году Вера Звягинцева вступила в товарищество под названием «Узел». Там были Антокольский, Луговской, Зенкевич, Сельвинский, София Парнок, Пастернак и другие. Вскоре их книжки вышли в одной кассете в оформлении В. Фаворского. Одной из тетрадок этой кассеты был и «Московский ветер» Веры Звягинцевой. Книжку она послала Горькому, который ответил добрым письмом. «Очень благодарю Вас за присланную книжку стихов, — писал он в 1927 году из Сорренто. — Думаю, что я плохой ценитель поэзии, во всяком случае, ценитель весьма субъективный, да и едва ли мнение моё нужно Вам, поэтессе, как чувствуется, вполне сложившейся». Горький перечисляет понравившиеся ему стихи и далее добавляет: «Хороша, значительна строка “Не по любви моей мой разум”¹. Её часто будут цитировать неглупые люди обоего пола».

Между второй и третьей («По русским дорогам») книгами Веры Звягинцевой разрыв в двадцать лет. С оригинальными стихами она выступала в этот период хотя и редко, но писала их непрерывно, как бы осуществляя ранее ею же самой сказанное: «Я знаю, знаю, знаю слово, лишь выговорить не могу». Продолжался поиск своего слова. Быть собой — это, казалось бы, самое естественное, но в то же время и самое трудное для каждого ху-

¹ Строка из стихотворения «России».

дожника. В оригинальном стихе так же, как и в переводном.

С середины 30-х годов Вера Звягинцева начала, как всё, что она делает, с увлечением переводить. На первых порах ей помогли Борис Пастернак и Павел Антокольский. Сначала с армянского. В связи с этим в 1936 году поехала в Армению и навеки влюбилась в неё, «как влюбляются в человека». Язык армянский стала изучать позднее. А сперва поездки по стране, знакомство с укладом жизни, обычаями, историей, культурой. Армения становилась не только предметом переводческих симпатий Веры Звягинцевой. Страна внушила ей большой цикл оригинальных стихов, составивший позднее целую книгу «Моя Армения» (1964). Резкие, интенсивные, броские, багряно-синие и оранжево-сиреневые краски армянской книги оттеняют зелёное и сизо-голубое, раздумчиво-туманное раздолье книги «По русским дорогам» и вообще всех других стихов о родном крае.

В 1958 году выходит книга стихов Веры Звягинцевой «Зимняя звезда», а в 1963 году — «Вечерний день». Всего несколько небольших книг оригинальных стихов и большое количество переводных книг, среди которых — вслед за армянской поэзией — выделяются переводы украинских авторов, лирика европейских поэтов, главы из кабардинского эпоса «Нарты».

Однажды я спросил Веру Звягинцеву о её любимых поэтах. Она ответила мне: «Всю жизнь моей святыней были Пушкин, Некрасов и Блок. Блока я разглядела в юности по цитируемым строчкам в журнальных статьях, когда ещё в Кузнецке читала случайно доходящие до провинции журналы. Люблю его больше всех на свете».

Если приглядеться к поэтике Веры Звягинцевой, то явственно проступит это, с первого взгляда странное, совмещение начал Некрасова с началами Блока. Возможно ли вообще такое совмещение? Умозрительно — нет. Но в творческой личности, переплавившей в своём поэтическом тигле разнородные традиции и культуры, это возможно. Классическую традицию русской поэзии наследует Вера Звягинцева не слепо, не догматически, а с учётом всего добытого нашей поэзией в первые десятилетия XX века. Общение с Мариной Цветаевой, Борисом Пастернаком, Павлом Антокольским, Николаем Асеевым, с деятелями театра, живописи, музыки, горячее участие на протяжении нескольких десятилетий в художественной жизни Москвы определили вкусы и симпатии поэта, выковали его мастерство.

Мастерство Веры Звягинцевой и в живописности образа («синих слив седины», «сирень не Врубеля, не Фета — сирень сиреневого цвета в кувшине жёлтом на столе», «Арагат плывёт, не уплывая»), и в афористичности поэтической речи («в жизни, кроме несчастья, всё — счастье», «старость плохо спит», «вечное детство мечты»), и в тонком сочетании ритма стиха с задушевно-разговорной и в то же время возвышенной интонацией.

Откуда в стихах Веры Звягинцевой этот высокий градус поэтической взволнованности? В её стихах последовательно и убедительно воспевается трудовое, насыщенное радостями и бедами человеческое бытие. Радость жизни. Жизнелюбие художника такого свойства, что оно решительно отрицает и легковесное бодрячество и расхолаживающую меланхолию. Вере Звягинцевой чужды и отплясываемый некоторыми нашими пиитами оптимистический гопак и затягиваемые иными элегические ку-ку:

У меня ж одна досада:
Что не все мои друзья
Слышат сладость винограда
В терпком холоде питья.

В поэзии куда легче быть плакальщиком, чем жизнелюбом. Для того чтобы жить, нужно мужество. Вдвойне нужно мужество для того, чтобы уметь славить жизнь, передать в стихе своё жизнелюбие другим людям.

Только б словом передать,
Сизый бархат вербной ветви,
Волн упругих благодать,
Черноморский лёгкий ветер!
Как обидно умирать,
Как завидно жить на свете, —
Только б словом передать!

Это стремление передать радость своей жизни другим людям, ещё не почувствовавшим её или уже не чувствующим её, отличает лирику Веры Звягинцевой на протяжении четырёх с половиной десятилетий. Причём это стремление славить жизнь идёт по восходящей и особенно характерно для стихов последних лет. Именно на последнем своём перегоне дорога жизни предстаёт во всём своем величии, и вслед за Тютчевым Звягинцева восклицает: «Помедли, помедли, вечерний день, продлись, продлись, очарованье» (эти тютчевские слова из стихотворения «Последняя любовь» взяты в качестве эпиграфа к книге «Вечерний день»). Поэт высоко ценит простые радости жизни: «сбежать по пристани в Касимов», набрать репьев, взглянуть на Арарат, сорвать с ветки яблоко...

«Всю жизнь у жизни мы в долгу», «Не веди огорчениям счёт», «Преодоление отчаянья — вот это всё, что мы умеем...» — такого рода афоризмы, образы, строки щедро рассыпаны в стихах Веры Звягинцевой, как те самые крупинки звёзд, по которым читатель должен прийти к ощущению радости бытия и пониманию его необратимости и высшей ценности. Насыщенная воздухом горных вершин, запахами черёмухи и сирени, красками Оки и Арагаца, соком винограда и берёз, лирика Веры Звягинцевой, по её же предписанию, должна быть для читателя поэтическим путеводителем по радостям жизни. Избыток чувств, в юности находивший выражение в избыточной образности и усложнённой метафоричности, в зрелых стихах Веры Звягинцевой обрёл ясные и ёмкие поэтические формы, точность поэтической мысли, её определённую и объёмность.

Делая современника своим собеседником, поэт открыто ведёт монолог, словно слышит безмолвные запросы читателя, чувствует его и точно и тонко отвечает на его недоумения и раздумья. Это — свойство таланта Веры Звягинцевой. Но в то же время эта способность к человеческим контактам, к доверительному и чистосердечному разговору с людьми навеяна всем опытом жизни и самого поэта и его предшественников. В стихотворении «К портрету матери» дан собирательный образ восьмидесятницы, правдоискательницы, студентки... Слухи о стачках, том Некрасова, весть об Ульянове — фон для портрета...

Синие губы закушены... Окрик жандармов...
Сёстры! Земной вам поклон от сестёр благодарных!

Написанное по личному поводу, стихотворение это выходит за рамки личного воспоминания. В этом стихотворении, так же, как и во всей лирике Веры Звягинцевой, слышится голос совести, которая и становится мерой поступков и высказываний. Поэт принадлежит к той части русской интеллигенции, которая не запятнала себя позором предательства, измены, шовинизма, отступничества. В сторону литературного сектанства, трясина которого засосала многих авторов, Вера Звягинцева и взгляда не обратила:

Я чувствую чужую ложь,
Как в грудь входящий острый нож,
Я подвиг чувствую чужой,
Как взлёт самозабвенный свой.
Всё спорит, всё кипит вокруг, —
Вот что я чувствую, мой друг!
Так мало я могу сама,

Но тороплюсь идти, идти,
Чтоб силу сердца и ума
Умножить хоть в конце пути.

Традиционное правдолюбие русского поэта усилено острым чувством товарищества и понимания чужой души, которая вовсе не потёмки. Лирика Веры Звягинцевой обращена на другого человека, на его радости и беды («Радость ближних лучше, чем своя»). Это не декларативная общительность и не наигранный коллективизм, а проникший во всё существо инстинкт дружелюбия. Эта запись в дневнике — не тост на пиру. Вера Звягинцева не терпит празднословия и пышнословия. Красота открывается ей в правде, между первой и второй устанавливаются такие тесные и тёплые связи, что подчас они сливаются воедино.

Овражек и кустик седой полыни ей отрадней пёстрых цветников. Из всех цветов она предпочитает полюбившийся ещё в детстве курослеп. Ей мила ненарядная природа её родного Пензенского края.

Наверное, нас приучило время
К обличию суровой простоты.
И я ищу и в жизни и в поэме
Прекрасной — не красивой — красоты.

Из лирического признания это становится программой художника. Тут нет желания прибедняться или возводить в культ аскетические вкусы. Нет, Вера Звягинцева считает прекрасными естественность единства дела и слова, правду чувств, прямоту и открытость высказывания. Красота и правда звучат в унисон.

В лирике Веры Звягинцевой, особенно в её армянском цикле, мы найдём и розы, и виноград, и соловьиные сады, и душистую айву, и птиц, пьющих на лету капли ливня. Мы подивимся живописи словом, которой владеет поэт. Но и здесь мы отметим верность художника корневым принципам своего взгляда на мир.

Не миндаль, не печаль — сила гордой души,
И прямые слова и поступки —

вот что больше всего привлекает поэта в современниках. Да и к себе поэт подходит с той же, если не с ещё более строгой, мерой. Исповедальная в своей основе, поэзия Веры Звягинцевой обращена к такому же взыскательному и честному собеседнику, каким является она сама:

Вправду, этот мир мы посетили
В необыкновенные часы,
На пиру великом погостили,
Навидались досыта красы.

Если б там, нигде, меня спросили:
Чем же здесь ты счастлива была?
Я б сказала: я жила в России,
По её дорогам я прошла.

Немудрёная, сердечная, не претендующая на многозначительность концовка эта утверждает силу всё той же «прекрасной — не красивой — красоты». Приведённые слова полны смысла и значения не в силу заданного острословия или намеренной странности, а именно в силу их правдивости, в силу их соответствия жизни, взглядам и опыту написавшего их человека.

Вера Звягинцева говорит с читателем без утайки и без рисовки. Слышится не только что она хочет сказать, но и как она говорит, с какой интонацией произносит слова и строки,

каков её душевный жест. Ощущение такое, что в стихах нет слов, есть образы, только они, и не разрозненные образы, а цельный многообразный образ человека.

По прочтении стихов Веры Звягинцевой прежде всего хочется сказать: какой хороший и добрый человек только что беседовал со мной! Прочитав эти стихи, я не только выслушал признания чистого и честного человека. Для меня прояснилось многое и в моём собственном душевном мире. Значит, автор не просто произносил передо мной более или менее удачные монологи, а постарался сделать меня, своего современника, своим собеседником.

К этим страницам, посвящённым поэзии Веры Звягинцевой, мне бы хотелось добавить строки субъективного характера, разрозненные эпизоды воспоминаний.

Меня связывала многолетняя, ничем не омрачаемая дружба с Верой Клавдиевной, многолетнее, воистину творческое (иначе его не назовёшь), общение с ней. В стране моей памяти Вере Клавдиевне Звягинцевой принадлежит один из самых плодоносящих участков. Мы часто встречались, вели длительные беседы, перезванивались по телефону, переписывались, обменивались стихотворными посланиями, некоторые из этих посланий опубликованы в наших книгах. С порога этих посланий мне будет всего легче войти в горницу памяти.

Я писал, обращаясь к Вере Звягинцевой:

Всех живых племён соплеменница
И ровесница молодых,
Собеседница-современница,
Пусть сегодня ваш голос тих.

Пусть ещё не подхвачена модою
Ваша пристальная строка,
Не погодою, а природою
Направляется ваша рука.

Как мечтается в час бессонницы,
Когда полночью — свет дневной.
Плачет горлица под оконницей —
Эта строчка всегда со мной.

Плачет горлица, — и от горести
И от радости в горле ком.
Это дружба на третьей скорости
И без стука влетает в дом.

Это вся душа переполнена
Гулом — даром самой земли,
Не безмолвие — это молния,
Словно будущее — вдали...

Наше знакомство началось с «Сиротки» — Павла Тычины, написанной в первые годы войны. Для сборника, который я в то время составлял, была нужна эта небольшая поэма, её перевод. Я пригласил Веру Звягинцеву. Она прочитала оригинал, он очень понравился ей, и переводчица быстро взялась за работу, и быстро её сделала. Сделала, радуясь ей, ну просто ликуя. Она читала мне по телефону отдельные строфы, и голос её звенел от радости, хотя содержание поэмы драматично.

Рекам — литься в море, в море.
Солнцу — по небу идти...
А сиротке — горе! горе! —

Ни дороги, ни пути.

Глянет влево — слёзы градом:
Мать обуглена, черна...
Глянет вправо — нет отрады,
Нет у хаты — печь одна...

Вере Звягинцевой удавалось в переводе многое, особенно — народное, игровое, песенное, трогательное, задушевное. Русской речи кудесница, она делала чужое родным, приближала далёкое...

После «Сиротки» я просил Веру Клавдиевну переводить ещё и ещё. Павло Тычина одобрил перевод. Он был доволен и дальнейшими её попытками. Вера Клавдиевна брала для перевода далеко не всё. Лирическое, певучее, задушевное брала. Трескучее, не прошедшее через сердце — отвергала.

В переводах Вера Звягинцева остаётся звонкоголосым, откровенным, озарённым поэтом. Её переложения достоверны для читателя, знающего язык оригинала и убедительны для незнающего. Это она заставила — вслед за Блоком и Брюсовым, — армянских поэтов звучать по-русски естественно и свободно.

Плачет горлица в тишине
Под оконницей у меня,
Я б увидел тебя во сне,
Да бессонница у меня.

Услышав эту строфу из Эмина, Пастернак сказал: «Вот живёшь, живёшь и не знаешь...».

Сперва мы беседовали в Гослитиздате, что тогда помещался в Большом Черкасском переулке. Потом я был приглашён к Вере Клавдиевне домой, в Хоромный тупик, у Красных ворот. Я жил тогда неподалёку — на Садово-Спасской, 20. Квартира, которая в старину принадлежала одной семье, была разделена между несколькими соседями — шесть семей. Настоящая «воронья слободка» по Ильфу и Петрову. Мне хотелось работать, писать, замыслы теснились в моём сердце, но угнетала удушающая атмосфера этой коммунальной квартиры.

Посещения дома Веры Клавдиевны стали для меня отдушиной и отрадой. Я находил в её доме свет и тепло. Не только в комнатах, но и в общении. Главное — в общении. Небольшая двухкомнатная квартира казалась мне исключением из общего правила, была вне быта.

Дом в Хоромном тупике.
По ступенькам, по строке
Поднимаюсь: «это — я».
Ерофеевы мне рады.
Шумы, междометья, взгляды,
Кухня, тёплый дух жилья.
Пианино, книги, шорох —
Гости, гости! — новых ног,
Человек не одинок,
Если время длится в спорах,
В этом щебете мирском.
Дом хозяйки, дом поэта.
Это говорю о ком?
Вера Клавдиевна это
Звягинцева. Боже мой!
Дом в Хоромном. Что осталось?

Я белу, презрев усталость,
В гости, в гости, как домой.

Помнится, я пришёл в ненастный день. Ботинки были мокры. Я взял коврик с порога и понёс его с собой в комнату. Вероятно, это выглядело комично.

— Чарли! — так сразу и назвала меня Вера Клавдиевна, навсегда сохранив за мною это имя горячо любимого мною великого трагического (да-да!) актёра современности Чаплина.

Познакомился я и подружился с Александром Сергеевичем, мужем Веры Клавдиевны. Он служил в промкооперации. Кажется, в рыболовецком отделе. Говорят, был большим специалистом в своей области. Открытое лицо, седое крыло волос косо напозало на лоб. Но об его специальности в наших беседах толковалось мало. Александр Сергеевич был весь в искусстве, в поэзии своей жены, её увлечённость была его увлечённостью. Он ей помогал, просто баловал, просто восхищался ею. Она ещё не успеет уронить книгу — уже он эту книгу подхватывает. Удивительная пара!

Разговоры шли о поэзии, музыке, живописи. Александр Сергеевич играл на фортепьяно. Нередко мы с ним музицировали: я играл на скрипке, он мне аккомпанировал. У нас определился свой репертуар: Глюк, Крейслер, Госсек, Люли, Моцарт, Шуберт. Когда приходил к Ерофеевым талантливый поэт Георгий Николаевич Оболдуев — лёгкий, быстрый, ловкий, остроумный до язвительности — он аккомпанировал мне вперемежку с Александром Сергеевичем. Дом был залит музыкой.

Я не случайно сказал «дом». Дом, а не квартира, тем более жилплощадь, жильё, обиталище, крыша над головой. Дом — это редкость в наше время. Дом, как место, где не только едят и спят, играют и слушают радио, а собирают друзей, куда охотно приходят, чтобы найти общность и избыть своё одиночество.

Я видел несколько таких московских домов. Обитатели их старились и умирали. Домов таких становилось всё меньше и меньше. Дом Ерофеевых был одним из последних. Сюда ежедневно приходил высокий, худой, остролицый, добрый, начитаннейший и скромнейший Наум Михайлович Белинский. Это был самозабвенный поклонник Веры Клавдиевны. Приходил, целовал руку её и тихо усаживался в углу. Редкие, но точные его реплики говорили об его уме и тонкости. Он отлично знал русскую поэзию. Память его хранила сотни имён и тысячи строк. В дальнейшем — уже после смерти Александра Сергеевича — Наум Михайлович стал опорой Веры Клавдиевны, её утешением.

У Ерофеевых бывали Цветаева, Пастернак, Антокольский, Дурыйлин, Белевцева, Петровых, Тарковский, Арсенева, Александр и Евгения Дейчи, Штейнберг, Николай Чуковский с женой, Тараховская, Любин, Шервинский, Кочетков, Первомайский, Эмин, Капутикян. Кого только я не перевидал здесь, в каких только беседах не участвовал. Здесь всё обсуждалось живо, деятельно, по-доброму, без сплетен, задушевно и — главное — обнадёженно.

Легко было войти в дом, имея своеобразный ключик, — слово или фразу по-армянски. Здесь все тайники открывались любовью к Армении. Достаточно было в передней произнести «крунк» или «цицернак» или «барев дзес», как хозяйка (а вслед за нею — хозяин) расцветали. Предлагалась рюмка «Воскеваза» или армянского коньяка. Предлагались армянские стихи — в любом количестве, альбомы памятных мест Армении. На стене висел портрет хозяйки — работа Мартироса Сарьяна. Звонили из Еревана. Вваливались в дом транзитные пассажиры с Курского, любители Армении, её поэзии, её вин.

Ерофеевы и их гости обожали смешное. Мне доставляло истинное удовольствие рассказывать им смешное и показывать разного рода сценки из придуманного мною театра одного актёра ДДТ (домашний драматический театр). Я доказывал А. Суркова, произносящего речь перед профессорами МГУ, К. Симонова, беседующего с писателем, передавшим ему свою рукопись, Сандро Эули, выступающего перед женским активом города Кзыл-Орда 8 марта, А. Прокофьева, принимающего гостей, М. Колосова, дающего другу сюжет романа

и отбирающего этот сюжет обратно. Вера Клавдиевна знала эти номера и требовала их повтор. Всякий раз я рассказывал по-новому. Она смеялась, придерживая очки своей худой изящной рукой. Дух веселья и упоения жизнью так противостоял духу грызни и людоедства в моей коммунальной квартире, что я искал любые предлоги для того, чтобы прийти сюда, в Хоромный тупик. Я приходил один или с женой Маргаритой, которую Звягинцева называла по-достоевски — Аглая (прозвища были в её обычае, мастерица была давать «клички»).

У Веры Клавдиевны и Александра Сергеевича был двуединый талант открытой дружбы, не таящейся, не таящей, ликующей, заражительной. Вера Клавдиевна, натура глубоко-артистическая, быстро воспламенялась, воспламеняла окружающих и старалась поддерживать эту душевную топку — в других с ещё большей ревностью и самоотдачей, чем в себе.

— Ах, Чарли, вы не знаете, какие дивные стихи прочитал мне вчера Пастернак. Божественно! Как, вы ничего не знаете?

— Вчера не спала до пяти часов. «Подросток». Я всегда перечитываю Достоевского. Вы же знаете это. Но это чтение было особенным. Я открыла... Ну, приходите, по телефону обо всём не переговоришь. Подождите, мы с вами вчера говорили об Улановой. Это гений. Я не пропустила пока ни одного её выступления. Вы понимаете, что нам дано счастье видеть Уланову!.. Вы всё ещё в переводах? А своё кто будет писать? Написали? Приходите сегодня вечером. Нет, сейчас. Ну, через полтора часа. Только не пейте и не ешьте перед приходом. Александр Сергеевич к тому времени вернётся...

— Звонил из Еревана Аветик Исаакян. Он прочитал в «Литературке» нашу с Вами статью о нём. Благодарит по-особому, на какой-то древний лад, медленно, раздумчиво, так теперь уже никто никого не благодарит. А статью-то нашу порезали. В рукописи она была лучше, богаче. Не отчаивайтесь, и так хорошо. Если б не было хорошо, Варпет не позвонил бы... — Новую чудесную балладу прислал Гегам Сарьян. Вы его помните? Он тогда был у нас в гостях. Тих, благороден. Вы не проходите мимо армянской поэзии, Чарли. Она терпкая, горькая, сладостная, мудрая. В неё много пошло человеческой теплоты, обездоленности, надежды. Приходите с новыми стихами. И без стихов. И просто стихи без вас. Ну, это я ради красного словца, простите. Когда придёте?..

Монологи Веры Клавдиевны по телефону или за столом всегда были стремительные, громкоголосые, задушевные, увлекательные. Озарённость! — вот её характеристика в одном слове. Она умела увлечься и увлечь близких друзей, поклонников, последователей, просто случайных прохожих. Не углубляясь в модную во все времена науку нравиться, она привлекала всех окружающих своей распахнутостью, своей готовностью удивиться цветку, строке, идее, лицу, мелодии, танцу.

Бескорыстие! Так бы я назвал человеческую сущность Веры Звягинцевой. Отсутствие выгоды, хотя она и не чужда была желанию похвалы, одобрения, участия. На отрицательных эмоциях она долго жить не могла. И я старался описывать ей значение её, смысл её дара. Похвала Фадеева передавалась ею всем и всегда. Его внимание к стихам Звягинцевой, к её переводам. Фотография Фадеева висела над кроватью. Его самоубийство было для Звягинцевой большим ударом. Она оплакивала его и хотела понять драму этого писателя...

Вере Клавдиевне было предложено: если бы она подала заявление в партию, то её охотно приняли бы. Наступили дни канунов. Она душевно к этому готовила себя. Заглядывала в глаза друзей: а верно ли она поступает в свои пожилые годы, а сможет ли она быть членом партии, а не посмотрят ли на неё так, будто она делает это из соображений славы и карьеры. «Да нет же, нет, о Вас никто так не подумает, напротив». Её вступление в партию

превратилось для неё в пересмотр всей жизни, в нескончаемые собеседования с друзьями, во внутреннюю готовность начать жизнь сначала.

Пересматривались рукописи, книги, ноты, делались записи. Всё оказалось проще, чем она думала. Принята, привыкла. Жизнь шла своим ходом. Работа не прерывалась. Может быть, только Вера Клавдиевна стала ещё больше бывать на людях — уже не только дома, но и в объединении переводчиков, где вместе с Заболоцким, Антокольским, Пеньковским, Арсеновой и другими поддерживала весьма высокий градус творческой атмосферы. Я помню это время. Мы работали и дружили, дружили и работали. Союз писателей был местом, где — главным образом — обсуждались книги, где делились друг с другом новыми планами и надеждами. Правда, нет смысла золотить пилюлю. Ещё время от времени в дубовом зале дубовые критики-проработчики измывались над писателями и, оперируя высокими словами, творили свои жизненные дела. До сих пор, когда я вхожу в ЦДЛ, я вижу на этих дубовых стенах испарину тех лет. И мы всё это пережили, и продолжаем быть весёлыми, — ой, весёлыми ли?

Много тяжестей легло на наши плечи. И как жаль, что новые поколения, глядя на нас, не видят этой свинцовой поклажи на наших спинах. Не видят. От этого им легче. Ну, пусть им будет легче. И пусть они не помнят того, что пришлось пережить нам. Память без беспомысленности не существует. Память не выдержала бы этой задачи — всегда бодрствовать. Что-то надо, можно, должно забыть. И сейчас, вспоминая о Вере Клавдиевне Звягинцевой, я о многом забываю. Придёт время — вспомню. Если успею вспомнить.

Я был осчастливлен дружбой с Верой Клавдиевной. Слушать её, читать ей, спрашивать её о верном звучании слова, об ударении, об интонации, знать, как надо охранять родную речь, её мелодику, советоваться с ней, рассказывать о наболевшем. Надо ли перечислять совместные работы, вечера, на которых сообща выступали, говорили о поэзии, читали стихи. Всё это остаётся с нами, запечатлено в наших записях, прямо или косвенно озарило наши строки.

Я пока ещё не могу, не сумею рассказать о тяжёлых последних днях Веры Клавдиевны, уже после смерти Наума Михайловича, в больнице в Кунцеве, где она лежала с подвешенной ногой (перелом шейки бедра), о наших беседах. Она говорила о прожитой жизни, о поэзии, о дружбе, о Науме Михайловиче, о Леонове, о своих учениках и ученицах, о многом другом. Она была печальна и уже не взбадривала себя. Понимала свою безысходность, но о смерти не говорила. Она никогда к ней не была готова, вот почему, наверно, она не оставила завещания и запрещала Науму Михайловичу и друзьям своим приводить в порядок её бумаги.

Мне трудно сейчас говорить о Вере Звягинцевой в мире, где её нет. Я ещё вернусь к этим её последним дням и напишу о них. А пока вместе с читателем я возвращаюсь к стихам Веры Клавдиевны Звягинцевой, чтобы там найти её, поговорить с ней по душам, как бывало.

...Мне, грешным делом, казалось, что я завершил свой очерк о жизни и творчестве Веры Звягинцевой, что по крайней мере, сейчас, в конце 1977 года, — я ничего не добавлю к нему. Возможно, позднее, много позднее из памяти выплывет ещё несколько обломков корабля былого... Так я думал. Но не тут-то было. И вот не память, а самая жизнь заставляет меня вернуться к уже считавшейся завершённой рукописи и вписать в неё новую страницу.

Как-то вечером разговор зашёл об Анне Андреевне Ахматовой, и моей дочери Елене захотелось показать нашему гостю старый альбом, который я завёл для неё в Голицыне летом 1953 года. Там есть вписанные Ахматовой, Благиной, Арго, Розановым, Тычиной, Луговским, Олешей, Белецким и многими другими строки в стихах и в прозе. Там, перелистывая альбом, я нашёл стихи Веры Звягинцевой, написанные Лене 3 января 1954 года. Вот они:

Пока ты подрастаешь —
Побасенки читаешь.
А будешь ты большою,
С горящею душою —
Тогда — иная статья:
Ты станешь всё читать —
Романы и поэмы
На жизненные темы,
Стихи, рассказы, драмы,
Без разрешенья мамы.
Тогда ты разберёшь,
Где правда, а где ложь.
Когда всё это будет —
Меня уж не разбудят
Суровой жизни лапы...
А ты в шкафу у папы
Найди мои стихи.
В них много чепухи,
Но всё же, мне б хотелось,
Чтоб ты прочла, как пелось
Одной нескладной тёте,
Прожившей не в почёте;
Хотя она была
На то не очень зла.

Переливы живого голоса Веры Клавдиевны дошли до нас в этот вечер. И мы прочли, «как пелось» этому человеку, этому поэту, а вовсе не «одной нескладной тёте». Она любила шутить, подчас горько шутить. Но всегда в самой сердцевинке строки, как косточка в виноградинке, светилось нечто живое, тёплое, трепетное. И это было главным. И это мы не могли не почувствовать, вспоминая стихи и человеческий облик Веры Клавдиевны. Неровен час, — через день, через две недели, через четыре месяца, я снова в одной из старых папок или тетрадей тех лет найду строки Звягинцевой — её след на этой земле, и снова в душе — друг за другом — возникнут приметы и события ушедшего времени. Но и без прямых поводов — найденные строки, листки, тетради — я всегда буду помнить нашу дружбу, неповторимую, облик этого человека, незабываемый.

СИЛЬВА КАПУТИКЯН

ХАЧКАР В ТЕНИ БЕРЁЗ

Недавно вновь привелось прочитать переводы Веры Звягинцевой; в Москве издавался сборник моих стихотворений, и мне прислали гранки для авторского визирования. Разные были стихи, разные были и переводчики. Прочитала, и что же: большинство из лучших переводов принадлежало перу Звягинцевой. И радостно мне стало и немного грустно. Грустно оттого, что в последние годы я редко посылала ей стихи на перевод. Причиной тому, возможно, было желание найти новое, как более лучшее. А может и то, что Звягинцева, беспредельно преданная армянской поэзии, с радостью переводила всё, что бы ей ни предложили. А этот наш проклятый человеческий характер вечно стремится к трудному, труднодоступному. И только сейчас, читая сухие, выхолощенные переводы этих «труднодоступных» переводчиков, я вижу, сколько души и тепла вкладывала в свою работу Вера Клавдиевна. А какое проникновение в тему, форму, образы оригинала, какое стремление приближения к нему! И это не случайно, это шло от её любви к той стране, переводчиком поэтов которой она была, от её понимания Армении и бескорыстной преданности ей.

С Верой Звягинцевой я познакомилась в 1939 году, ещё будучи студенткой Ереванского государственного университета, но уже участницей первой Декады армянской литературы и искусства в Москве. Это было большим событием в моей жизни, и не могло пройти бесследно: я написала стихотворение, которое было опубликовано в «Комсомольской правде» в переводе В. Звягинцевой. Это стихотворение Звягинцева прочитала в так называемом Дубовом зале Московского дома писателей на вечере, посвящённом армянской литературе. Присутствовали многие известные русские писатели, председательствовал Фадеев. Моему счастью не было границ, ведь это было первым моим вхождением в «русские круги», первым моим дебютом в России.

Вторая наша встреча состоялась уже в Ереване, сразу после окончания Великой Отечественной войны. Всё дышало победой. В те годы председателем Союза писателей Армении был Наири Зарян, чей буйный темперамент, умение придать любому начинанию размах и мощь, были удивительно созвучны победному дыханию времени. Для организации переводов из армянской поэзии он пригласил из Москвы русских поэтов. В их числе были Вера Звягинцева и Мария Петровых. С Верой Клавдиевной я уже была знакома, с Марией же познакомилась впервые. Тоненькая она была, остренькая, с голубым взглядом, бесконечно симпатичная и женственная. Остановились они в «Интуристе», в теперешней гостинице «Ереван». Я часто бывала у них. И как-то решилась пригласить их к себе.

Жили мы тогда на Амиряна, 20. Наш старенький глинобитный дом, в котором после бегства из Вана поселились мои родители, впервые должен был принимать таких гостей. Домочадцы — бабушка, мать и я — полностью «мобилизовались». Привели в порядок нашу единственную комнату — насколько это было возможно. Всё, что было в наших «ванских» запасниках, вытащили на свет божий. Сейчас не очень-то помню, что было на столе, кажется, спас, долма в виноградных листьях и каким-то чудом раздобытые сосиски. Из печёного — «хворост» — тонкие листки теста, изогнутые лепестками розы и обжаренные на подсолнечном масле — единственное украшение наших застолий тех лет. И нате-ка — это наше «послевоенное» угощение оставило большое впечатление. В дальнейшем часто приходилось принимать Веру Звягинцеву и других гостей в нашей новой квартире. Но как бы ни был роскошен стол, Вера Клавдиевна с присущим ей весёлым изумлением восклицала:

— Ой, товарищи! Ничто не сравнится с Сильвиным угощением в их старом доме. Мы

ели и ели целых шесть часов подряд! Не только за прошедшую войну, но и в счёт всех будущих поели...

И в моей памяти ярче других запечатлелась эта встреча в нашем старом доме. И более всего тем, что с того дня я крепче сдружилась с этими двумя прекрасными русскими женщинами, которые, войдя в мой дом, словно вошли и в мои грядущие дни, положив начало новому и яркому периоду в моей жизни уже за пределами республики, на необъятных просторах страны...

Мария Петровых была моложе, сравнительно ближе мне по возрасту. Может, потому мы с ней и сдружились теснее, стали закадычными, задушевными друзьями, делились всем сокровенным. Звягинцева понимала нас, прощала, хотя нет-нет и ревновала полусерьёзно.

Каждый раз, наезжая в Москву, одним из первых моих звонков был к Вере Клавдиевне. Здравовалась я с ней на армянском, она тоже отвечала на армянском, радовалась, что не забывают её, но тем не менее не могла сдержаться и не спросить:

— Небось, Марише уже звонили?..

— Да, уже звонила, — я не могла Звягинцевой солгать.

— Знаю, знаю! — весело примирилась Вера Клавдиевна. — Ну да, вы же с ней ближе... И очень хорошо, Мариша — человек замечательный.

Дружба с Марией Петровых вдохновила меня на стихотворение «Русскому другу». Когда я показала подстрочник Звягинцевой, чувствовала себя неловко, что стихотворение адресовано не ей. Но Вера Клавдиевна не только не обиделась, но и блестяще перевела стихи. Она же прекрасно знала обоих «лирических героев» стихотворения: свою подругу — Марию Петровых, и своего друга — армянский народ...

Наша дружба со Звягинцевой стала теснее в 1949—50 годах, когда с группой армянских писателей я училась на высших курсах при Московском Литературном институте имени Горького. Жили мы в общежитии армянского Дома культуры. Со мной были моя мать и сын, которому тогда исполнилось восемь лет. Неподалёку от Дома культуры, в одной русской семье мы снимали угол: мама и Араик ночевали там, а днём бывали у меня в общежитии. Вот так, кое-как мы устроили свой быт, за исключением «проблемы» купания Араика. С собою в баню мы его брать не могли, а дома для этого не было условий. Звягинцева жила сравнительно близко, за две-три остановки от нас. Предложила свою помощь. И вот в те дни, когда мы не могли «навязать» Араика какому-нибудь мужчине из слушателей курсов, чтоб отвести его в баню, мы с мамой забирали нашего единственного мужчину и отправлялись к Звягинцевой. Хозяйка любезно нас встречала и старалась «угостить» не только своей маленькой ванной, но и чем-нибудь вкусным. Мы стояли ещё на пороге, а она уже суетилась и громко объявляла:

— У меня сегодня только чай и печенье!

Или:

— Сегодня могу угостить вас только яблоками...

Напрасны были наши искренние уверения, что «хлеба вашего не просим, горсть земли нам вашей дайте», мол, нам нужна только ваша ванная. Вера Клавдиевна должна была обязательно угостить нас и только потом отпустить.

Когда мы, армянские писатели, приезжали в Москву на съезд или по какому-либо другому поводу, Звягинцева старалась обязательно пригласить нас к себе домой. Угощая, она страшно суетилась. Хотела не отстать от наших ереванских угощений, но это ей не удавалось. С кухонной плитой она была не в ладах. Эта забота лежала на её приятельнице, которая давно жила у неё дома.

Помню, созвала как-то Звягинцева довольно большую компанию армянских писателей. Постаралась и стол накрыть по нашему вкусу.

— Мы с Татьяной Михайловной будем потчевать вас армянским пловом. Я сама приготовила, — похвасталась Вера Клавдиевна.

Чуть погодя она внесла в комнату кастрюлю с пловом и вот так, не переложив в блюдо, поставила на стол. А плов-то не плов, а какая-то вязкая белая масса...

— Вера Клавдиевна, это армянский плов в переводе, — под общий хохот сострила я.

— Ох эти неблагодарные армяне, ничем им не угодишь, — расстроилась хозяйка.

— Вера-джан, не горюй, армянскую поэзию ты переводишь лучше. А плов, конечно, надо выбросить, — добавил перцу Наири Зарян и принялся с аппетитом уплетать «переводной» плов...

У Звягинцевой мы чувствовали себя, как дома: давно стёрлись национальные, возрастные и бытовые условности. Две маленькие комнатки, забитые книжными шкафами, с армянской литературой и сувенирами из Армении, глядящими на нас со стенных полок, с портретами Звягинцевой кисти Мартироса Сарьяна, стали для нас родным домом, местом наших сходов. Веру Клавдиевну любили и уважали все поколения армянских писателей, начиная с Аветика Исаакяна.

И с Наири Заряном они были давнишние друзья. Вера Клавдиевна называла его Наиришка, что хотя и не шло к нескладной наружности Заряна, но было естественно в сложившихся между ними нежных, товарищеских отношениях. Впрочем, Вера Клавдиевна была дружна почти со всеми нашими поэтами — с Гегамом Сарьяном, Гургеном Боряном... С Эмином они дружили давно, и, несмотря на разницу в возрасте, Эмин был с ней на «ты» и по-свойски — «Вера». А Рачия Ованесяна — «Рачичка», они обе, и Мария Петровых и Звягинцева, любили более, чем нежно. Рачик, поднявший бокал для тоста, так нежно-восторженно смотрел на этих двух далеко не восемнадцатилетних женщин, словно перед ним сидели сказочные принцессы.

— Он у нас шиповник, шиповник! — с радостным изумлением восклицала Вера Клавдиевна, наверное, имея в виду добрые глаза молодого Рачика, окаймлённые густыми ресницами.

Известно, как некогда откликнулась на этот восторженный взгляд хмельного Рачика Мариэтта Шагинян. С присущей ей непосредственностью она провозгласила на всю комнату:

— Чего он смотрит на меня такими глазами? Мне уже семьдесят лет...

Обычно на наших встречах бывали и поэтессы Ирина Снегова и Елена Николаевская, которые учились в институте имени Горького у Веры Клавдиевны, и наставница, вместе с мастерством перевода, передала им и любовь к Армении и её поэзии. Звягинцева ласково называла их «девчонки», хотя у них самих уже были дети. Под конец застолий начинались армянские песни. Вера Клавдиевна и «девчонки» горячо присоединялись к нам. Особенно они любили романс «Красной розе» Романоса Меликяна. Помню, как, щуря повлажневшие глаза, Вера Клавдиевна прочувственно произносила строки песни — с русским произношением...

Кармир вартин,
Сирун вартин,
Кармир варты
Дашти мичин.

Звягинцева была очарована армянскими песнями, особенно, когда их исполнял Наири Зарян. Да, эта очарованность и вдохновила её создать несколько замечательных стихотворений, одно из которых я очень люблю и перевела с любовью.

Скрестите мне руки, закройте веки,
Я всё-таки оживу:
Пройду по горам, все моря и реки
Без страха переплыву!
...Я буду армянские песни слушать,
Встречать над Зангу зарю,
И на волоске висящую душу
Сухой земле подарю.

Несмотря на свой преклонный возраст, Звягинцева была удивительно молода. Годы совершенно не повлияли ни на её здоровье, ни на страсти. Не знала усталости, не ныла и не жаловалась на немочь. И как бы ни была она занята — всегда соглашалась перевести стихи. А если автору казалось, что перевод не удался, она готовностью переписывала текст, шлифовала слова, строки, строфы... Сейчас, когда многие молодые и ещё неопытные переводчики настаивают на переведённых ими — и плохо переведённых — словах и строках, и отказываются искать новое, — я с теплом и благодарностью вспоминаю Звягинцеву.

Многое всплывает в памяти, когда думаю о нашей любимой Вере Клавдиевне. Вспоминаю её стойкость настоящего русского интеллигента, стойкость в той или иной острой и критической ситуации, требующей от человека большой силы воли и высокой гражданственности, как это было в 1949 году в дни «борьбы против космополитизма», когда под обстрел были взяты её старые друзья — Павел Антокольский, Леонид Первомайский, Маргарита Алигер. Вспоминаю её горячую поддержку талантливой и мужественной молодёжи, особенно, Евгению Евтушенко; защищала она, а не его сверстники, которым чужды были острая полемичность и гражданственность его поэзии. Вспоминаю горячие и вдохновенные выступления нашего верного друга на наших литературных вечерах в Москве, Ленинграде, Ярославле, и ещё в Ереване, в городах и сёлах Армении. Перед глазами стоит её трепетный облик на вечере в московском Доме писателей, посвящённом моему пятидесятилетию. И хоть очень она была больна, не отказала мне, пришла. Плохо видела, веки сами собой смыкались. Ей помогли подойти к трибуне, и она, вся дрожащая, придерживая пальцами одной руки веки глаз, чтоб они не закрылись, прочитала свои переводы. В заключение прочитала свой лучший перевод — стихотворение «Наш пантеон».

Наш пантеон... В безмолвии, в забвенье
Разбросан он по всем краям чужим.
Лишь слёзы, слёзы и благословенье
Наш дар могилам дальним дорогим!

Сейчас к нашим «могилам дальним дорогим» прибавилась ещё одна дорогая могила, один красноватый хачкар на кладбище в Переделкине под Москвой. Армянский хачкар в тени берёз... Что более глубже могло символизировать жизнь и труд Веры Звягинцевой?

Если б знала наша Вера Клавдиевна, которую мы, случилось, обижали своим непреднамеренным равнодушием, если б она знала, с какой любовью и благоговением армянские писатели привезли из Армении и поставили здесь этот памятник, если б знала, как кажущийся жёстким и суровым этот камень под руками мастера стал мягким и хрупким — как наша земля, как наши сердца... В глубине души Вера Звягинцева знала это, и потому так безоговорочно любила жёсткую, суровую, но и мягкую, хрупкую нашу землю и её людей — нашу и её Армению...

ГЕВОРГ ЭМИН

НЕОКОНЧЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ВЕРЕ ЗВЯГИНЦЕВОЙ

Мне приходилось говорить и писать о Вере Звягинцевой и при жизни её, и после смерти. Писал большей частью «на ходу», по поводу того или иного литературного вечера, встречи, юбилея или выхода книги.

Поэтому в словах моих могла выразиться лишь малая толика тех впечатлений, чувств и мыслей, что накопились в течение более чем 25 лет нашей дружбы, — от первых мимолётных встреч 1944 года до последних в 1972... Встреч и заочных, при помощи писем (переписка наша может составить целый том), и непосредственных — ведь Звягинцева, влюблённая в Армению и армянскую литературу, приезжала к нам почти каждый год, а мы, армянские писатели, по разным поводам часто бывали в Москве (не говоря уж о моей учёбе в Москве в 1949—50 и 1955—56 гг.).

Мне не привелось ещё собрать все письма Веры Клавдиевны, все относящиеся к ней бумаги и книги, фотографии и статьи, чтобы написать о моём добром друге нечто основательное. Однако, не дожидаясь этого, хотелось бы, пусть даже отрывисто, записать всё то, что приходит сейчас на память.

* * *

— Ты мрачен, ироничен, неспокоен, иногда в тебе проступает горечь, — говорила мне Звягинцева в первые же дни знакомства. В шутку сравнивала меня с Лермонтовым — демобилизованный лейтенант, ещё, кажется, в форме, я тогда не понимал, почему...

Действительно, в свои тогдашние 25 лет мне уже пришлось испытать горечь (смерть Чаренца, война, тяжёлые послевоенные дни), в том числе и чисто «литературную». Всё это, да ещё и свойственное возрасту стремление к самоутверждению, и делало меня внутренне напряжённым, легко возбудимым.

К тому же я, кажется, ревновал — ревностью не любовной, а «поэтической», когда замечал, что Звягинцева и Мария Петровых, приехавшие в Ереван переводить армянскую поэзию, более внимательны и любезны с другими молодыми, приятными и общительными, но, на мой взгляд, менее талантливыми авторами, чем со мною... Будто они обязаны были тотчас разглядеть, что скрыто в душе плохо одетого, худощавого невзрачного молодого человека, именуемого Эмином...

Однажды в коридорах гостиницы «Ереван», возбуждённый вином и ревнивой досадой, я двинул кулаком по стеклу окна, выходящего во двор...

Видимо, всё это и создавало в глазах Звягинцевой мой «лермонтовский» колорит...

* * *

Это было трудное для поэзии время, особенно у нас, в Армении. Подлинно народной почиталась поэзия ашугская, всё остальное было чуть ли не враждебным. Поощрялись рифмованные речи и оды, активная гражданская поэзия была в загоне, а стихи, более или менее интересные по форме, клеймились как «формализм».

В Цахкадзорском Доме писателей Вера Звягинцева, если не ошибаюсь, Липскеров и только что вернувшийся с фронта, раненый, худощавый и нервный Тарковский переводили Саят-Нова. В то время переводчики, даже пишущие отличные стихи, не могли, по нашим понятиям, всерьёз считаться поэтами... Кажется, Звягинцеву мы причисляли к поэтам, а про Тарковского не знали ничего.

Поэтому, когда однажды вечером во дворе цахкадзорского дома он прочитал нам свои острые, умные, волнующие стихи, мы были крайне удивлены. Особенно запечатлелись в памяти строки из его стихотворения «Бабочка в госпитальном саду»:

...Пожалуйста, не улетай,
О, госпожа моя, в Китай!
Не надо, не ищи Китая,
Из тени в свет перелетая,
Душа, зачем тебе Китай?
О, госпожа моя цветная,
Пожалуйста, не улетай!

Тарковский со своим страдальчески бледным, нервно-благородным лицом читал стихи, и после каждого из них все издавали восторженные возгласы...

Все, кроме одного, — кроме меня...

— Нэ будут пэчатат, — мрачно изрекал я с сильным армянским акцентом, без мягкого знака, и это делало ещё более жёстким мой приговор...

Полагая, что стихотворение мне не понравилось, Арсений читал ещё одно, более тонкое и прелестное...

— Да это же чудо, восхитительно, великолепно, — раздавалось со всех сторон.

— Нэ будут пэчатат, — всё более мрачней, твердил я.

Наученный горьким опытом тех лет, я знал, что интересные, истинно поэтические стихи, увы, нигде не будут печататься, а если и будут изданы, то навлекут на голову автора или издателя настоящую напасть — как всего через два-три года такой напастью стал для меня сборник моих лирических стихов «Норк», разгромом неискушённого автора занялся целый писательский съезд...

Итак, Тарковский читал свои великолепные неизданные стихи, а я с уже несколько смехотворным упорством твердил свой рефрен.

И когда много лет спустя, кажется, в 1966 году, Тарковский издал наконец эти стихи, я получил от Веры Клавдиевны знаменательную, состоящую всего из одного слова телеграмму, свидетельствующую не только об её острой памяти, но и об острой мысли.

«Напечатали!» — торжественно и радостно оповещала Звягинцева.

* * *

Как я уже сказал, меня разгромили на съезде. И не только меня — Сильву Капутикян, Наири Заряна, Вигена Хечумяна, Маро Маркарян. Положение у меня было тяжёлое, я нигде не печатался и не работал.

После «Норка» меня наказали даже и тем, что не послали в Москву на совещание молодых писателей.

И теперь, спустя столько лет, — как, впрочем, и тогда — я испытываю глубокую благодарность, вспоминая то, что было сделано Звягинцевой. Приложив свои силы и время, она не только переводила стихи какого-то безвестного молодого поэта, но и, понимая моё состояние, старалась как можно шире их печатать — что в то время, как ни трудно сейчас в это поверить, требовало известного мужества... Да, для этого надо было быть человеком не только честным и добрым, настоящим альтруистом, но и смелым, принципиальным.

Кстати, благодаря Звягинцевой я, несмотря на наложенный запрет, всё же как бы присутствовал на Московском совещании молодых писателей. Дело в том, что Вера Звягинцева перевела и послала Симонову цикл моих стихов для публикации в «Новом мире». Внимание Симонова привлекло стихотворение «Другу-архитектору», имевшее для того периода армянской поэзии принципиальное значение. Стихотворение это он включил в свой доклад и прочёл на совещании под бурные аплодисменты присутствующих.

* * *

Армянский народ и литература имели много друзей. Одни из них писали о нас, переводили и издавали нас, оставили о нас прекрасные книги и путевые заметки, другие посвящали Армении и её литературе всю свою жизнь.

Звягинцева представляет исключение даже в ряду самых преданных друзей. Она была, в буквальном смысле слова, влюблена в нашу страну и народ так, как женщина может быть влюблена в мужчину. Лучше всего об этой своей сумасшедшей и возвышенной любви написала сама Звягинцева:

Как влюбляются в человека,
В голос, жест, висков седину,
Так под ветром большого века
Я влюбилась в одну страну.

Или:

Я отказываюсь разгадать,
Что в меня эту страсть заронило, —
Очень русской была моя мать,
Небо севера было ей мило.

И сама я любила не зной,
А морозец весёлый и прочный.
Что же это случилось со мной,
Что мне в пышности этой восточной?

...Я люблю эту мудрость веков.
Лебединые женские пляски,
Медь горячих, тяжёлых стихов
И полотен сарьяновских краски.

Не зови же смешным, не зови
Беспокойное это пристрастье.
В этой поздней нелёгкой любви
Мне самой непонятное счастье.

Именно из-за этой любви с такой страстной взволнованностью относилась Звягинцева ко всем положительным и отрицательным явлениям в нашей литературе, стараясь смягчить и оправдать даже крупные наши недостатки, превращая для себя в ликующий праздник любые наши удачи и достоинства, малейшие знаки внимания к ней.

* * *

«На мосту» — так называлась первая поэтическая книжка Звягинцевой. Это были её размышления о протянутом между жизнью и смертью мосте, о том, сколь короток путь по нему...

И сама она, Звягинцева, была, хоть и в ином смысле, мостом — прочным и надёжным мостом между литературами двух наших народов.

Она была другом не «по поводу», другом не юбилейным и праздничным, но постоянным и верным.

Это тем более ценно потому, что Звягинцева — не безвестная неудачница, ищущая в чужих краях выгоды и славы. Это был глубоко русский человек, имеющий свой народ и страну, свою историю, это была истинная поэтесса.

Блестящее свидетельство подлинности её поэтического дара — уже одно только высказывание о ней великого Горького, а об её истинно русском характере говорит одно из первых её стихотворений — «России». Вот оно:

Не подниму ни голоса, ни глаз.
Про это петь не смею...
Бывает: в слишком ранний утра час
От холода и радости слабеешь...
Такая по душе проходит дрожь
Всей сыростью твоих оврагов сразу.
И все слова к тебе дурны, как ложь.
Не по любви моей мой разум.

* * *

Влюблённая в Армению, она радовалась всему хорошему у нас и тяжело переживала любое проявление дурного. Особенно тревожило её отсутствие сплочённости среди нашей интеллигенции, то обстоятельство, что все армяне, глубоко любя свою Родину и свой народ, гораздо меньше любят... друг друга.

Однажды мы беседовали об одном таком случае, и Звягинцева, взволнованная, как бы поверяя мне заветное, сказала:

— Ты знаешь, я обожаю Армению. Но до чего же вы удивительный народ... Каждый армянин говорит: «Мой народ — самый лучший, а мой сосед — самый плохой». А как это может быть? Ведь общность всех соседей и есть народ, и если соседи плохие, то...

Долго не могла она успокоиться.

* * *

Она была не из тех, кто легко меняет свои вкусы и пристрастия, свои привязанности и своих друзей. Если она полюбила кого-то, то уж всё: что бы ни случилось, это ничего не меняло. Нашёптанные ей о близком и дорогом человеке сплетни, пересуды, приведённые действительные или вымышленные факты огорчали её, но любить его она не переставала.

И если уже она кого полюбила, то все, кто плохо к нему относились, становились её личными врагами. Человек в возрасте, обладающий опытом, поэтесса, хорошо знакомая со всеми превратностями литературной жизни, бывшая свидетельницей не одного случая предвзятой критики или травли того или иного писателя, она испытывала горечь и волновалась, как малое дитя, если несправедливо ругали писателя ею любимого (как, например, Леонида Первомайского).

С одним критиком, в своё время нападавшим на меня с позиций групповщины сколь грубо, столь же несправедливо, она не здоровалась. И когда впоследствии их помирили, и он даже понравился ей, она называла его не иначе как «мой ярый друг» или «мой милый враг»...

* * *

Она была необыкновенно человечна, искренна, естественна. И такими же были её стихи. Поэтому подчас даже не самые удачные её стихи действовали сильнее, чем иные ошеломляющие строки и образы других поэтов, — они были естественны и безыскусны. «Я пишу, как дышу», — сказала она о себе.

Будучи человеком образованным и начитанным, она в стихах была совершенно чужда книжности и показной «интеллигентности». Её впечатления, чувства, мысли не были опосредованы искусством. **Она любила жизнь как жизнь**, а не как собрание созданных благодаря той или иной книге или картине представлений.

В этом смысле весьма характерно стихотворение Звягинцевой «Сирень», где она, перечисляя любимые ею в жизни вещи, называет также сирень — тотчас добавляя, объясняя, что любит

Сирень в начале лета,
Сирень не Врубеля, не Фета, —
Сирень сиреневого цвета,
В кувшине жёлтом, на столе.

* * *

Она была необычайно жадна к жизни, жизнелюбива и оптимистична. И если в определённых её стихах присутствует грусть — начиная от первых и вплоть до последних, то грусть эта также идёт от жизнелюбия, от осознания того, что дарованная человеку единственная жизнь, это чудо, увы, преходяща, временна — словно лёгкий мост, протянутый над бездной смерти... Поэтому она не просто любила жизнь, но глубоко чувствовала каждое её явление. Этим объяснялось также непрестанное стремление Звягинцевой к движению, к путешествиям, желание вблизи увидеть незнакомые страны и народы — страсть, сопровождавшая её всю жизнь. В Армению она готова была ездить хоть несколько раз на день... Она не довольствовалась прочитанным, услышанным, рассказанным — хотела сама видеть, осязать, ощущать... Как сама она сказала о себе:

...Всё, что именем звенело
На картах, в книгах и в речах.
Мне воздухом ласкало тело,
Кустарниками шелестело,
Хрустело пылью на зубах!

Она была так счастлива тем, что живёт, дышит, любит, пишет, путешествует... Удивлялась и сердилась, видя, что многие, одержимые ничтожными целями или отравленные ничтожными огорчениями, не видят и не чувствуют прелести жизни, не торопятся ею насладиться. Она искренне удивлялась, как и почему человек может чувствовать себя несчастным. По её мнению, нет на свете несчастных — есть лишь люди, имеющие глупость чувствовать себя несчастными в то время, как только дышать — уже великое счастье для человека... «В жизни всё счастье, кроме ...несчастья», — любила повторять Вера Клавдиевна этот весьма характерный для неё и её образа жизни парадокс.

* * *

Звягинцева не только сама хотела быть счастлива тем, что живёт, видит и ощущает чудо сей преходящей жизни, — она хотела, чтоб это видели, чувствовали и осознавали, наслаждались этим все, в особенности близкие ей люди. Это был своеобразный, присущий Звягинцевой альтруизм, прекрасно выраженный в стихотворении «День стоит большою чашей»:

День стоит большою чашей,
В чаше — дивное питьё.
Отчего же ты всё чаще
Скучно смотришь на неё?

Или жажда оскудела,
Или сам же ты в вино,
Обижая винодела,
Сыплешь горечи зерно?

* * *

Квартира Звягинцевой была мала, мала была и «видимая» часть её библиотеки (самые важные книги и рукописи хранились в укромных местах).

Библиотека была смешанная — новое, старое, нужное и ненужное разместились рядом. Иногда приходилось просить у неё книги, и она давала. Если книжка была новая, могла и подарить. Мне давала даже дорогие её сердцу редкие книги. Однажды я попросил, и она дала мне давнишнюю книжку Павла Антокольского, где была его пьеса «Франсуа Вийон».

С Антокольским они были старые друзья — может быть, даже больше, чем друзья, — ещё с тех времён, когда оба работали в театре и вместе с Пастернаком, Сельвинским, Луговским, Зенкевичем и другими были членами литературного товарищества «Узел».

Принёс я книгу домой. Тогда, в 1949—50-х годах, жил я в Москве и посещал литературные курсы при армянском Доме культуры. И вдруг... Как раз на эту книгу, которую я даже обернул в бумагу, чтоб не запачкалась невзначай, мой шестилетий сын пролил бутылку чёрных чернил, попортив всю её...

Положение было ужасное — просто не знал, как быть, что делать, чем оправдаться... Подробностей уж не помню, но — простила, хоть и очень была огорчена, не могла не простить — ведь я был её «любимым молодым другом»...

* * *

Однажды зашла у нас речь об одной из первых книжек Звягинцевой — «Московском ветре» (1926 г.). Сказал, что очень интересуюсь ею и хотел бы иметь, но достать её невозможно. Наступило молчание, я чувствовал, что в Звягинцевой происходит внутренняя борьба, напряжение нарастает, вот наступил перелом... Вера Клавдиевна решительно встала и направилась в другую комнату. Там она долго копошилась, потом вернулась, и подарила мне (о, чудо!) библиографическую редкость, настоящее сокровище — двенадцать книжек в едином картонном футляре издательства «Узел», среди которых была и её сокровенная книжка с дарственной надписью...

Потом, в течение лет, она время от времени вспоминала о своём великодушном поступке и порой жалела о нём, особенно когда бывала недовольна мной...

* * *

Когда мы познакомились, ей было 50 лет, но нам, молодым, в особенности привыкшим к восточным обычаям, она казалась очень пожилой. Даже много позже, когда годы уже сильно изменили её черты, когда она не только плохо видела, но веки постоянно опускались на глаза (из-за нервного спазма), даже в это время, благодаря дарованному природой русским женщинам особому счастью, она сохранила свою стать, была стройной, собранной и лёгкой.

Будучи в работе человеком очень серьёзным, она способна была через мгновение стать кокетливой, беззаботной и лёгкой, как девушка. Она не могла представить себе, как можно пойти на вечер поэзии или на юбилей писателя не в новом платье или шляпе.

— Да, знаешь, к предстоящей декаде я заказала себе новый туалет, костюм будет такой славный, в полосочку, а на блузке будет такое пышное жабо, — показывала она руками. И это заставляло тебя в изумлении воззриться на неё и усомниться, всерьёз ли было то, что минуту назад говорилось о поэзии...

* * *

Не считая переводов армянской литературы на русский, сделанных в старое время (Веселовским, Брюсовым, составленных Горьким сборников и др.), начиная с 30—40-х годов

переводами нашей поэзии занимались более всего Антокольский, Тихонов, Пастернак, Шервинский, Поступальский, Гатов, Державин, Липскеров, Кочетков, а затем Петровых, Звягинцева, Тарковский и многие другие.

Из этой плеяды талантливых переводчиков наиболее преданной и энергичной была Звягинцева, в значительной степени благодаря её усилиям русская интеллигенция тех лет знакомилась с армянской поэзией.

Она не только переводила и публиковала стихи армянских поэтов, но имела многочисленные выступления с чтением стихов, способствуя распространению армянской поэзии в русском звучании.

По словам Звягинцевой, в 1946 г. в московском Доме культуры Армении состоялся вечер, посвящённый нашей поэзии. Присутствовавший на нём Пастернак с восхищением отзывался об армянской поэзии и даже в разговоре привёл на память мои строки — «Я б увидел тебя во сне, да бессонница у меня» — в переводе Звягинцевой.

Факт этот кажется мне достоверным, потому что, когда я познакомился с Пастернаком и часто заходил к нему (домой и на дачу), он, впуская меня в дом, задерживал у дверей и шутил:

— Ну-ка, прежде чем войти, покажи свои ноги — что, ещё «башмаки твои от вод потопа влажны?» Так можно и паркет испортить...

Это говорило о том, что Пастернак знает моё стихотворение «Я — армянин» и даже помнит его первые строки (перевод В. Потаповой):

Я — армянин. Я стар, как Арарат,
И башмаки мои от вод потопа влажны...

Сравнительно позднее включившись в благородное дело перевода армянской поэзии, Звягинцева не только сама проделала огромную работу, но сумела увлечь Арменией и других. Среди них были молодые поэтессы тех лет Ирина Снегова и Елена Николаевская, первая из них недавно скончалась, а вторая успешно продолжает дело своего старшего друга и учителя Веры Клавдиевны Звягинцевой.

* * *

Лишь истинно любящий человек мог прощать те огорчения, что причиняли ей порой армяне. Поводы к ним были обычно мелкие, безразличный человек их и не заметил бы. Но ведь для влюблённого приобретают особый смысл и значение любые пустяки — случайно брошенный взгляд, мимолётное выражение глаз, интонация... То случалось, что какой-либо критик, не разбирающийся в тонкостях русской речи, атаковал с позиций буквализма тот или иной перевод Звягинцевой. То забывали отправить ей приглашение на чей-то юбилей или торжественный вечер. Или вдруг поэты (в том числе и я), увлёкшись новыми переводчиками, не слали ей своих новых вещей...

Раздосадованная, она обижалась, но... тотчас прощала, стоило Армении улыбнуться ей, послать слово приветов...

Иногда Звягинцева огорчалась и по ложному поводу. Так случилось при издании «Антологии русской поэзии». «Вот он, твой любимый Эмин, — составил антологию русской поэзии, а тебя-то там нет», — наговорили доброхоты. Это было неправдой, в чём она легко убедилась, раскрыв антологию...

Кстати, даже в обиде Звягинцева умела оставаться честной и беспристрастной. Не раз упрекала она меня, что я даю переводить стихи молодым русским поэтам, но... тут же хвалила их хорошие переводы.

— Что они знают об Армении и армянах? — говорила она, но это не мешало ей писать Левону Мкртчяну: «Был у нас вечер Эмина. Сверкали переводами Левитанский и Самойлов,

а я так себе, в тени читала, только потом какой-то учёный ереванский и разные женщины меня очень хвалили...».

* * *

Она была очень русским, глубоко русским человеком, из той среды, откуда выходили и в которую стремились потом народники и разночинная интеллигенция, где они создавали подпольные группы, вели борьбу, где их арестовывали... Такой была мать Звягинцевой, которой она лишилась в раннем детстве; таким был и дядя, в доме которого она воспитывалась в Кузнецке, около Пензы — в радищевских местах...

Это привило ей любовь не только к России, но и к присущему русскому народу «правдоискательству», к добру, справедливости, воспитало в ней чувство приязни к другим народам.

А любовь к Армении пришла к ней через наиболее передовых русских писателей — от Грибоедова до Чехова, через известные сборники Юрия Веселовского, Брюсова и Горького, через переводы Александра Блока.

Мне кажется, в любви Звягинцевой к Армении «повинен» также Коктебель — прекрасный крымский берег, духовная отчизна Максимилиана Волошина, место, которое Звягинцева без памяти любила и где всю жизнь, почти каждое лето или в начале осени проводила месяц-другой... Видимо, кто-то говорил ей, что Севан со своей синей водной гладью и обожжёнными солнцем голыми скалами напоминает Коктебель... Приехав в Армению и побывав на Севане, она себя не только духовно, но и физически ощутила как бы на родном коктебельском берегу...

* * *

Звягинцева была человеком неустанного, бесконечного трудолюбия. Она способна была не понравившуюся ей строку в стихотворении или переводе менять пять, десять, двадцать раз, без конца шлифовать её и отделывать. Иногда это доводило её до такой крайности, что она сама терялась от обилия созданных ею вариантов и, приписав их несколько от руки на полях машинописного текста, предоставляла выбор переводимому автору или издателю. Она была столь скромного мнения о себе и своей работе (в том смысле, что сделанное всегда можно исправить к лучшему), что, если кто-то, читая её текст, делал какие-либо пометки, желая подчеркнуть понравившийся образ или рифму, она, до получения разъяснений, склонна была воспринять это скорее как замечание и уже готова была взяться за двадцать первый вариант...

* * *

Я уже говорил, что письма Звягинцевой, надписи на подаренных книгах, её высказывания обо мне, посвящённые мне стихи или отдельные строки в стихах могли бы составить целую книгу... Но есть одно стихотворение, о котором мне хотелось бы напомнить. Оно показывает, как Звягинцева, несмотря на наши дружеские отношения, окрашенные подчас шутивными тонами, могла сразу посерьёзнить, когда дело касалось вопросов принципиальных, как могла сразу войти в роль старшего, заботливого друга и с высоты своего жизненного опыта, всего передуманного и перечувствованного, не только спорить, но и наставлять своего «молодого друга», указывая ему верный путь...

Стихотворение это так и называется — «Моему молодому другу», и если Звягинцева не пожелала точно указать, с кем она беседует, то лишь благодаря свойственному ей чувству такта (ведь она осуждает порой неуместную ироничность собеседника и даже называет его «заносчивым»).

Вот это стихотворение:

Я люблю твою злость молодую,
По душе мне твой вечный задор.
Но сегодня с тобой поведу я
Тихий, немолодой разговор.

Ты в старинном армянском селенье,
Я — в российском глухом городке.
Мы с тобой не в одном поколеньи
Друг от друга росли вдалеке.

Но сравнило нас чистое счастье,
Породнила забота одна,
Одержимы единою страстью
Мы с тобою на все времена...

Напомнив об этом своему молодому другу, чего же требует от него Звягинцева?

Ты, вступивший хозяином века
В дом, отстроенный Октябрём,
Не забудь о труде дровосека,
Что в дремучем лесу, топором,

Наземь рушил деревья с натугой
Для строенья, где будешь ты жить
Со своей вишнеглазой подругой
И где станешь со славой дружить...

...Не считай благодарность смешною
И чувствительностью не зови.
Вспомни тех, что вставали стеною
«За великое дело любви».

Те, что жили борьбой и тревогой,
Вправе требовать и от тебя,
Чтоб ты шёл своей новой дорогой,
Их великих надежд не губя.

...Всё твоей они отдали славе, —
Ждать своей было им недосуг,
Вот о чём забывать ты не вправе,
Молодой мой, заносчивый друг.

Подчёркнутая строка намекает на мою книгу «Новая дорога», удостоенную в том же, 1951 году, Государственной премии СССР.

Потом Звягинцева изменила эту строку с целью придать стихотворению более обобщённый смысл. Действительно, сколь велико его значение для новых литературных поколений (хоть в своё время поводом к его написанию послужил я сам!), которые иногда забывают заслуги прошлого...

* * *

В последние годы состояние здоровья Звягинцевой ухудшилось, но ухаживать за ней было некому... Она была совсем одна.

К счастью, её часто навещал, подолгу оставался с ней и помогал друг её молодости и её почитатель Наум Михайлович. Это был большой любитель литературы, порядочный и очень заботливый человек. Он относился к Звягинцевой, как к ребёнку, хотя были они почти

ровесниками.

После смерти мужа в 1949 году она жила одна, и если тогда это было сравнительно нетрудно, тем более что у неё была домработница, то к старости положение стало тяжёлым. К тому же последние три-четыре года Звягинцева страдала страшной бессонницей.

Она почти не спала по ночам и поэтому, теряя ощущение времени, могла позвонить мне в гостиницу часа в 3—4 ночи и долго разговаривать...

Я слушал терпеливо, понимая её состояние, и потом наши долгие телефонные разговоры стали уже многолетней привычкой.

По приезде в Москву я тотчас звонил ей, сообщал свой номер, рассказывал все ереванские новости, и потом ежедневно утром и вечером она звонила, и мы подолгу беседовали...

Если я, замотавшись с делами, не звонил ей в тот же день, она каким-то образом сразу узнавала об этом, разыскивала мой телефон и устраивала нагоняй:

— Что же ты сразу не позвонил, негодный мальчишка?!

Больно и грустно было слушать эти разговоры во время её болезни... Слова часто бывали бессвязны и искажены, голос шёл словно из какой-то глухой дали, в нём было уже что-то потустороннее...

Последний раз я видел Звягинцеву в апреле 1972 года, по возвращении из Америки. Пошёл к ней домой. К счастью, она была уже не одна, преданный Наум Михайлович переселился к ней. Долго мы разговаривали, я рассказывал об Америке и тамошней армянской колонии. Сказал, что американские армяне знают о ней, они аплодировали, когда я называл её имя. Она очень всем интересовалась, расспрашивала...

Она собиралась вскоре поехать в Переделкино. Не знаю, до этой поездки или после, внезапно скончался Наум Михайлович, и Звягинцева осталась совершенно одинокой и беспомощной...

В Переделкине её состояние ухудшилось, и её отвезли в больницу. Перед поездкой в Таджикистан я был в подмосковной больнице (кто-то ещё пришёл со мной, принёс цветы), но посещение это помню смутно. Вероятнее всего, оно не состоялось — к ней не пустили...

Она скончалась. Я в это время был в Таджикистане. Говорят, даже в тяжёлом состоянии, в бреду она поминала Армению и порывалась туда...

Не бывать ей больше в Армении... Она похоронена в своём любимом Переделкине, рядом с любимыми писателями, под своей любимой русской берёзой.

Наверно, и после смерти она тосковала бы по Армении, если бы **Армения сама не пришла к ней** — не только в лице армянских писателей и множества армянских почитателей её таланта, но и вставшим над её могилой хачкаром из армянского туфа, своей сенью укрывающим её прах от северных холодов...

* * *

Больше тридцати пяти лет своей жизни посвятила Звягинцева Армении и армянской литературе. Переведённые за это время произведения армянских поэтов, её собственные посвящённые Армении стихи и статьи составили бы солидный том... Нет нужды листать книги, чтобы вспомнить блестящие образцы её переводов — из Наапета Кучака (кстати, в переводе Кучака «повинен» я, в своё время убедительно настаивавший на этом в длинном и страстном письме...), Саят-Нова, Микаэла Налбандяна (в особенности стихотворение «Свобода»), Аветика Исаакяна, Гургена Маари, Гегамы Сарьяна, почти всех поэтов моего поколения.

В мировой литературе известны случаи, когда какой-либо писатель, переводя произведения писателя другой национальности, настолько увлекался его творчеством, его страной и народом, что сам создавал прекрасные стихи, посвящённые этой своей второй духовной родине.

Звягинцева, чья привязанность к Армении берёт начало именно из этого источника, так глубоко любила и знала наш народ и нашу страну, что вполне имела право называть её «моей Арменией», имела право назвать «Моей Арменией» и книжку своих стихов...

В ответ на это «своей русской сестрой» называет её Армения — та Армения, что из дальней дали послала горсть земли на её могилу и глубоко чтит память о ней.

НАТЭЛЛА ГОРСКАЯ

«МЕТОДОМ ДОВЕРИЯ» И... ЛЮБВИ

Стою ошеломлённая, растерянная. Тяжёлые ноги приросли к полу. Деревянные пальцы — не пальцы, а частицы деревянных перил. И всё равно — невесомость, счастье, парение.

Внизу — зал ресторана. Там едят и пьют. Едят и пьют, бред какой-то! Пахнет шашлыком. Подавальщица в белой наколке несёт бутылку шампанского. Мне на мгновение делается страшно, — то, что было несколько минут назад, не сон ли? — и я, вырываясь из столбняка, делаю шаг, сбегая вниз по лестнице, чтобы успеть увидеть её ещё раз. Успеваю. Ловлю взглядом — улавливаю! — в тот самый миг, когда она, пройдя по залу, по красно-сине-жёлтым бликам, отбрасываемым витражами и лампами, исчезает в дальней двери. Тускло-вато-золотистые волосы, платье тёплого коричневого тона, лёгкое движение руки, придерживающей очки...

...Я и сейчас, через годы, часто вижу её именно так: золотисто-коричневый силуэт, красно-синие отблески (не с полотен ли Сарьяна?), неторопливая поступь, мелькнувшая рука. И речной струёй, медленной волной наплывает имя:

Вера Клавдиевна Звягинцева

* * *

То ошеломление, та первая встреча... В общем-то всё было очень просто. Я, начинающий переводчик, совсем ещё неумелый, впервые пришла в Дом литераторов на семинар молодых поэтов-переводчиков. Со страхом — почти до тошноты — переступила порог восьмой комнаты, той, что в старом здании на втором этаже — над рестораном. Семинар работал уже не первый год. Занятиями руководили три замечательных — и очень разных — поэта: Вера Звягинцева, Мария Петровых и Давид Самойлов. Нетрудно представить себе мой трепет.

Поначалу я никого и ничего не видела. Потом отдышалась, начала вникать. Участники семинара читали стихи. Руководители слушали, одобряли, делали замечания. «Молодые» порой не соглашались, спорили. Перебрасывались шутками, смеялись. Никакой чопорности. Непринуждённость, оживление. Всем интересно.

Я постепенно оттаивала в своём углу, у двери. Стала исподтишка разглядывать руководителей семинара, вслушиваться в их голоса.

Глаза Самойлова, тёмные, задумчивые. И весёлые, почти озорные, когда он улыбается. Голос звучный, хорошая дикция. Говорит веско, уверенно, точно, хоть ничего не навязывает. Попробуй, не согласишься с таким голосом!

Из-за плеч и голов смотрю на Марию Сергеевну Петровых. Какое удивительное лицо — тонкое, прелестное. Сколько в этих чертах нежности и... твёрдости! Голос негромкий, но очень богатый интонациями, даже не музыкальными, а — я бы сказала — душевными: от восторженного трепета до сдавленного рыдания. Голос, который никогда не сфальшивит и на любую фальшь ответит гневным аккордом.

А Веру Клавдиевну я тогда разглядела особенно хорошо. Она сидела не за столом, а у стола, сбоку, чуть-чуть особняком. Самая старшая из присутствующих. И — не побоюсь старомодного слова — самая вальяжная. Вся какая-то плавная и неторопливая. Нарядная, в красивом платье. Смотрит... Куда она смотрит, на кого? Вроде бы, ни на кого. Но это только кажется. Она всех видит и замечает всё, — до мельчайших деталей. У неё мгновенная, очень живая реакция, и если ей что-нибудь нравится — строка удачная или точное слово, лицо освещается такой искренней радостью, такой доброй улыбкой, что просто невоз-

можно не просиять в ответ...

Занятия тем временем подошли к концу. Мне было уже не страшно, а интересно и даже как-то уютно — словно я пришла в гости к добрым знакомым. И тут произошло нечто ужасное. Прозвучал низкий, глубокий, ни на какие другие голоса не похожий голос:

— А вы нам что-нибудь прочитаете?

Чуть придерживая очки, на меня смотрела Вера Клавдиевна.

— Кто?.. Я?..

Я ткнула себя пальцем в грудь — точь-в-точь как школьник, уличённый в дурном поступке. И, как этому самому школьнику, мне ужасно захотелось сказать: «А я — что?.. Я ничего... И вообще...».

Но мне ободряюще кивнул Давид Самойлович, улыбнулась Мария Сергеевна:

— Прочитайте! Не надо стесняться.

И я прочитала — что мне оставалось делать? — два или три перевода с испанского.

Нет, руководители семинара не томили меня многозначительным молчанием.

— Неплохо, неплохо! — неожиданно звонко — для меня, как серебряный колокольчик — говорит Мария Сергеевна.

— Особенно концовка! — это Самойлов. Глядит на меня. Глаза весёлые.

— Вы правы, Давид, последнее четверостишие совсем хорошее, — Вера Клавдиевна оживает, и я вижу, чувствую, что ей радостно произнести эти слова «совсем хорошее».

И чуть позже, когда все расходились, — в шуме и гаме, в звоне ножей, тарелок и бокалов, доносившихся снизу, — она подошла ко мне и сказала:

— Приходите на наши семинары. Мы уж тут перешепнулись с Марией Сергеевной, вы нам понравились.

Сказала и стала спускаться по лестнице — добрая, неторопливая, плавная, золотисто-коричневая.

Значительно позже, когда меня приняли в Союз писателей, я очень радовалась, конечно. Но, честное слово, не испытала такого счастливого ошеломления, как в тот день от той первой похвалы.

Теперь я понимаю, какими беспомощными были первые мои переводы. Но, похвалив меня, руководители семинара не лукавили. Очевидно, за неумелостью начинающего они увидели нечто — возможность каких-то возможностей. Вера Клавдиевна Звягинцева сказала «Вы нам понравились», потому что поверила в меня и искренне этому обрадовалась.

Вспоминаю строки её стихотворения «О Маяковском»:

Шла репетиция «Мистерии»,
И автор, вслед за режиссёром,
Работал методом доверия
К зелёным, молодым актёрам...¹

Вот так она и учила нас — «методом доверия».

* * *

Семинары, семинары... Наши удивительные, незабываемые.

В дни занятий с утра радость — семинар сегодня!

Почти все «семинаристы» работали. Мы — за исключением одного-двух человек — были уже не послешкольного и не студенческого возраста, но всё же молодые — до тридцати.

¹ Вера Звягинцева. Вечерний день. 1963 г., Москва, «Советский писатель», стр. 58.

Ехали со всех концов Москвы. Метро, троллейбусы, автобусы, трамваи... Как медленно они тащатся! Снег, дождь, мороз, слякоть — ерунда какая! Или, вернее, — какая прекрасная сегодня слякоть!

И как горько бывало, когда по каким-либо причинам приходилось пропустить занятие.

В Дом литераторов не входили, а врывались. Скорее снять пальто. Может быть, на ходу, мимолётом, ещё успеет проглотить чашечку кофе. Вопрос друг другу — а они уже здесь? Они — руководители. Ответ чаще всего бывал один и тот же: Вера Клавдиевна здесь.

Вера Клавдиевна, как правило, приходила заранее. Ждала нас. В комнате, отведённой для занятий. Или в кафе, через которое надо было пройти, чтобы попасть в эту комнату.

Сидит за столиком. Нарядная, оживлённая. Перед ней тарелка с бутербродами или пирожками.

— Поесть-то успели? Нет? Так ешьте! Вон какая ветчина свежая. Да ешьте же, что за церемонии! Я? Уже наелась...

Или:

— Я вообще не ем...

Глядит с явным удовольствием, как исчезают с тарелки её бутерброды. И — всё замечает-подмечает. Всё ей интересно.

— Платье у вас красивое, Париж прямо. Хороша, хороша!.. (кому-нибудь из женщин) ...Лицо у вас что-то сияет сегодня. Радость какая-нибудь? А-а, побрился! А прошлый раз, помнится, небритый был... (мужчине). ...Переделали ту строчку, где они пьют из одного стакана? Да нет, не плохая она была, но нельзя же, чтоб как у Ахматовой... Что сын, поправился?.. Стихи принесли, не переводы, а свои?..

И вот идут занятия.

Как учить переводить стихи? Объяснить, что необходимо сохранить наиболее характерные особенности оригинала — количество строк, расположение рифм, ритм и размер, хотя бы приблизительно, если размер иноязычного стихотворения не имеет точного эквивалента в русской поэтике?.. Объяснить, что необходимо проникнуться духом переводимого стихотворения, постараться передать его интонацию, настроение, эмоциональную окраску?.. Да, конечно, обо всём этом говорилось на семинарах, и не абстрактно, а на примере стихов, которые мы переводили. Но, думается мне, не это было самым главным.

Однажды я прочитала одно переведённое мною стихотворение. Я давно уже перестала робеть, и этот перевод казался мне почти идеальным: размер — дольник — как нельзя лучше передавал размер оригинала, рифмы были на тех же местах, что у автора, и даже количество слогов в строке точно соответствовало!

Скромно опустив глаза, я ждала похвалы, чуть ли не восторга. Но воцарилось тягостное молчание, то самое, которое, обычно, не предвещает ничего хорошего. Его наконец нарушила Вера Клавдиевна:

— Тяжело... — она вздохнула, словно на неё и вправду навалилась тяжесть. — И точно, вроде бы, а тяжело, тяжеловесно. Зачем столько инверсий... Слова так и налезают друг на друга. Простора нет, свободы... Не получилось у вас русского стиха.

Не получилось русского стиха... А он обязательно должен получиться, если перевод действительно хороший. В том-то и задача, чтобы в переводе не чувствовалось перевода. Чтобы стихотворение звучало свободно, чтобы в нём легко дышалось.

Для этого нужно очень хорошо знать русскую поэзию и поэтику. И, конечно же, русский язык.

А уж Вера Клавдиевна была знатоком! И русских стихов и русского языка. Поражали не только её знания, но и врождённое чувство языка, особое чутьё к русской речи. Как абсолютный слух у музыканта.

Когда возникал вопрос, можно или нельзя употребить какое-либо слово или выражение, к месту ли это будет в данном случае, все взоры обращались к Вере Клавдиевне. И уж если она говорила — да! — ни у кого не оставалось ни малейшего сомнения.

Помню, однажды на семинаре мой сосед шепнул мне:

— Даль!

— Какая даль? — не поняла я.

— Не какая, а — какой! Даль, словарь Даля у Клавдиевны в голове. Чудо, а?..

Да, чудо. Но ведь надо ещё хотеть и уметь поделиться чудом.

Знаниями, мастерством — этим чудом, при желании, поделиться можно: рассказывать, показывать, объяснять, вдабливать даже. (Хорошо ведь, когда в тебя вдабливают чудо!)

А как поделиться другим чудом — любовью? Любовью к жизни — какой бы горькой и трудной она порой ни была, к стихам, к поэзии, к тому делу, которому служишь?

Нельзя научить любви. Можно только заразить любовью. И для этого надо иметь открытое миру, щедрое сердце. Сердце, которое — жадно, без передышки, не уставая ни на секунду — впитывает все проявления жизни и радостно — неустанно радостно! — возвращает их, обогащая собственной добротой, всему живому, в первую очередь людям.

Такое сердце и было у Веры Клавдиевны Звягинцевой.

Она радовалась хорошему стихотворению, удачной строке, свежему цветку, красивому лицу, внезапно хлынувшему ливню. И радовалась, когда ей говорили добрые слова, когда восхищались её стихами.

Жить в полную силу — и в повседневности, и в искусстве. Может быть, это и есть главное, чему она учила нас и жизнью своей и творчеством.

О жизни, о поэзии, о боли и счастье хочется сказать словами её стихов:

...Если боль — так пускай болит,
Если радость — пусть греет, радуя.¹

И ещё:

Я чувствую чужую ложь,
Как в грудь входящий острый нож,
Я подвиг чувствую чужой,
Как взлёт самозабвенный свой.²

И ещё:

Когда живёшь ты на просторе
И чувств не держишь под замком —
Чужие радости и горе
Становятся твоим стихом.³

Наверное, если бы мы, участники семинара, могли полностью воспринять, а потом воплотить в своём творчестве всё то, что давали нам наши руководители, каждый из нас стал бы гениальным поэтом — так много любви, тепла, доброты, таланта, труда и знаний было нам отдано.

Судьбы человеческие складываются по-разному. Не для всех бывших «семинаристов» литература стала основной профессией. Но, вероятно, я не ошибусь, если скажу, что все мы стали богаче и щедрее, для всех нас поэзия сделалась той частью бытия, без которой само бытие невыносимо.

¹ Вера Звягинцева. Вечерний день. Москва, 1963, «Советский писатель», стр. 15, 16.

² Вера Звягинцева. Зимняя звезда. Москва, 1958. «Советский писатель», стр. 14—15.

³ Вера Звягинцева. Вечерний день. Москва, 1963, «Советский писатель», стр. 25—26.

И вновь приходят на память строки из стихов Звягинцевой:

Слава жизни, строгой, быстротечной.
Слава избранному мной труду,
Русской речи, ясной и сердечной
На земле, в которую уйду.¹

* * *

Странная штука память. Странная — все всегда говорят об этом. Что ж, я не оригинальна, повторяю это вслед за всеми.

Сажу на пляже в Коктебеле. Час предвечерья. На море затишье. Кругом сиреневые тона. Только мыс Хамелеон выпадает из общего колорита — меняет, меняет, меняет цвет. Свинцовый, голубоватый, фиолетовый, охряный. На то он и Хамелеон.

На душе неуютно. Пустота какая-то. Холодок. Сумерки, что ли, так действуют?.. И очень мучают два слова «белые перила». Почему «белые перила»? Откуда это? Кто говорил о «белых перилах»?.. Стихи?..

И вдруг всплывает: «...Оставьте мне память о белых перилах...». Стихи, конечно, стихи! А дальше-то как?.. Дальше... Шелестит набегающая на песок волна, и — как вспышка — вспоминаю всю строфу:

Оставьте мне память о белых перилах,
О шелестах крымских ночей,
Ведь я и по смерти расстаться не в силах
С любимой землёю моей...

Это «Коктебель» Звягинцевой. Страстные и горькие стихи. А мне словно полегчало. Не знаю, почему. Может быть, потому, что большая любовь к земле, к природе всегда радость.

Вера Клавдиевна любила Коктебель. И море, и «обветренных гор очертанья», и жару. Помню, она говорила:

— Все твердят — жара, жара. А я не понимаю, что за жара такая. Уплываю в море, подалее. Коктебель и в жару и в ветер хорош. Уж лучше и не ездить, если кому не нравится...

Любила она Коктебель. А если любила, значит, и не рассталась с этой землёй. Осталась здесь — в стихах — для нас, для всех.

* * *

Коктебель... Но была и другая земля, которую любила Вера Клавдиевна. Земля, ещё более далёкая от Москвы, от дома в Хоромном тупике. Далёкая по расстоянию, но близкая по духу.

Вера Клавдиевна часто и охотно встречалась с людьми. Старалась не пропустить ни одного творческого вечера, где читали стихи её друзья — чтобы порадоваться чужому успеху, а в случае неудачи ободрить, поддержать добрым словом. И к себе приглашала. Всегда была гостеприимна, радушна, хлебосольна.

Но порой бывало иначе. Звонишь ей, напрашиваешься в гости, а она:

— Нет, сегодня никак. Мои армяне приехали...

«Мои армяне» — сколько тепла, сколько нежности вкладывала она в эти слова! Так говорят — «мои» — об очень дорогих сердцу людях: мои родственники, мои родные.

Вот ведь как бывает — кровного родства нет, а души, как одна душа. И судьбы сплелись — не расплести. Счастье в таком единении, и человеческое и творческое.

¹ Вера Звягинцева. Зимняя звезда. Москва, 1958, «Советский писатель», стр. 40.

Я не бывала в Армении вместе с Верой Клавдиевной. Не видела, как она встречается с дорогими её сердцу людьми и землёй. Впрочем, это даже хорошо: при встрече близких родственников третий не нужен. Но то, что она поведала миру о своей большой любви, известно и мне: её стихи об Армении, её переводы армянских поэтов.

Кто ещё сказал так о ручьях и озёрах любимой земли, как Звягинцева о «воде ереванской»:

Я пью её, как мира чистоту,
Как птица капли ливня на лету.¹

А какая сила, какая искренность, какая свежесть чувства в стихотворении «Когда напев армянской “Розы”...»! Всё стихотворение и, особенно, концовка —

. Лóзы
Её обветренных садов,
Налив тугих её плодов
Мне дороги, как лист берёзы.
И тут и там мой отчий кров. —

разве это не квинтэссенция любви?! «Отчий кров» — тут и объяснять нечего.

Повторяю ещё раз, Вера Клавдиевна Звягинцева научила меня многому. Научила, как переводить стихи. И — всей своей творческой судьбой — учила, что переводить.

Берись за перевод только тогда, когда чужой стих глубоко волнует. Когда поэзия иноязычная, порой очень далёкая и по реалиям и по колориту, вдруг дохнёт на тебя подлинностью чувства и, по чувству этому, станет родной.

Старая истина «не дай поцелуя без любви», не остаётся ли она верной и в данном случае — «не переводи без любви»?

Мне кажется, армянские переводы Звягинцевой прямое тому подтверждение.

Конечно, в переводе огромную роль играет мастерство. Но не будет поэтической подлинности даже в самом мастерском переводе, если переводчик не вложил в него частицу своей души. Если не почувствовал себя хоть на миг тем поэтом, который написал это стихотворение.

Перевод — перевоплощение. И в этом смысле искусство переводчика сродни искусству актёра. Влюбиться в образ и, лишь влюбившись, попытаться сыграть роль. Перевоплотиться, а не надеть маску. Влюбиться в стихотворение, и — если оно зазвучит в тебе, как твоё собственное — попытаться перевести.

Конечно, бывают неудачи. И, что греха таить, порой приходится переводить не только то, что волнует до глубины души. Но речь ведь не об этом. Речь о главном, о настоящем. О том, что можно назвать подлинным творчеством.

И вот я читаю и перечитываю переводы Звягинцевой. Армянские поэты — разные века, разные голоса, не похожие одно на другое дарования. А у Звягинцевой — удивительно! — и то прекрасно, и это, и это... Как же так? Такое разное — и всё она перевела? Да, всё она. И всему веришь, всё — правда. Значит... она любила! Перевоплощалась, охваченная любовью. Не уставала перевоплощаться, как не уставала радоваться «розово-рыжим горам», «лиловатым снегам Арагаца», «лимонным тополям», «совсем сухой» траве — всей «горькой и грубой» красоте той земли, у которой «...душа велика — от Зангу до задумчивой Веги».

¹ Вера Звягинцева. Моя Армения. Ереван, 1964, «Армянское Государственное Издательство», стр. 23.

* * *

Весна ещё не буйствует, но уже входит в силу. Неделя, другая, и природа, сделав скачок, вырвется из зимы. Начнётся карнавал солнца, сумасшедших ручьёв и нарождающихся листьев.

В такие дни все учащиеся жаждут поскорее захлопнуть тетради и книги, выбежать на улицу. Все, только не мы.

...Кафе в Доме литераторов. В углу сдвинуты два столика. Кофе, минеральная вода, несколько бокалов с вином и неизменные «цедеэльские» бутерброды. За столом — весь, или почти весь, семинар. Нет, не торжество, а обычное кофепитие после занятий. Ужасно не хочется расходиться! Ещё немного поспорить, поговорить, почитать друг другу стихи.

От буфетной стойки к нам движется свежее-зелёная пирамида. Апрель на блюде — юные парниковые огурцы. Вера Клавдиевна идёт осторожно, блюдо держит двумя руками, сумочка зажата под мышкой.

За нашим столом восторженный вопль. Кто-то принимает у неё блюдо. Кто-то придвигает стул. Она садится. Как всегда, нарядная. Чёрное бархатное платье, кружевной воротник.

Чей-то голос:

— Какой натюрморт! Бледно-зелёные огурцы на фоне чёрного бархата...

Вера Клавдиевна живо оборачивается к говорящему:

— Спасибо, что и я в натюрморт попала! Но я вроде бы ещё живая... Ешьте скорее огурцы! Сразу будет видно, кто здесь «морт», а кто «не морт».

Хохочем. И едим, конечно.

Другой голос, не очень внятный — рот-то ведь набит:

— Вера Клавдиевна, вы обещали... Помните, то стихотворение...

Она взглядывает весело и чуть укоризненно.

— Какие ещё стихи, когда огурцы! Нельзя же всё в одну кучу. Ешьте огурцы, а стихи никуда не денутся...

* * *

Чтобы видеть прошлое, совсем не обязательно оглядываться назад и припоминать. И, вообще, тринадцать-пятнадцать лет не такой уж большой срок, если день сегодняшней стал прямым продолжением твоего вчера.

Я говорю сейчас о нашем семинаре и о себе. Так уж всё получилось, что это моё семинарское вчера не стало днём ушедшим. Оно катилось клубком, разматывалось, и ниточка, протянувшаяся от семинара, сделалась для меня путеводной нитью.

В пору зрелости с особой нежностью думаешь о своих наставниках.

Моим «крёстным отцом» в литературе был Николай Михайлович Любимов. Это он прочитал и одобрил самые первые мои переводческие пробы пера, он посоветовал заниматься в семинаре. Давид Самойлов привёл меня на занятия, подбадривая — не бойся, мол, всё получится. Мария Сергеевна Петровых, несколько позже, рекомендовала меня в Союз писателей.

А Вера Клавдиевна сказала те заветные слова «вы нам понравились», которые стали для меня путёвкой в творчество.

Не сомневаюсь, что многим говорила она подобные слова, говорила, вдруг поверив в человека и искренне желая, чтобы человек поверил в себя.

* * *

Порой мне кажется: стоит лишь снять телефонную трубку и набрать номер — К-5-85-59 (с буквой «К» обязательно, как в те годы), и я услышу низкий, очень характерный, не похожий на другие голос... Голос, который звучит в моей памяти со всеми его оттенками. Голос, звучащий в стихах Веры Клавдиевны Звягинцевой

Но... я не притрагиваюсь к телефону. Я открываю её книги. Читаю дарственные надписи — сколько в них тепла, сколько доброты! Это ли не встреча с дорогим для меня человеком...

А потом читаю стихи. И встречаюсь снова и снова с любимым поэтом, талантливым и щедрым в своём таланте, тонким, искренним, очень русским и очень современным.

Хочется мне рассказать об этих стихах. Но как? Как говорить? Показывать наглядно все их достоинства — мол, обратите внимание на то и на это... Нет, не могу. Не хочу, не смею анатомировать! Ведь стихи Звягинцевой — это нерасторжимое слияние души и плоти, это судьба человеческая. И... зачем пересказывать стихи — их надо читать.

Очень хочу, чтобы стихи Веры Клавдиевны Звягинцевой читали и перечитывали. Чтобы человек, ещё не знакомый с её поэзией, не просто открыл книгу, а сделал для себя радостное открытие.

Скажу об этом словами самого поэта:

Ещё б я хотела... но кстати ль
Такой разговор я веду? —
Чтоб юноша-книгоискатель
В двухтысячном дальнем году,
Найдя мою книгу, — истратил
Часок на неё на ходу.

...Юноша, найди книги Звягинцевой. Не бойся истратить на них время. Поверь мне, ты подружишься с этой поэзией. И — кто знает — может быть, отыщешь в ней новую, ещё никем не подмеченную красоту.

МАРИНА ПРИНЦ

«КАК ЭТО БУДЕТ — ЗЕМЛЯ БЕЗ МЕНЯ?»

«Всего же больше в жизни долгой любите солнце и стихи» — такой совет поэтесса Вера Звягинцева дала мне, четырнадцатилетней девчонке, в стихотворении, написанном в альбом, куда я трепетно собирала автографы писателей и поэтов, приходивших к нам.

Жизнь самой поэтессы была пронизана солнцем и стихами. Нельзя было себе представить Веру Звягинцеву не только день, но и час без стихов: она писала стихи, «как дышала», по её собственному выражению. Стихи и солнце были её верными спутниками.

Поэтесса любила путешествовать по родной стране и воспевать её. Любила «...костры, дороги, росы, мхи...».

Влюблённая в своеобразную «страну Макса Волошина» — Коктебель, в море, она как-то, перед моим отъездом туда, сказала: «Марина морская, кланяйтесь морю!»

Особую любовь питала поэтесса к солнечной Армении. Приезжала из Армении всегда помолодевшая, вдохновлённая её древней красотой, сердечными творческими встречами с поэтами Армении, и принималась за новые переводы стихов.

С писателем Иваном Алексеевичем Новиковым Вера Клавдиевна познакомилась ещё до революции, восемнадцатилетней девушкой, писавшей стихи. В 1922 году Звягинцева подарила Новикову первую книжку своих стихов — «На мосту» (М., 1922), с такой надписью: «Ивану Алексеевичу Новикову, чьи “Золотые кресты”¹ и “Любовь на земле”² сыграли когда-то большую роль в моей внутренней жизни».

На другой своей книжке — «Московский ветер» (М., 1926) Вера Звягинцева написала: «Всегда и навсегда мне милому Ивану Алексеевичу Новикову с любовью и уважением

автор

1927

20 января».

В 1924 году Вера Звягинцева выступала на юбилее И.А. Новикова (25-летие литературной деятельности).

У меня осталось детское впечатление: на Звягинцевой была кокетливая шляпка, которая ей очень шла. Смущаясь и краснея, она читала приветствие в стихах.

Когда Вера Клавдиевна бывала со своим мужем у Ивана Алексеевича в Еропкинском переулке, она неизменно читала ему свои стихи. Он обычно внимательно её слушал и делал, порою, замечания.

Звягинцева встречалась с Новиковым и в Союзе писателей и на Никитинских субботниках. Зимой 1924 года Иван Алексеевич долго хворал. Вера Клавдиевна писала ему: «Милый Иван Алексеевич! Очень, очень огорчена Вашей болезнью, поправляйтесь, не грустите и появляйтесь. Вас давно нигде нет, очень давно, а мне такое малое количество лиц из “литературных” радостно видеть — что, пожалуй, и никого без Вас не хочется видеть. Ни в Союзе, ни на Субботниках Никитинских».

Поэтесса относилась к писателю с глубоким уважением и вместе с тем, с каким-то открытым обожанием.

В самом начале 50-х годов, некоторое время, Звягинцева была секретарём комиссии по «Слову о полку Игореве» при ООП, которую возглавлял Новиков, как председатель.

¹ «Золотые кресты» (1908) — роман И.А. Новикова.

² «Любовь на земле» (1911) — пьеса И.А. Новикова.

Записки Веры Клавдиевны к Ивану Алексеевичу, где она «отчитывалась» о своей работе, полны юмора по отношению к самой себе, как к секретарю, и милых полушутливых признаний в любви к председателю.

Привожу некоторые из них:

«Дорогой Иван Алексеевич! По примеру прошлого раза — отредактируйте мне моё немелкое произведение и пошлите, а я перепечатаю. В. Звягинцева».

«Дорогой Иван Алексеевич! Я абсолютно негодный секретарь. Вот до каких лаконических протоколов довела меня моя занятость!

Не сердитесь

В. Звягинцева».

«Дорогой Иван Алексеевич!

Если что не совсем так, то, думаю, можно и с маленькими Вашими поправками оставить протокол.

Так уж особенно никто не будет всматриваться в его детали...

Совершенно очарованный Вами секретарь

В. Звягинцева».

«Дорогой Иван Алексеевич!

Протокол с каждым разом уменьшается, нежность к Вам — увеличивается.

В. Звягинцева».

«Самый чудовищный в мире секретарь просит прощения у самого очаровательного, милого, прелестного председателя, какого только можно вообразить, прощения за протокол, который даже генералу едва ли покажется нормальным!

Будьте здоровы милый, милый Иван Алексеевич. Привет Марине.

В. Звягинцева».

Приложение к одному из протоколов:

«Председатель очарователен, как всегда, что и вынуждает абсолютно негодного секретаря не подавать просьбу об увольнении.

В. Звягинцева».

Однако, перу «негодного секретаря» принадлежит одна из поэтичнейших вариаций (на темы «Слова» в советской литературе). Вариация В. Звягинцевой «Ярославна» вошла в сборник «Слово о полку Игореве» (Л., 1952).

15 января 1952 года в Центральном Доме литераторов им. Фадеева, под председательством А. Софронова, отмечалось 75-летие И.А. Новикова. Среди многих выступавших с адресами и приветствиями была и Вера Клавдиевна. Незадолго до юбилея Звягинцева прислала Новикову письмо:

«Милый Иван Алексеевич!

Если Вы не находите ненужным — или невозможным — быть может, на Вашем чествовании я могла бы прочесть стих, посвящённый Вам, я бы его переделала бы сильно — только немножко основы взяла бы (если он у Вас цел, помните — экспромт?). Пришлите мне его, тогда я совсем переделала бы.

Если неудобно и не подходит к типу вечера — то не надо.

Приду с удовольствием чествовать “моего Новикова” — привет.

В. Звягинцева».

Экспромт был послан. Поэтесса развернула его в стихотворный обзор, где упоминаются произведения Новикова разных лет: роман 1914 года «Дом Орембовских» («Между двух

зорь»), пьеса «Любовь на земле» (1911), повесть «Калина в палисаднике» (1913), романы о Пушкине (1936, 1944), сборник стихов «Тбилиси» (1944) и перевод «Слова» (1938).

На юбилейном вечере Звягинцева прочла:

Русский писатель. Вот именно это
Лестное звание — Ваша примета.
Вряд ли, в тиши переулков московских,
Где-то стоит ещё дом Орембовских,
Но, несомненно, что в новом тепле
Стала прекрасней Любовь на земле, —
Нет никакого препятствия ныне
Цвести в палисаднике Вашей калине.
Вы, с молодою завидною скоростью,
С Пушкиным вместе шагали над Соротью,
В резком свердловском морозе и вьюге
Были Вашим спутником «Пушкин на юге»,
Вы забирались в нагорные выси
Тропкой стихов, что писали в Тбилиси,
Вы проникаете снова и снова
В недра великого древнего «Слова».
На заседанья Комиссии, давеча,
Видели Игоря Святославича:
Он был доволен Вашей работой,
Вашим речам внимал он с охотой.
Мы же Вам все благодарны за многое, —
Издавна шли Вы прямою дорогою.
Благодарим Вас за ясность дум,
Умное сердце и добрый ум!

В марте 1957 года Вера Клавдиевна прислала Ивану Алексеевичу письмо, прочтя его книгу стихов «Под родным небом» (1956), которую писатель подарил поэтессе. В этом письме Звягинцева, как бы вновь, открывает для себя Новикова как поэта.

Как может минуть молодость, пока
Так сине небо, ветры так упруги...

«Я вошла в Вашу книгу, как в знакомый, хотя и не виденный раньше, сад. Та же калитка, что и в моём саратовском краю — саду. Дорожки и деревья — слова и мысли другие, но запах сада тот же.

Что это? Сад Бунина или сад Омара Хайяма?

Нет, это сад Ивана Новикова, которого я хоть и мало, но знаю лет с восемнадцати. Жалею я тех, кто его совсем не знает, как поэта!

Пронзительные, щемящие и всё-таки очень светлые стихи: «Невероятно умереть». Я помню, как я и мой покойный муж несколько дней твердили их, когда прочли в журнале.

Великолепное стихотворение «Репейник», великолепное само по себе, мне ещё особо дорого по концовке, где речь идёт о моём личном цветке — повилыке.

Прекрасны «Иней», «Донские стихи», «Всё счастье», «Присяду на пенёк», «Холодок».

Очень сильное, совершенное стихотворение «Ливень в горах» —

Я опрокинул бы всю мощь
В тюрьме телесной запертую...
...Я рву немой словесный плен...

Бесконечное количество афористических точных строк, вроде:

Не умея давать в половину,
Но умея всё сразу отдать.

Острые арабески и краткие записи — это всё из того же сада, ведь в саду бывают и шипы роз.

Главное в Ваших стихах — прозрачность слова и точность образа, несравненная “русскость” и мудрое, прохладное вдохновение.

Прохладное — не холодное, а свежее, чистое, сметающее сухую пыль. Очень оригинально и волнующе:

Юность моя, сады мои!
Юность моя, снега мои!

А “Равноденствие”, а “Старое дерево”! Да разве всё перечислишь?..
Спасибо чистому, мудрому, молодому поэту!

Вера Звягинцева.

27 марта 57 г.».

Летом 1958 года Звягинцева прислала Новикову сборник стихов «Зимняя звезда» (М., Сов. писатель, 1958) с такой надписью: «Милому, милому Ивану Алексеевичу Новикову с давней нежной любовью

В. Звягинцева».

Это было последнее поэтическое общение поэтессы с писателем.

МАРИНА ЧУКОВСКАЯ

ДОБРО ВАМ, ЛЮДИ!..

Три больших любви были в жизни Веры Клавдиевны. Звягинцевой: любовь к жизни, любовь к России и любовь к Армении. Все пишут об этом. Напомнишь — повторишься, а смолчишь — обеднишь её образ. И не только обеднишь. Эти три любви и определяли её: открытую людям, доброжелательную.

Мы познакомились с ней в конце сороковых годов и почти сразу бурно подружились. Оказалось множество общих интересов, общих взглядов, общих симпатий. И Вера Клавдиевна, и Николай Корнеевич в эти годы много переводили стихов и, естественно, работа сближала их. Оба отлично знали поэзию, особенно русскую, и наперебой, восхищаясь, читали стихи друг другу. Вера Клавдиевна была уже немолода, но подчиняться годам она и не думала.

Для других очень немолода,
Для себя — совершенно не старюсь.

У неё было редкое жизнелюбие, неприкрытое никакой философией. Просто люблю жизнь — и всё. Все её стихи, даже ранние, полны этой любовью.

Каждую ночь исступлённая дума:
Как это будет — земля без меня? —

писала она совсем ещё молодая в сборнике «Московский ветер», вышедшем в 1926 году. И там же:

Ах, не расстаться бы с этой землёю...

Такой страх был, что придётся когда-нибудь, — не скоро, не скоро ещё! — да расстаться с жизнью.

Восторга, горя и любви
Ещё б хватило на сто лет, —
Пусть мне сказали б: «Век живи»,
Я не ответила бы: нет.

А в следующем:

Как обидно умирать,
Как завидно жить на свете...

Цитаты из стихов о любви к жизни — бесконечны.
Своё неуёмное жизнелюбие она хотела передать людям.

Нет, ничего не забываем мы.
Но любим жизнь с такою силой,
С такою жаждой нескрываемой,
Что нас не испугать могилой.

Она была твёрдо убеждена, что всё тяжёлое, горькое надо переживать самой, а людям давать только радость.

Вот и я живу. Не плачу.
Часто очень весела.

От людей сиротство прячу —
У людей своя дела.

Совсем недавно умер муж Веры Клавдиевны. Она мало говорила о своём горе, старалась перевести разговор на другое. Но как-то в Коктебеле, возвращаясь степью с прогулки, я неожиданно наткнулась на Веру Клавдиевну. Спотыкаясь, шла она по кочкам, поросшим её любимой полынью, и плакала навзрыд...

Она умела быть счастливой. Такое свойство — великое счастье.

Один талант судьба мне подарила:
Уменья и без счастья быть счастливой...

писала она.

Я к теме смерти пристрастна
Не потому, что несчастна...

А уж если любила жизнь, то любила и молодость, не только свою:

Не надо слёз о молодости лить, —
Чужая ведь не менее прекрасна.

Она всегда верила людям, всегда искала в человеке хорошие стороны, прощала слабости.

Верую не в бога, в человека,
Пусть бывает слаб он и неправ.

Благожелательность, желание добра были так сильны в ней, что она сочинила себе «игру»: придумывала человека — и восторженно влюблялась в него. А уж тем, в кого влюблялась, извиняла все недостатки. Такое отношение у неё было ко всем друзьям. Полюбила — и навсегда. Ничто не могло поколебать её верности и преданности.

Людам нужен лишь свет любви,
А не злой холодок иронии.

Не только не хотела замечать недостатков, но и восхищалась. Николаю Корнеевичу написала как-то стихотворение:

Так понимать величие созвучий...
Самозабвенно голову закинув,
Из хрусталя и глиняных кувшинов
Пить медленно вино строфы певучей,
И вечно ощущать ледок у сердца
И строго презирать сентиментальность,
Забыв минувших чувств первоначальность,
Оттачивая сталь ума усердно —
Такой удел судьбою Вам отпущен...

Стихотворение полушуточное, а восхищения не скроешь!

Но была достаточно умна, чтобы не видеть недостатков в людях. Иной раз в разговоре и капнет несколько капель ядцу — и тут же, словно испугавшись, проворно накроет широкой волной доброты.

Она вообще любила придумывать «игру» и играть в неё. Из года в год мы бывали вместе в Коктебеле. В комнате Веры Клавдиевны всегда лежали фрукты, и мой сын, подросток-мальчишка, лазал через окно таскать их. «Воровство» было узаконенным, и надо было ви-

деть восторг Веры Клавдиевны, когда она рассказывала об этом.

— Ах! Митя опять бесшумно влез ко мне в окно и стащил персики, которые лежали на столе!

Я должна была ругать сына, он должен был оправдываться, а Вера Клавдиевна как бы сердилась — и ликовала. И всем было весело. Конечно, она неусыпно заботилась, чтобы фрукты всегда были на столе.

Крошечным отделением коктебельской почты в те годы заведовал молодой почтарь. Однажды, зайдя на почту, я увидела, как он томно склонился над розой, за отсутствием вазы воткнутой в чернильницу.

— Эта роза — как моя жизнь... — многозначительно промолвил он.

И началась «игра». Сейчас же было придумано, что я влюбилась в почтаря.

Закатным пламенем горя
Мадам влюбилась в почтаря.

Вера Клавдиевна мгновенно сочинила шуточные стихи, на которые была великая мастерица.

Я бродила уныльницей,
Но сверкнула заря —
Пышной розой в чернильнице
Рдеет жизнь почтаря.

и т. д.

Всё наше тогдашнее пребывание в Коктебеле мы играли в эту «игру». Была коллективно сочинена длинная «Почтариада», где стихов Веры Клавдиевны было больше всего. Сочинила и якобы послание моим детям:

Не ждите мать родную зря:
Она влюбилась в почтаря
И остаётся в Коктебеле
Ещё на две иль три недели.

А когда, приехав через год, мы узнали, что почтарь был — увы! — выгнан за воровство, Вера Клавдиевна написала «Эпилог почтариады»:

...На что мне сердолики, фернампиксы,
На что мне синей выси торжество?
Мой Аполлон — из плоти и из гипса
С работы снят, увы, за воровство!..

Шуточные стихи любила писать по любому поводу. И с дороги, с поезда, и к Новому году, и ко дню рождения, и просто так.

Николай Корнеевич назывался Эн Ка, Вера Клавдиевна — Вэ Ка. И Эн Ка постоянно твердил:

Дорогая моя Вэ Ка,
Ваше имя войдёт в века!

Уж и сияла же Вэ Ка!

Она никогда никому не отказывала в помощи. Но и не могла удержаться, чтобы с милой кокетливой улыбкой не похвастать: а вот помогла такому-то...

— Ну как не дать? Я не могу... Не умею... Не отдаст, конечно.

И пожимала плечами.

Любила свою негромкую славу, ценила своё, трудом и талантом завоёванное место в литературе. Радовалась успехам, похвалам, не таясь, так и сияла вся, когда хвалили её стихи. Любила все атрибуты женского существа: наряды, духи, шоколад.

— А я была в белой юбке, в белом свитере. Знаете, — как Сольвейг! — «играла» она. А было за 60.

— Ну что вы! Разве я была хорошенькая! Нет... Просто — миленькая!

— Что у меня осталось? Только плечи да ноги...

И привычным жестом оправляла глубокий вырез платья.

А видела совсем плохо, пальцем поддерживала падающее веко, спотыкалась, но не любила ничьей помощи, «играла», что — возраста нет. Помню, раз вытащили мы её на прогулку в горы. Начала Вера Клавдиевна отлично — шла бодро, старалась не спотыкаться, болтала, довольная. Но, наконец, вся взмокшая, вынуждена была признаться, что, пожалуй, останется и подождёт вот здесь, в тени, на холодке, нашего возвращения. А потом радостно вспоминала:

— Помните, помните, как мы лазали на Карадаг?

— Э-э! — махнёт рукой читатель. — «Комическая старуха!»

Неправда! Неправда! Слишком много было доброты в ней, жизнерадостности, жизнелюбия, — и совсем мало безобидных человеческих слабостей.

Как-то мы пригласили Веру Клавдиевну на встречу Нового года.

— Ах! — воскликнула она. — Я всё отменю! Скажу своему другу, своим подружкам, с которыми всегда встречаю Новый год, что я — у вас!

Помню, мы шумели, веселились, играли в шарады до утра, а Вера Клавдиевна терпеливо сидела, поддерживая пальцем падающее веко, не принимая участия в общем галдеже — и была в восторге. Милое её свойство, — никогда не портить общего настроения, легко включаться в него, никому не быть в тягость.

Второй любовью Веры Клавдиевны была Россия. И этой любовью полны её стихи.

Обещайте мне, что вечно будет
На земле существовать Россия...

И все слова к тебе дурны, как ложь.
Не по любви моей мой разум, —

писала она. Цитат можно подобрать множество.

Редко мне приходилось встречать такого органически русского человека. Она великолепно знала и любила русскую литературу, русскую поэзию. Любила русскую землю, русскую природу, русское искусство, любила русский язык. И не только любила — любят многие, — а тонко чувствовала и знала его. Говор её был чисто русский, её корёжило от неправильных ударений, от неверных словообразований. Вероятно, детство и юность в исконных русских местах воспитали в ней эту любовь.

Как оплачу я полной мерой
За жизнь в тебе, моя страна?!

А потом случилось, что она попала в Армению.

И куда же меня занесло?
От черёмух, плетней и акаций
Перекинуло к солнцу в жерло,
К лиловатым снегам Арагаца.

.
В детстве — рожь, курослеп на лугу...
А теперь не прожить мне и часа,

Не подумав о бурной Зангу,
О певучей весне Комитаса.

И возникла новая любовь — к Армении. Этой любви она была верна и предана всю жизнь.

Моя любовь к Армении похожа
На вечную любовь к моей земле.

Она влюбилась в неё сразу же, впервые побывав там.

Больше двадцати стихотворений посвящено Армении, армянскому народу, её поэтам, художникам. Множество армянских поэтов любовно и мастерски перевела она. И уже в немолодом возрасте решила выучить армянский язык, трудный и чуждый русскому уху. Помню, как ей было нелегко, как она радовалась чуть ли не каждому новому выученному слову.

Жизнь её была полна работой, общением с людьми, содержательна и интересна.

Всё было: одиночество, разлуки,
Проступки, и обиды, и страданья,
Лишь не было уныния и скуки
И равнодушного существованья.

Но судьба не пощадила Веры Клавдиевны. Не послала ей хотя бы «лёгкой смерти». Нет, — смерть коварно подкралась к Вере Клавдиевне, всегда с ненавистью отгонявшей её от себя.

Как? Там и августа не будет?
Ни звёзд, ни песен за окном?
Крик петушиный не разбудит
Тех, кто забылись вечным сном?

Не верю. Это невозможно.
Руками в воздух я вцеплюсь,
Врасту хоть в камень подорожный,
Но от земли не отступлюсь.

Не вросла она в камень. И от земли пришлось отступить... Не стало людей, которые разделяли её жизнь. Умерли её подруги с молодых лет, старинные друзья. Внезапно скончался Николай Корнеевич, бывший на десять лет моложе Веры Клавдиевны. До конца своих дней она неустанно повторяла мне, какой непоправимой катастрофой обернулась для неё его смерть.

Она вдруг как-то стремительно сдала, и старческие недуги одолели её. Очень плохо стало с глазами — усилилась давнишняя близорукость, веки не держались совсем. Из-за болезни глаз она почти не выходила.

После смерти мужа нехитрым хозяйством Веры Клавдиевны занималась пожилая женщина, давнишняя знакомая её. Время шло, старились они вместе, та состарилась раньше. Помогать Вере Клавдиевне она была уже не в состоянии. И родственникам пришлось увезти её на родину — умирать.

И опустел дом Веры Клавдиевны. Всё реже раздавались телефонные звонки, всё реже приходили гости. Всё, прежде бывшее лёгким и простым, стало сложным и трудным: и принимать, и разговаривать, и угощать. А совсем ещё недавно с какой охотой шли люди посидеть за столом во главе с радушной хозяйкой, выпить винца, посмеяться, поболтать, жарко поговорить о литературе, поэзии. В этот скромный, несколько старомодный дом, с уже чуть обветшалой обстановкой, где, казалось, и воздух был пропитан доброжелательством и добротой.

Помнишь летний вечер, тот, когда ты
В серый дом на Пятницкой пришёл?
Помнишь бурю Аппассионаты,
Тесноту, наш небогатый стол?

где ни одна встреча не обходилась без чтения

...стихов, стихов, стихов, стихов...

Друзья... Конечно, друзья и старинные подруги не оставили Веру Клавдиевну, по мере возможности облегчали её существование. Но и они были немолоды. Со своей жизнью справиться и то было нелегко! А при ней нужно было быть неотлучно — она была беспомощна, как младенец. Ни дочери, ни сына у Веры Клавдиевны не было.

И многолетний преданный друг Веры Клавдиевны стал её верным слугою. Стал заниматься её литературными делами, хозяйничал как мог. Вера Клавдиевна ещё продолжала переводить. За неё он вёл переговоры с редакциями, хлопотал, волновался не меньше чем она за её литературный успех.

Я ходила к Вере Клавдиевне, и сердце сжималось, видя, что жизнь, которую она безудержно, восторженно любила, так жестоко поступила с ней. Вот она сидит в кресле, у стола, постаревшая, чаще молчит, не участвуя в нашем разговоре. Украдкой наблюдая за ней, я не раз замечала — дремлет... А друг её, неумело, как и все мужчины, хозяйничает: то забудет поставить на стол сахар, то прольёт чай... Но ещё тлели остатки прежней жизни едва-едва, ещё оставалась работа, ещё не остыл интерес к литературе...

Очень хочется жить. Очень мало осталось.
Как бы перехитрить беспощадную старость?

И внезапно друг её умер. Умер неожиданно: почувствовал себя плохо, ушёл домой, чтобы не обременять Веру Клавдиевну, слёг, попал в больницу — и вскоре скончался.

Положение Веры Клавдиевны стало отчаянным. Друзья нашли какую-то женщину в помощь. Помощницы эти сменялись не раз, и Вера Клавдиевна терпеливо сносила их грубовато-небрежное отношение к себе.

В любимый Коктебель Вера Клавдиевна уже не ездила. Пришлось летом жить в подмосковных Домах творчества.

Летом 1972 года, в совершенно беспомощном состоянии, Вера Клавдиевна вместе со своей очередной компаньонкой жила в переделкинском Доме творчества. Уже не работала, сидела в кресле, на крылечке, чаще лежала. Вспоминала, возможно, прожитую жизнь, вспоминала, быть может, что писала когда-то:

И ясен будет мне весь трудный путь земной,
И жизни крикну я:
— Да, ты была прекрасна!

Жизнь её была прожита ясно и честно. Доверчиво и открыто рассказала она о себе в своих стихах. Большой подарок судьбы быть созданной так гармонично!

И однажды упала — видела она едва-едва. Упала и сломала себе бедро. Почти непоравимое, роковое увечье для старых людей. Покорно лежала, боли почти не чувствовала. Встревоженные её состоянием, друзья устроили её в больницу. Оказалось, что без операции не обойтись, надо было сложить раздробленные кости.

— Она погибнет без операции, — сказал хирург. — С операцией... — он развёл руками. — Есть какой-то шанс. А так — никакого...

Я навещала её в больнице. Кроткая, тихая, лежала она, покорно дожидаясь своей участи. Очень беленькая-беленькая, не по старушечьи белокожая.

Операцию она перенесла. Когда разрешили, я пришла к ней. Она была в дремоте. Смотрю — точно шепчет что-то, шевелятся губы. Я нагнулась ближе. «Милая, милая», — еле слышно шептала она.

Через несколько дней она умерла. Ночью, совсем одна. Никто не знает, как. Никого при ней не было, никто не держал её за руку, никто не принял её последнего вдоха.

Была ранняя золотая осень, не все ещё съехались в Москву, поэтому на её похоронах было немного народу. Добрыми, хорошими словами говорили о ней немногочисленные друзья.

Потом свезли в крематорий. Всё было кончено. И все разошлись.

Армения поставила ей памятник на могилу в Переделкинском кладбище, где покоится её прах. Она заслужила его. Прекрасен памятник из розового туфа скульптора Самвела Казаряна. Всего два слова начертаны на надгробии: «Вера Звягинцева».

ИОСИФ ГРИНБЕРГ

ЖИЗНЬ В СТИХЕ

Что и говорить: воспоминания, которые почему-то обычно называют «личными» — как будто они могут быть иными? — занимают всё более заметное место в нашей литературной жизни. Читатели хотят знать, каким был в житейском обиходе создатель духовных ценностей, как складывалась его судьба. Однако, стараясь узнать получше черты дорогого нам мастера слова, его биографию, его отношения с людьми, мы далеко не всегда можем удовлетворить наш интерес, обращаясь к его творчеству, даже в тех случаях, если речь идёт о поэтах лирических. Открывая свой ум и сердце, делаясь переживаниями и раздумьями, они подчас оставляют в тени обстоятельства своей жизни и их шедевры, их «главные» стихи говорят отнюдь не об условиях повседневного существования. Попробуйте, в самом деле, составить представление о делах и заботах Афанасия Фета, или Фёдора Тютчева, или Иннокентия Анненского по их лирическим излияниям!

Но бывает и по-иному. В наше время классические образцы, «совпадения» биографии жизненной и образной явили Владимир Маяковский и Сергей Есенин. Взаимотяготение достоверного и поэтического стало характерной чертой литературной современности. Всё чаще обиходные наблюдения, поступки, чувства непосредственно и прямо входят в стих, становятся его «сюжетом», его плотью. Иногда возникают и досадные курьёзы, когда автор, ещё ничего значительного не сделавший и не испытавший, или не умеющий истолковать свой опыт, намеревается занять внимание читателя пустяками, сугубо ограниченного, домашнего порядка. Но эти несостоятельные претензии, без труда распознаваемые и отвергаемые, не имеют никакого отношения к подлинной откровенности и исповедальности поэта, живущего щедро, тревожно, естественно, способного **дышать воздухом своего века**.

Именно так, как известно читателю этой книги, сказала о себе однажды Вера Клавдиевна Звягинцева. И имела право **так** сказать. Вся её поэзия — свидетельство той причастности к стремлениям, бурям, заботам времени, которую ясно ощутили и радостно осознали все талантливые, честные, чуткие художники двадцатого столетия, воодушевлённые идеями Октябрьской революции. **Общая** эта направленность и стала основой, истоком **неповторимости, особенности** судьбы каждого. Мы твёрдо знаем: ни одного из ушедших и живущих нельзя заменить... Можно утешаться только тем, что строки, вышедшие из-под их пера, по-прежнему волнуют нас, по-прежнему воплощают драгоценные постижения, открытия. Так осталось органической частью нашей духовной жизни слово, произнесённое В.К. Звягинцевой. Оно как бы протягивает тонкие, нежные, крепкие нити меж самим поэтом и миром, её окружающим. И те, кто имел счастье хоть изредка встречать Веру Клавдиевну, беседовать с нею, с изумлением и почтительностью отмечают однородность впечатлений, оставляемых стихами, и тою, кто их создал.

Рабочий стол — жизненный центр квартиры в Хоромном тупике... Номер ереванской гостиницы... Гостеприимное и говорливое дружеское застолье... Комната писательского дома в Переделкине... Машина, везущая в древний Звартноц... Шумное собрание объединения поэтов... Какие различные «точки» встреч, бесед и с какой обаятельной цельностью, последовательностью, прямодушием ведёт себя, выражает себя Вера Клавдиевна, не скрывающая своих симпатий и антипатий, идущая на сближение с теми, кто ей пришёлся по душе и готовая подтвердить свою приязнь решительными действиями, неизменно верная в дружбе и беспощадная к малейшим расхождениям с истиной-правдой и истиной-справедливостью.

Такова она была в жизни, в общении с людьми самых различных профессий, национальностей, поколений. Такою её знали десятки, нет, сотни москвичей, волгарей, ереванцев, киевлян, тбилисцев, гостей столицы. А те, кто не имел счастья встретиться с нею на жизненном пути, тот может открыть книгу её стихов и узнать о том, что ей было мило и дорого, кого и как она любила, в каких краях побывала, чему была верна и чего добивалась. Иначе говоря, из каких именно слагаемых складывалась её духовная биография и какие источники её питали...

Давайте же пройдём по страницам книги стихов — книги судьбы поэта Веры Звягинцевой.

В одном из её «узловых», «ключевых» стихотворений находим строки, освещающие предельно глубинные недра нравственного самочувствия:

Если б там, нигде, меня опросили:
Чем же здесь ты счастлива была?
Я б сказала: я жила в России,
По её дорогам я прошла.

Да, именно здесь точно охарактеризована природа таланта Звягинцевой. Она была по-этом своей Родины, революционной России. С молодых лет она проходила чудесную школу великодушия и отзывчивости, способности соединять нежную преданность своей Отчизне с сердечным пониманием души других народов, ненависть ко всему мерзкому, подлому, своекорыстному с готовностью отстаивать высокие идеалы человечности и братства.

В первых её стихах запечатлены незабываемые дни детства, отрочества, юности. В самом начале двадцатых годов вспоминает она трудный 1919 — не тяжкие подробности быта её поразили, а «раскрытая младенческая радость и благодарность». И ещё — в стихах того же ряда — то «Сызрано-Вяземский путь», ведущий «к просекам, сосенкам, детству, девичеству»; то «Оливковая Кама», то «старый, заросший крапивою двор», и, наконец, самое важное, самое милое: стихи «К портрету матери», где воскрешены «сумрак предгрозя. Восьмидесятые годы. Первые поиски правды, добра и свободы» — наследие, принятое бесповоротно и увлечённо!

Проходят десятилетия... И уже в пятидесятых годах бережно воссоздаются впечатления давно прошедших лет, не только навсегда врезавшиеся в память, но и ставшие жизненной программой, определявшие направление нравственного роста: «Сбейте оковы, дайте мне волю. Я научу вас свободу любить». Эта прекрасная, исполненная деятельного свободолюбия песня была жадно, страстно воспринята услышавшей её девочкой в качестве руководства к действию. И много лет спустя появились стихи, звучащие, как строки автобиографии: «Может быть, был бы иным мой удел, кто её знает, людскую долю, если бы голос за речкой не пел: «Сбейте оковы, дайте нам волю!»

Да, образы ранней молодости неизгладимы; с течением лет они выступают всё рельефнее, насыщаются новым смыслом. Вот уже и в Ионическом море купалась Вера Звягинцева и «мрамор Акрополя трогала», а меж тем почему-то ей «снится и снится» маленький пыльный, глухой городок, воспроизводимый ею с удивительной точностью милых деталей, и она со вздохом признаётся: «Нет, не заменит ничто никогда мне первой любви моей к милой земле» — любви, отнюдь не сковывающей, не порабащающей, а ведущей в просторы бытия, позволяющей острее воспринимать их разноцветье.

Вместе с детством воскресает и юность, совпавшая с первыми годами революции. Вот они, «обросшие, с запавшими глазами, матросы восемнадцатого года». Поэт обращается к ним с призывом, с просьбой: «Из дальних дней в сегодня протяните незримые связующие нити». «Нити» протягиваются по многим направлениям; они идут и к собратьям по перу, и

к тем, что были учителями, наставниками Звягинцевой, благословили её на поэтический труд, и к тем, что были её ровесниками, долгие годы работали рядом с нею...

С благоговением воссоздаёт она «тот майский давний день, когда в аудитории московской увидела... профиль, как из воска, и услышала голос горький, жёсткий» — профиль Блока, голос Блока... Или, стоя у памятника Маяковского, вспоминает, как «шла репетиция “Мистерии”, и автор, вслед за режиссёром, работал методом доверия к зелёным молодым актёрам» — актёрам, среди которых была и сама Звягинцева!

Оттуда, из тех времён принесена и дружба с Павлом Антокольским, которому можно было с полным на то основанием, уже в пятидесятых годах, сказать: «Мы с тобою встретились в преддверье тех высоких дней в родном краю, от которых молоды мы вечно».

Так воспоминанье переходит в предвиденье, в осознание тех возможностей, тех постижений, которые принёс с собою многолетний труд — напряжённый и вдохновенный; принесла длительная причастность к большим социальным свершениям века. По мере того, как удлинялся счёт пройденных годов, в лирике Звягинцевой всё более властно слышалась тема «возраста». Тут, как и следовало ожидать, возникали и горькие ноты: «Под уклон пошло, под уклон. Я такая же, да не та» — со свойственной ей мужественной прямою и отказом от «сладких обманов» однажды заявила она. Характерно, что при этом она «оговорилась»: «Я, конечно, ещё могу»... и далее последовал длинный перечень тех дел, потребностей, поступков, желаний, которые остались в её повседневном обиходе и свидетельствовали о немалом количестве нерастроченной энергии поэта. В подобной «оговорке» не было и малейшего желания «уравновесить» печальное признание, прикрыть его розовой вуалью. Нет, Вера Клавдиевна в самом деле и в поздние свои годы многое желала, много добивалась, многое делала. Вместе с ощущением движения «под уклон» накапливаемый опыт принёс и открытие истин, прежде недоступных, неясных. В шестидесятых годах одно за другим появляются мудрые и проникновенные стихи, свидетельствующие о том, что преклонный возраст нередко обостряет ум и освежает сердце. С неподдельной страстью написаны строки, говорящие о тех, кто уже ушёл в «мир иной», но остался жить в любящих и памятливых душах:

И память всё меня уводит к милым,
Промчавшимся мгновеньям и часам,
Она меня приводит не к могилам —
К живым улыбкам, слову, голосам.

Другая грань той же «возрастной» коллизии — ощущение неизбежной, не слабеющей с течением лет жажды жизни и желание участвовать в её заботах. «На что мне уваженье, когда воображенье рисует всё иное, не сделанное мною...» — с досадою восклицает поэт.

А отсюда прямой ход к не менее важной мысли, к решительному осуждению действительно старческой брюзгливой склонности противопоставлять «нынешнее» и «минувшее». «Вот в наше время...» — передразнивает своего скучного собеседника (и ровесника!) Звягинцева. И тотчас же, как говорится, даёт ему отпор: «А сегодня чьё? Сегодня, завтра — тоже наше время». И тут же — вывод, соединяющий доброту, жизнелюбие и бесстрашие: «Не надо слёз о молодости лить, чужая ведь не менее прекрасна».

Вот какие убеждения и взгляды утвердились в душе и в стихе Веры Звягинцевой. Она любила жизнь, и жизнь отплатила ей сторицей — великолепной нравственной зрелостью и твёрдостью духа, — качествами подлинно бесценными, особенно на исходе дней человеческих.

Неудивительно, что она отказалась от писания воспоминаний. Посвятив этому решению особое стихотворение, она объяснила в нём, что попросту не чувствует себя способной «уместить в теснины мемуаров — пронзительные гроззовые годы», ею прожитые и пережи-

тые. А в предшествующих строках помянула тех, кто были главными героями её жизни, её **ненаписанных** воспоминаний — Блока, «Пастернака и Марину», Мейерхольда, Есенина, читающего «Пугачёва», Фадеева, беседующего с армянскими друзьями... Так предметно, наглядно доказывала она: «ковшом никак не вычерпаешь моря».

А о том, что жизнь Звягинцевой и в самом деле была, словно море, до неисчерпаемости обильна и разнородна, свидетельствовали её же собственные стихи. В них — и полнота нравственного бытия, и ясность мысли, и стремительность глубинных устремлений.

Воля к познанию мира, владевшая Верой Клавдиевной, разумеется, влекла её в странствия. «География» её стихов широка: тут и цветущая Полтава, и скромный Касимов, и блистательный Ленинград, и древний Переславль-Залесский, и очаровательный Коктебель, и более далёкие, зарубежные края — от Парижа до Туниса, от священных камней Европы до песков Ливийской пустыни.

В её пейзажи, городские или сельские, органически входят история, политика, человеческие судьбы. Стоя у Стены коммунаров на Пер-Лашез, она думает о былых и предстоящих жертвах борьбы; Зелёные Прилуки вспоминает, чтобы проклясть фашистских захватчиков (1943 год!); радостно говорит о Крыме, только что освобождённом (1944 год) от гитлеровцев; глядя с корабля на Стамбул, видит и красоту древнего города, и переживает «боль и кровь армянских ран»... Зрение её зорко, но и душа её чутка, оттого и стих её живёт с удвоенною силою.

В упомянутом только что стихотворении «Стамбул» находит властное воплощение страсть, озарившая поэзию Веры Звягинцевой, ставшая важнейшим устремлением и её стиха, и её судьбы.

Речь идёт о любви к Армении...

Ещё до Великой Отечественной войны, в том же году, когда Звягинцева с нежностью вспоминала о своей безвременно угасшей матери, как бы завещавшей ей верность высоким принципам революционной русской интеллигенции, было написано поэтом стихотворение, которое как бы открыло длившуюся затем четверть века беседу со страной, так властно и нежно покорившей её сердце. Имя страны не было названо, но угадать его было совсем не трудно, — ведь Звягинцева приводила такие точные приметы: «на столах там на глиняных блюдах трава. Воскеат — виноград знаменитый... Небольшая земля, да душа велика — от Зангу до задумчивой Веги. И отныне в стихах рифмовать я хочу Цахкадзорские розы с колхозом...».

А затем последовало прямое и пылкое объяснение, признание...

Как влюбляются в человека,
В голос, жест, висков седину,
Так под ветром большого века
Я влюбилась в одну страну.

Опять-таки поэт испытывает потребность ввести в свой стих реальные, неповторимые черты предмета своего обожания; тут и «сказочный рёв Дэбета» и ущелье Лори, и «складки розово-рыжих, этих словно слоёных гор», и раскопки Двина, и, наконец, ереванские пионеры... Как видим, чувство и здесь прочно поддержано наблюдением. Звягинцева словно старается как можно полнее, объёмнее узнать Армению — природу, культуру, историю, людей — подробно и слитно. Когда она рассказывает о посещении Мартироса Сарьяна, не легко определить, что более всего восхитило её — сам художник, созданные им образы, или прекрасная жизнь, в них воплощённая и преображённая — «горы из света и речитатив ашуга над рыжею глиной. И синие звери, и розовый дом, и женщина в тканях суровых». Она рада тому, что «всё было и жизнью и сказочным сном».

Сразу же после окончания Великой Отечественной войны, в 1946 году, было написано

стихотворение «Звартноц». Оно позволяет понять глубину впечатления, оставленного этой встречей. И вместе с тем предвещает нескончаемую череду новых и новых постижений, переживаний, которые дала поэту дружба с Арменией. Сказав здесь: «торжественней я не видала стран, воды не знала слаще ереванской», Вера Клавдиевна как бы обозначила и закрепила связь, принёсшую ей столько счастья, не прерывавшуюся и в военное время. Тому опять же имеется неопровержимое свидетельство в стиховых строках: два десятилетия спустя, в середине шестидесятых годов, Звягинцева вспоминает: «В Армении в сорок четвёртом зимой пел «Тёмную ночь» возвратившийся с фронта разведчик-поэт. Как он пел, боже мой!». Мемуарная достоверность и лирическое переживание здесь заключили неразрывный союз...

И идут одно за другим стихотворения армянского ряда... Однажды Звягинцева заметила: «Мне тяга к Кавказу, знакомая с детства, от русских поэтов досталась в наследство». Но, скажем прямо, наследие это ею и заново пережито, и весьма существенно приумножено. Каждое слово имеет самостоятельную жизненную, душевную основу, и ни малейшей стилизации, варьирования того, что было ранее сказано, здесь не обнаружить. Внимая «отчаянному» восклицанию Звягинцевой: «И вдруг как нахлынет, нечаянно, сразу, огромной волною тоска по Кавказу» — знаешь, что и сама встреча с желанным краем оказывается столь же бурной, что «напев армянской “Розы”», поэт слушает со слезами, что «нежность и пламень» творчества Исаакяна рождает глубокий ответный отклик, что от армянской пляски «обрывается сердце разом», а армянская песня — «такая, что все угрозы, все беды сбивает с ног».

Надо было испытать глубокую скорбь, вызванную кончиной Исаакяна, не спать до зари, следя за дымом над крестьянскими кровлями, ощутить, как «холодом древним дохнуло ущелье Лори», посмотреть на Арарат глазами Пушкина, едущего в Арзрум, попробовать вино Воскеваза — золотой лозы, увидеть «шоссе до Канакера в рубиновой заре», вспомнить и под тунисским звёздным небом журавлей из армянских стихов, чтобы свести всё это воедино, произнести слова обобщающие, итоговые: «Околдовано сердце моё красотой и горькой и грубой», признаться:

Я люблю эту мудрость веков,
Лебединые женские пляски,
Медь горячих тяжёлых стихов
И полотен сарьяновских краски,

и, памятуя раны Армении былых веков, сказать о своей ненависти к злодеям-убийцам. И, оглянувшись на пройденный путь, прийти к выводу, объединившему обе великие страсти, владевшие душою поэта:

Не будь Россия родиной моею,
Армению не любила б я!

Так тесно, дружно сочетались в стихе Звягинцевой разум и порыв, факт и воображение, постижение прошлого и преданность нынешним трудам. Оттого-то и запечатлели столь пластично её строки не только поездки, встречи, знакомства, поступки, вошедшие в её «анкетную» биографию, но и те суждения, верования, критерии, из которых состоит биография ума и сердца. Мы обнаружили, «вычитали» в её поэзии те реальные обстоятельства, которые, можно сказать, и стали возбудителями её вдохновения, побудили её взяться за перо. И вместе с тем, образная речь поэта покоряет своей высокой воодушевлённостью.

Благородные и справедливые истины, здесь высказанные, становятся общим достоянием, оказываются нужными всем нам. Вместе с тем, они остаются выражением личности поэта их добывшего и им приверженного.

«Жили мы высокой правде веря» — говорит Звягинцева о себе. И о нас!

«Не считай благодарность смешною и чувствительностью не зови. Вспомни тех, что вставали стеною “за великое дело любви”» — советует она молодому другу. И совет этот — к месту и ко времени.

«Знаю я слова простые, что не умрут, совершенные, святые: люди, родина и труд» — делится она самыми заветными убеждениями. Исповедь эта понятна, близка всем современникам доброй воли.

«И я ищу и в жизни и в поэме прекрасной — не красивой красоты» — рассказывает она. Речь идёт не о случайных прихотях вкуса, а о существеннейших эстетических мерках.

«Не берёт меня усталость — обернулся вечер днём» — с радостью замечает она ослабленную временем готовность к труду. И это счастливое состояние доступно многим её сверстникам.

Обращается она с просьбою к друзьям: «Обещайте мне, что сгинут войны, будут мирными поля и реки». И как много единомышленников, соратников находит она...

Вот что поведала нам Вера Клавдиевна в своих стихах с тем прекрасным мастерством, которое достигается благородством нравственных устремлений, уверенным владением образной речью, сродством со своим временем. Оттого сказанное ею слово и выразило с такой ясностью звенья её судьбы, черты её поэтического характера, этапы её биографии, — человеческой, гражданской, художественной.

АЛЕКСАНДР ДЫМШИЦ

ЛЮБОВЬ К АРМЕНИИ

Одновременно легли на мой письменный стол две книги: сборник стихотворений Веры Звягинцевой «Моя Армения» и № 1 журнала «Звезда» с продолжением поэтического цикла Александра Гитовича «Пир в Армении».

Я прочитал В. Звягинцеву и А. Гитовича и понял, что разделяю их горячие чувства. Да, Армения — это огромный мир поэтических переживаний и импульсов, мир переживаний, волнующих и прекрасных. Всё в ней чудесно: и эта удивительная, буйно-красочная природа, и эта древняя земля с её древней историей и культурой. Всё увлекает здесь чувства: и раскопки Двина, и Звартноц, Гегард, Гарни, и красота Араратской долины, и прохлада Севана, и каменистая почва Ленинакана.

Вера Звягинцева — тончайший певец армянской природы. Может быть, оттого, что она пришла впервые к армянским друзьям известным, зрелым мастером русской поэзии, её художественные впечатления оказались особенно яркими и резкими:

Не думала я в те мгновения,
Что этот июльский зной
И древние камни Армении
Навек овладеют мной.
Что дым над крестьянскими кровлями
Не даст мне спать до зари,
Что станут мне братьями кровными
Певцы твои, Наири.

Большая дружба В. Звягинцевой с Арменией длится уже много лет. Она дала богатые плоды. Вера Звягинцева горячо полюбила социалистическую республику Армению, этот непрерывно строящийся Ереван, колхозников и рабочих, учёных и художников. И она, и А. Гитович влюбились в творчество армянских поэтов, в их мудрое, философское искусство, в народ с его двухтысячелетней сценической культурой, с его певучей, чуть гортанной речью, с его песнями — весёлыми и грустными, в которых порыв и раздумье одинаково выражают светлую народную душу. Как хорошо говорит об этом Вера Звягинцева:

Узнаю эти нежность и пламень,
Это вечное детство мечты,
Эту землю, где даже сквозь камень
Пробиваются к солнцу цветы.
И сквозь милых мне черт угловатость
Светит в самой далёкой глуши
«Голубая хрустальная святость»
Неподкупной народной души.

Александр Гитович, мысль которого проникает и в прошлое армянского народа и в его современную жизнь, пишет и о великой дружбе поэтов России и Армении. Он приводит прекрасные строки С. Вартапяна: «Враги поэтов были всегда врагами армян» — и создаёт чудесное восьмистишие:

Армения сказала нам: «Друзья,
Никто вас не обидит нарочито —
Такая здесь налажена защита,

Что даже пальцем тронуть вас нельзя.
Стоит на страже маршал Баграмян,
Чтоб лезвием бесценного кинжала
Навек отсечь ещё живое жало.
Антипоэтов и антиармян!»

Есть в этом милом шутовском стихотворении и глубокая серьёзность — она в передаче того почитания искусства, которое живёт и в народе, давшем миру Пушкина, Толстого, Горького, Маяковского, и в народе, из недр которого вышли Саят-Нова, Туманян, Исаакян, Чаренц.

В сборнике Веры Звягинцевой представлены не только оригинальные стихи, но и стихи переводные. Вторая часть её книги — это, в сущности, маленькая антология армянской лирики. Тут и четверостишия поэта XVI века Наапета Кучака, поэта любви, мудрости, мастера афоризма, тут и лирика Саят-Новы, и стихи поэта свободы, единомышленника русских революционных демократов Микаэла Налбандяна. Тут и такие великие мастера, как поэт глубоких лирических раздумий И. Иоаннисиан, как Ованес Туманян, в котором В. Звягинцеву привлекла сказочная ирония, как Ваан Терян, певец природы и певец рабочего, красного знамени. В своих переводах из Аветика Исаакяна В. Звягинцева соперничала с крупнейшими мастерами поэтического перевода — В. Брюсовым, А. Блоком, открывшими русскому читателю творчество прославленного Варпета армянской поэзии. Переводами из Егише Чаренца она приблизила к сердцу русских читателей одного из замечательнейших лириков революционной эпохи.

Большая заслуга Веры Звягинцевой состоит в том, что она знакомит нас с творчеством ныне живущих и талантливо работающих армянских поэтов. В её книге читатель найдёт характернейшие образцы поэзии таких превосходных художников слова, как Сильва Капутикян, Гурген Маари, Маро Маркарян, Гегам Сарьян, Геворг Эмин, Ованес Шираз и многие другие поэты Армении.

Об уровне переводческого искусства Веры Звягинцевой мы можем судить по обстоятельному предисловию к её книге, написанному литературоведом Л. Мкртчяном. В этой статье очень хорошо показано, что в переводах В. Звягинцевой дан синтез истинно исследовательского подхода к армянской истории и поэтической культуре с вдохновенным литературным творчеством.

Приятно и радостно, когда дружба вызывает ответные чувства. Их нельзя не ощутить в статье Л. Мкртчяна, который пишет о переводческом труде В. Звягинцевой: «...мы видим настоящего, верного друга, много сделавшего для того, чтобы без потерь донести до русского читателя богатство содержания и форм поэзии Армении». Нельзя не ощутить горячей взаимности чувств и в превосходном стихотворении Сильвы Капутикян «Русскому другу».

Строками из этого стихотворения, обращённого к поэту и переводчице Марии Петровых, а вместе с тем и ко всем русским друзьям, строками, переведёнными с армянского Верой Звягинцевой, я и хочу закончить этот короткий отклик:

И пусть друг от друга живём далеко мы, —
Я знаю, что в снежной Москве для меня
Открыты всегда двери тёплого дома,
Что есть у тревожного сердца родня.
Мне кажется, предки, в тоске о свободе,
Искали такого тепла и добра:
Когда говорили о русском народе —
Они о тебе говорили, сестра!

Так было и есть. И да будет так!

ПРОДУМАННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ

Новая книга стихотворений Веры Звягинцевой¹ — книга глубоких раздумий о жизни, о времени, о задачах художника. В ней отразился жизненный опыт автора, духовно сложившегося ещё в начале нашей революционной эпохи.

Песни революционные,
Слышу я в сердце ваш ритм,
Юность моя отдалённая
В каждом их звуке горит.

Это строки, очень характерные для В. Звягинцевой, которая по праву современника вспоминает о бурях и натиске первых послереволюционных годов, о Маяковском, о Мейерхольде, о постановке «Зорь» Верхарна, об Александре Блоке — создателе «Двенадцати».

Традиции В. Звягинцевой — это традиции больших русских поэтов, — мастеров искусства, возвышающего человека, формирующего его нравственный мир. Как характерны для В. Звягинцевой и эти строки:

Обещайте мне, что люди вечно
Будут помнить Пушкина и Блока,
Что высокий дух и жар сердечный
Не исчезнут в пропасти глубокой.

У автора этих стихов — глубокое чувство времени. Вера Звягинцева чувствует, слышит шаги истории, — и бег времени, и связь времён. Она убеждена, что у нас

Не такая пора,
Чтобы жить лишь своею душою.
Нужно кончик пера
Окунуть в море жизни большое.

И поэт создаёт прекрасные стихи о России, идущей дорогой социализма, — о своей любимой родине. Ей — его любовь, — любовь поэта. И Армении, с которой русский поэт сроднился давно и крепко, о которой он создал чудесные стихи, поэтов которой он так любовно переводил на русский язык, — ей также посвящены отличные стихотворения.

В. Звягинцева далека от намерения передать стихами историю нашего времени. Но своими чистыми лирическими раздумьями, своими продуманными и пережитыми строками она вносит новые, свои штрихи в поэтическую летопись полувека. «Я пишу, как дышу... Но дышу-то я воздухом века». — Это тоже очень верные, очень точные слова, — это верная и точная автохарактеристика.

Я сказал, что чувства у В. Звягинцевой чистые и лиричные. Добавлю, что она обладает искусством слышать время, улавливать биение его сердца, обладает способностью почувствовать в человеке то, что — казалось бы — остаётся незаметным и потому так часто и незамеченным. И как же не поблагодарить В. Звягинцеву за то, что в громозвучном Маяковском она услышала и Маяковского лиричного, — гения, способного «разговаривать не очень громко и сердечно».

Вера Звягинцева — человек, одержимый беспокойными раздумьями о жизни, о назначении людей, о назначении поэта и поэзии. Она верит в бессмертие творчества, знает, что в людях «сильнее чем смерть, их жизни правота», что «уходит человек из дома, а песня в

¹ «Исповедь».

мире остаётся». И она утверждает мысль о том, что творчество — это всегда сердечная встревоженность, это всегда любовь к людям и вклад в великое дело изменения жизни. Тема ответственности поэта перед временем, перед народом звучит во многих её стихотворениях. Живёт она и в этих простых, глубоко прочувствованных строках:

Куда? Опять в любовь, хотя в другую. —
Ко всем и ко всему, чем жизнь светла.
Конечно, быть спокойной не могу я,
Когда такое на себя взяла.

Стихотворения Веры Звягинцевой просты, естественны, — они и в самом деле естественны, как дыхание. И тон у них — исповедальный, негромкий, тон доверительного рассуждения. Это действительно, — исповедь лирического поэта, — исповедь мысли и сердца.

СЕМЁН МАШИНСКИЙ

ДУША, ОТКРЫТАЯ ЛЮДЯМ

Она была человеком тихим, всегда и всюду старавшимся быть незаметным. В этом сказывалась какая-то поразительная деликатность её натуры.

Вера Клавдиевна считала главным делом своей жизни переводческую работу. Переводчиком она была редкостной художественной силы и способности проникать в душу другого поэта. Но она была вместе с тем и сама необыкновенно одарённым поэтом в собственных стихах, кои писала гораздо больше, чем печатала. И печатала, как бы стесняясь, словно бралась не за своё дело.

И в собственных стихах она стремилась говорить негромко. И, возможно, от того поэтический голос её казался таким проникновенным и способным глубоко западать в сердце читателя. Подобное впечатление оставляли очень многие её стихи.

Мне хочется рассказать здесь лишь об одном эпизоде.

В 1963 году вышла книга стихов Звягинцевой — «Вечерний день». Небольшая, но очень плотная книга. С ней связано у меня маленькое воспоминание, которое запечатлелось в открытом письме к автору, много лет назад опубликованном в одном из выпусков «Дня поэзии». Сейчас я перечитал письмо и мне подумалось, что оно без всяких «поправок на время» ложится в эту мемуарную книгу, посвящённую В.К. Звягинцевой. Вот оно:

«Милая Вера Клавдиевна,

спасибо за книгу «Вечерний день». Я получил её за час до отъезда, и она теперь уже который день сопровождает меня на всём пути из Москвы в Таллин и Ригу. Я уже её раза три перечитал и имею в некотором роде основание считать себя «звягинцевоведом».

Об этой книге надо говорить всерьёз и по большому счёту. Скажу Вам с полной убеждённостью в своей правоте: Вы написали превосходную книгу. Стихи в ней — упругие, мускулистые, с искрой и мыслью. Есть в них и акварель и светлая голубизна (не та, что — псевдоним лака, но та, которая создаёт ощущение сердечности и какой-то удивительной чистоты тона).

Ещё показалось мне: книжка получилась очень цельная и органическая. Это не сборник, но именно книга, написанная словно одним дыханием. В одном эмоциональном и психологическом ключе.

Мне особенно понравились такие стихи, как «Я пишу, как дышу...», «Под уклон», «Ты не снись мне...», «Зеркало», и многое другое. Особенно выразительно первое — не натужное, мягкое, очень личное и вместе с тем ёмкое, просторное, одухотворённое, как и вся книга, выражаясь Вашими же словами из одного стихотворения «воздухом века».

Не такая пора,
Чтобы жить лишь одною душою,
Нужно кончик пера
Окунуть в море жизни большое.

Эти строки вовсе не воспринимаешь как риторическую декларацию. Они эмоционально подготовлены тремя предшествующими строфами, главная мысль которых сконцентрирована в словах: «Я пишу, как дышу. По-другому писать не умею».

Самые «высокие слова» утрачивают риторический холод, если читатель уверовал, что они вышли из сердца, если они обожены сильным и искренним чувством.

Книга «Вечерний день» показалась мне и строже и ровнее «Зимней звезды» — предшествующего Вашего сборника. Та книга, вышедшая после длительного перерыва в Вашем

оригинальном стихотворчестве, была, как мне думается, несколько перенапряжена рефлексией. Хотя и там было немало отличных стихов. Я вспоминаю из этой книги острые, пронзительные две строки:

Я чувствую чужую ложь,
Как в грудь входящий острый нож...

Такие строки не придумаешь, они рождаются из самых глубин сердца и являются естественным результатом душевного, нравственного опыта человека. Но во многих стихах «Зимней звезды» преобладала почему-то грустная, минорная интонация — вот та самая «железная печаль в груди», о которой Вы писали в стихотворении «Памяти друга».

«Вечерний день» — книга более прямая и ясная, мужественная и зрелая. Почти в каждом стихотворении здесь находишь строку или строфу, которая заставляет тебя снова и снова перечитывать и передумывать все стихотворения.

Последняя Ваша книга отличается точным, мыслеёмким словом:

Скоро — в серебре и черни —
Ночь обступит немотой.

Этим двум строчкам из стихотворения «Вечерний свет», мне сдаётся, мог бы позавидовать самый взыскательный мастер! И какая-то она вся просторная, светлая, эта книга. Светлая даже в своей печали, кое-где мелькающей. Я вспоминаю стихотворение «Ты не снись мне...» — доброе и мудрое. Каким истинным душевным мужеством и глубоким человеческим чувством проникнуты все двадцать четыре строки этой нелёгкой лирической исповеди.

А сколько ещё других, не менее сильных и выразительных стихов находим мы в этой книге! Стихов очень разных, но единых в своей внутренней идейно-эмоциональной устремлённости.

Когда живёшь ты на просторе
И чувств не держишь под замком —
Чужие радости и горе
Становятся твоим стихом.

В этом четверостишии выражена, можно сказать, вся философия книги, её жизнеутверждающий и жизнестроительный пафос.

Впрочем, я был бы неискренен, Вера Клавдиевна, если бы старался внушить Вам, что все стихи этого сборника одинаково хороши. Нет, не все хороши.

Я мог бы назвать несколько слабых стихотворений: например, «Павлу Антокольскому», да, пожалуй, и «Улановой», да и «Памятки». На них лежит довольно заметный налёт и риторики и сентиментальности. Эти вещи — словно ещё не написанные, слишком лобовые. В них мысль не обрела ещё поэтической плоти. Каждое из них — материал для здания, но ещё не само здание. Но, может быть, эти стихи ещё более оттеняют то значительное, что содержится в Вашей книге.

И ещё подумалось мне: почему так скупно печатаете Вы свои оригинальные стихи? Два последних Ваших небольших сборника достаточно наглядно говорят о том, каким серьёзным Вы владеете поэтическим потенциалом, и сколь малая его доля, если иметь в виду количественную сторону дела, отразилась в этих книжках.

Здоровья Вам, Вера Клавдиевна, и неугасимой творческой энергии. Почаще вспоминайте о тех своих благодарных читателях, которые ждут от Вас новых прекрасных стихов».

Мне осталось добавить немногое.

Когда Вера Клавдиевна прочитала это открытое письмо, она позвонила мне и тихим своим шепотливым голосом недоверчиво спросила:

— А вы уверены, что нет в ваших словах преувеличений? Мне это очень важно знать...

Вот такой она осталась в моём сознании — человеком удивительной нравственной чистоты, безгранично преданным поэзии и абсолютно отрешённым от мирской суеты и в каждом дне горении за своим рабочим столом, отдававшей людям всю себя.

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ

«ВЕЧЕРНИЙ ДЕНЬ»

Существует безошибочный критерий поэтических достоинств книжки стихов. Если после того, как книга прочтена, вам захотелось продлить очарование и вы начинаете перелистывать её вновь, — вы можете с полным основанием сказать, что перед вами подлинная поэзия. Перелистывая вновь и вновь сборник «Вечерний день», я пожалел, что это пока ещё рукопись и я не могу стать её обладателем, чтобы и впредь возвращаться к этим стихам по первому зову сердца. Больше я, пожалуй, ничего путного не могу сказать, ибо трудно в презренной прозе объяснить, в чём же состоят самые достоинства. Тут лучше было бы просто цитировать стихи, но цитировать пришлось бы слишком много. Голос Веры Звягинцевой негромок, но это голос поэта, и с годами он становится как-то всё душевней, глубинней. «Вечерний день», настроению которого так отвечает тютчевский эпиграф, покоряет неувядающей остротой восприятия, высоким душевным ладом, сердечной добротой.

Стихи ею не пишутся, они рождаются произвольно, и строка «я пишу, как дышу» отнюдь не фраза. И в том, что «дышит-то она воздухом века», поэт тоже права; как ни интимны, казалось бы, её признания, как ни личны душевные пробуждения — всё это лицо советского человека, и радость, и боль, и грусть таковы, что найдут отзыв в сердце современника.

И какая заразительная радость бытия пронизывает стихи! Пожалуй, правы Мечников и Тютчев: с возрастом приходит к человеку душевное равновесие, неистребимый оптимизм и «в сердце не скудеет нежность». Творчество Веры Звягинцевой покоится на трёх китах: человечность, душевная чистота и благородство чувства, а это киты устойчивые, и от её книги отрадой повеяло на сердце...

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

ЕЁ ДУША БЫЛА ПЕРЕПОЛНЕНА ПОЭЗИЕЙ...

Вера Звягинцева принадлежит к тем чистым, светлым людям, без которых немислима атмосфера искусства. Её душа была переполнена поэзией — больше чужой, чем своей, что служит драгоценным признаком преданности смыслу искусства, который важнее мелкого смысла ежедневных, увы, неизбежных забот.

Она была в жизни трогательно близорука, но близорукостью по отношению к другим поэтам никогда не отличалась. Более того — в предвидении будущих возможностей ещё неоперившихся поэтов Звягинцева была дальнзоркой. Когда она написала:

Я чувствую чужую ложь,
Как в грудь входящий острый нож —

то это могло быть написано человеком, который и чужой талант чувствовал не менее остро.

Вера Клавдиевна была человеком необыкновенно отзывчивым к беде. Помню, как однажды мне нужны были деньги, а ни у кого из друзей их не было. Они так говорили. Межиров посоветовал мне обратиться к Вере Клавдиевне. Она сразу сказала: «Приезжайте», не успев опросить, когда я ей верну долг.

Вера Клавдиевна относилась так не только к русским поэтам, но и к тем национальным поэтам, которых она великолепно переводила.

Она была для нас всех доброй, весёлой, но никогда не ворчливой матерью. Она умела понимать и милые недостатки людей, умела не упрекать, а если эти недостатки переходили за грань совести, она была непримирима.

Без таких людей, как Вера Клавдиевна, поэзии трудно.

ТАМАРА ТУМАНЯН

СТРАНИЦА ЖИЗНИ

Вера Звягинцева была большим другом моей сестры Нвард Ованесовны Туманян. В нашем семейном архиве сохранились письма Веры Клавдиевны к моей сестре, которые я и представляю читателю. На мой взгляд, эти письма содержат интересные факты. В них выражена большая любовь В. Звягинцевой к Армении, к её богатой поэзии, к творчеству Ованеса Туманяна.

(1 июля 1939?)

Дорогая Нвард Ованесовна!

Спешу ответить, потому на открытке. Я, конечно, в Госиздате спрошу, почему Вам не пишут о сборнике, но, вероятно, Вы теперь уже узнали, что Хитарова в Ереване. Евгений сейчас в Грузии, на днях вернётся — ему скажу. Что касается моих переводов Туманяна, — они у меня только те, что были в зелёной книжечке издания Госиздата и в издании Арменгиза «Кот и пёс» — детское издание (я перевод с тех пор сильно изменила). Жаль, что Вам не нравится «Детство Туманяна». Мне эти стихи Тычины очень нравятся, о переводе не мне судить, но украинский ведь передаётся очень близко. Вчера у меня были Мартирос Сарьян и Люси Лазаревна. Вспоминали и Вас. Сердечный привет.

В. Звягинцева

(15—VII—39?)

Уважаемая Нвард Ованесовна!

Я получила письмо Ваше, где Вы говорите об исправлении в «Конце Зла». Я послала Вам в письме с новыми переводами и ряд исправлений в том числе и то, что я могла сделать с «Концом Зла».

Точнее передать невозможно. Старым же началом я давно уже недовольна и ещё Мартиросова просила изменить. Нужно так:

Стояла гора
Как время стара,
На ней деревцо.
И трое птенцов
Гнездились в дупле
В уютном тепле.

Точнее нельзя из-за рифмы и размера.

Напишите, пожалуйста, получили ли Вы моё письмо с поправками. Я послала заказным.

Адрес мой до 1 июля: Москва Хоромный тупик, д. 2, кв. 42.

Потом я уеду на месяц, но мне перешлют.

В. Звягинцева

(Июль 1943?)

Дорогая Нвард Ованесовна!

Я много раз обращалась в Армгиз и к своим армянским друзьям Гегаму Сарьяну, Рубену Зарьяну с просьбой прислать мне книгу Туманяна в издании Армгиза — никто даже не отвечает. Так много моих переводов, а я её даже не видела. Фадеев говорил мне, что получил

её. Книгу Гегамы он мне подарил, а то я и её бы не имела, хотя почти всё переводила. Деньги я за переводы тоже, по-моему, недополучила, т. е. за Туманяна. Пожалуйста сделайте так, чтобы я получила **книгу** и если числится, то и деньги. Нежный привет Вам.

В. Звягинцева

Я по-прежнему душой с Арменией.

(23—XII—43?)

Дорогая Нвард Ованесовна!

Большое спасибо за книгу, наконец-то я её получила. Очень хорошо составлена и отредактирована. Опять с удовольствием читала любимого мною поэта. Скучаю по Армении и возмущаюсь молчанием моих друзей. Всё же привет Исаакяну, Гегаму, Наири, Р. Заряну. Мартирос Сергеевич здесь, но у него нет телефона, а бешеная занятость не даёт возможности зайти к нему без звонка. Работаю очень много. От ужасов эвакуации оправилась. Но с армянского переводим мало — нет почти стихов. Перевожу много украинских, белорусских, Литву. Привет Вашему мужу.

В. Звягинцева

(1948)

Дорогая Нвард Ованесовна!

Слава богу, что Вам лучше и я в «Коммунисте» читала Ваши выступления. Путёвку в подмосковный Дом отдыха достать, конечно, можно, но заранее достать, а потом пропустить если Вас не будет здесь — неудобно. По-моему, если Вы приедете с Арпик — похлопочем и сразу будет можно достать, особенно если это будет июнь. Август — труднее, кажется... Был у нас в Доме Армении вечер Туманяна. Масса народу, прошёл хорошо. Кого Вы видите из поэтов. Здесь долго жил Наири. Мне пишут Эмин и Сильва. Привет Мушегу Лазаревичу и Сарьянам.

В. З.

(без даты)

Уважаемая Нвард Ованесовна!

Переводы мои стихов О. Туманяна следующие: «Братец-Барашек», «Пёс и Кот», «Зло-счастливые Купцы», «Конец Зла», «Со звёздами», «Ты почему меня забыл», «Примирение», текст стихов в прозаических сказках, переведённых Хачатрянцем. Кроме того, для нового издания я переводила «Дитя и Вода» и «Орёл и Дуб», которые Вам и посылаю.

Недавно я заново переделала перевод «Пса и Кота» (другим размером), посылаю его Вам.

В «Конце Зла» прошу сделать следующие переделки.

Начало:

«Стояла гора,
Как время стара.
Росло деревцо,
И трое птенцов
Гнездились в дупле
В уютном тепле».

Затем в речах Лиса вместо «Молчи, не спорь» нужно «Напрасен спор».

На стр. 144 вместо

«Ворона, кто ж?
Ну ладно, что ж»

нужно:

«Ворона... Кто ж?
— Отмщу за ложь».

И в конце вместо:

«Да сударь Лис, ты был хитрец»

нужно:

«Да, сударь-Лис, ты злой хитрец».

Если «Пёс и Кот» останется в варианте Гослитиздата 37 года, то переделать вместо:

«Простудился я, раскис»

нужно:

«Будь любезен, потрудись».

И на стр. 131 вместо:

«Гам, гам, гам, гам, гам, гам, гам,
Что ж ходить мне здесь и там»

лучше:

«Гам, гам, гам, гам, гам, гам, гам,
Лишь напрасный труд ногам».

В «Злосчастных Купцах» (стр. 136) вместо «Проценты, что я подсчитал», надо: «Я и проценты подсчитал».

В «Братце-Барашке» можно рефрен везде сделать вместо

«Сестра и брат
идут, грустят»

«Двое сирот
Идут вперёд».

Затем там опечатка, надо: «Едва по воде пробежит дрожь» (ст. 149).

И переделать на стр. 151 вторую сверху строфу.

Нужно:

«И вот, обольстивши, ведёт к воде
И в воду бросает, а дочь свою,
В царское платье переодев,
Посылает скорей в покой к царю».

В стихотворении «Примирение» первая строка последней строфы должна быть переделана. Нужно: «И тучами вновь покрыт небосвод».

С искренним приветом *В. Звягинцева*

Адрес мой: Москва, Хоромный тупик, д. 2, кв. 42.

(без даты)

Дорогая Нвард Ованесовна, не могу не высказать Вам своего огорчения и возмущения тем, что пишет обо мне автор книги об Ованесе Туманяне, в серии «Жизнь замечательных людей».

Если этому автору угодно не замечать того, что видит армянский народ и его лучшие люди, т. е. что я любовно и преданно и вдохновенно служу армянской литературе, что сказка «Конец Зла» и «Дитя и Вода» имеют неизменный успех в армянском обществе, если ему угодно оскорблять русских товарищей, служащих великому делу нашего братства, то всё же нужно внимательней следить за тем, что пишешь. Он говорит о критике моего перевода «Кота и Пса», которая была по поводу перевода сделанного в 36 году (он говорит о критике 37 года), но относит её к книге, изданной в Армении в 41 году, в который Вы же и сами, несмотря на то, что я просила Шервинского лучше взять перевод Маршака, напечатали мой новый перевод.

Это совсем новый перевод, вовсе не раскритикованный, так что всё это подтасовка и явное недоброжелательство. Я отдаю столько сил и любви армянской литературе и народу Армении в течение 15 лет и видела немало признательности от армян, начиная от Вашего правительства...

Мне очень горько, что в книге о дорогом мне поэте так говорится обо мне.

Сердечный привет Вам и Вашему мужу, если увидите и Сарьянам.

Вера Звягинцева

(9/II 51)

Дорогая Нвард Ованесовна, я позвонила Тихонову, прочла ему письмо (он очень занят, а я лежала в гриппу), он посоветовал послать в «Молодую гвардию»: и такое же письмо в «Правду», или «Литературку», лучше — в «Правду».

Если б я была здорова — я перепечатала бы и послала и в «Правду», но я в гриппу и нечеловечески занята.

Б.[ыть] м.[ожет] весной я несколько не в форме. Вы напишите сами в «Правду»... А в «Молодую гвардию» я уже послала.

Что касается новых переводов Туманяна — об одной книге я знаю: мне её приносили на просмотр по просьбе Мариэтты Шагинян, я поправила там несколько вопиющих вещей в переводах.

Переводы были больше старые, тогда как в Гослитовском однотомнике всё же лучше. Например — «Пролог» Петровых лучше чем Горнунц, я посоветовала его вставить. Была путаница! Одно и то же стихотворение было сразу в двух переводах рядом. Затем в стихотворении о Саят-Нове я изменила по согласованию с Арпик Ованесовной первые строки в переводе Спендиаровой. Они и по смыслу, и по ритму не подходили. Я сделала идейнее и вернее по ритму, т. е. соответственно следующим строкам.

Что касается будущего издания, конечно приму участие с удовольствием, несмотря на всю перегруженность работой.

Я считаю у себя удачным (и проверено это на публике многократно) только «Конец Зла» — остальное согласна переработать, и новое могу.

Гегам здесь и Сильва: мы видимся часто.

Сегодня юбилей бедного слепого и безногого Липскерова — 40 лет деятельности.

Я устроила, что будет и от армян приветствие.

Ну, будьте здоровы, не огорчайтесь нахальством Григоряна.

Привет Мушегу Лазаревичу.

Вера Звягинцева

(2/Ш.51)

Дорогая Нвард Ованесовна, я получила Ваше письмо.

Вы знаете, что Ваша телеграмма была без подписи и я ей придала совсем другое значение, и в голову не пришло, что это от Вас, у меня есть другие армянские сложные дела, и я думала о другом адресате и другом письме.

Как это случилось, что телеграмма без подписи? Теперь уже поздно отбирать письмо, напишите в «Молодую гвардию» всё что хотите. Адрес: Суцёвская, д. 21. Видите, я не виновата, хотела Вам услужить и «удружить»...

Извините. Но, по-моему хорошо, что Вы послали в Издательство, пусть знают. Достаточно убедительно.

Недавно был вечер-юбилей бедного слепого безногого Липскерова. Я отвозила домой Жанну Матвеевну Брюсову, говорили о Туманяне, она говорила по-армянски кое-что.

Привет Вам, Мушегу Лазаревичу, милому мне Еревану.

В. Звягинцева

(без даты)

Уважаемая Нвард Ованесовна, я получила Ваше письмо, разошедшееся с моим. Благодарю за указания насчёт «Орла и Дуба».

Ваши поправки: **Хоть** зелень ещё и «повалылась» — очень правильно.

Четвёртую строку сделать так: «Чья к жизни привязана крепче нить» и вместо

«А дуб расстелил извивы корней»:

А дуб распростёр извивы ветвей,
Глубоко вонзивши когти корней,
И веков недвижим он был...

В. Звягинцева

Москва Хоромный тупик 2 кв. 42.

(без даты)

Дорогая Нвард Ованесовна!

Так и не знаю, получили Вы журнал «Огонёк» с моим переводом Тычины «Детство Туманяна». Не знаю и в каком положении сборник Туманяна!?

Пожалуйста не полнитесь, напишите мне обо всём этом. Как часто, да, вероятно, ежедневно я вспоминаю мою любимую Армению, я вижу Гарни, Звартноц, я слышу прямо до остроты ощутимо зной, запах Армении, Севан. У меня много стихов об Армении, я послала их с Суреном Арутюняном в Ереван. В Детиздате будет выходить «Антология армянской поэзии» для детей к 20-летию Советизации. Там, конечно, будет и Туманян.

Из моего, кажется, «Конец Зла» и «Дитя и Вода» б.[ыть] м.[ожет] «Братец барашек», но про него говорят, что это интернациональная тема сказки.

Видите ли Вы Мартироса Сергеевича? Передайте ему мой нежный привет и любовь.

Привет Вашему супругу.

В. Звягинцева

P.S. Мои друзья армяне — Гегам Сарьян, Рубен Зарян, очень туго отвечают на письма. Мне это грустно, т. к. моя связь душевная с Арменией нерушима.

В. З.

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

ЧУДОТВОРСТВО ЛЮБВИ

В последнее время мне стала бросаться в глаза одна прелюбопытная особенность советских поэтов-переводчиков. Они с таким увлечением воссоздают песни, предания, эпос и лирику того или иного народа, что мало-помалу проникаются к этому народу живейшей симпатией, отдают ему не только талант, но и сердце.

Переводя, например, грузинских поэтов, Борис Пастернак, Николай Заболоцкий и Николай Тихонов всей душой возлюбили Грузию. И Самуил Маршак, пленившись поэзией Роберта Бёрнса, стал питать самые нежные чувства к родине своего любимого барда.

То же произошло с Верой Звягинцевой, переводчицей армянских поэтов.

«Трудно назвать армянского поэта, стихи которого хоть раз не зазвучали бы на русском языке в переводе В. Звягинцевой», — говорит критик Л. Мкртчян в предисловии к её последней книге. Длительное общение с армянской поэзией заставило русскую поэтессу «пристраститься» к Армении. Вначале она сама удивлялась пылкости этого нового, ей непривычного чувства:

Я отказываюсь разгадать,
Что в меня эту страсть заронило, —
Очень русской была моя мать,
Небо севера было ей мило.

И сама я любила не зной,
А морозец весёлый и прочный.
Что же это случилось со мной,
Что мне в пышности этой восточной?!

...Не зови же смешным, не зови
Беспокойное это пристрастье,
В этой поздней нелёгкой любви
Мне самой непонятное счастье.

В 1964 году вышла книга её избранных переводов с армянского. Книга так и озаглавлена «Моя Армения». Переводам предшествует цикл собственных стихотворений Веры Звягинцевой, которые можно назвать гимнами этой стране, её пляскам, её песням, её Арапату, её Исаакяну, её Сарьяну.

Как влюбляются в человека,
В голос, жест, висков седину,
Так под ветром большого века
Я влюбилась в одну страну.

И в другом стихотворении снова:

Торжественней я не видала стран,
Воды не знала слаще ереванской.

Своими стихами, посвящёнными Армении, В. Звягинцева продемонстрировала, до какого накала может дойти это чувство, зачатки которого — в восхищении армянской поэзией. Явление знаменательное.

Письмо К. И. Чуковского к В. К. Звягинцевой

Драгоценная Вера Клавдиевна!

Спасибо за великолепную книгу¹. В книге этой три отдела: статья Л. Мкртчяна, стихи Звягинцевой, переводы армянских стихов — и все три отдела прекрасны, все три на одной высоте. Мкртчяна я читал с завистью: умно, изящно, убедительно, лаконично: вот как нужно писать о поэтах. Если бы мне случилось писать о Вас, я не мог бы написать лучше. Точно так же я не могу представить себе лучших стихов об Армении, чем Ваши стихи. Я никогда не был в Армении — мне не выпало этого счастья — но после Вашей книги меня потянуло туда, и я целый день повторяю:

Не миндаля, не печаль — сила гордой души
И прямые слова и поступки.

И мне очень жаль, что мне 83-летнему уже никогда не услышать,

Как поют армянские дети,
Как гортанной бронзой звенят.

А переводы... Мне кажется, «Конец Зла» Туманяна можно было бы издать отдельной книжкой в Детгизе с яркими рисунками. Все поэты в Вашем переводе — талантливы, и мне чудится, что «Забытый колокол» в подлиннике может быть слабее, чем у Вас. Хороша Капутикян: «Марии Петровых», «Слово сыну»; — Граши «Два огненных цветка», словом, книга обогатила меня очень.

Выпадает из всей книги, как мне кажется, «стих» Ованесяна «Глаза твои» — отношение к женским глазам, как к чему-то съедобному, «у самой давилъни...», нет, не согласен.

А в общем, если Вы хотите знать, что я думаю о Вашем творчестве, прочтите статью Мкртчяна.

Ваш К. Чуковский

(17.3.65 — по почтовому штемпелю)

¹ Речь идёт о сборнике В. Звягинцевой «Моя Армения», Ереван, 1965.

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА БЕСКОРЫСТИЕ

В октябре 1948 года в Москве в Доме культуры Армении состоялся творческий вечер Веры Звягинцевой. На вечере было прочитано публикуемое письмо П. Антокольского.

К моему большому сожалению, внезапный отъезд из Москвы лишает меня возможности присутствовать на этом знаменательном вечере поэзии в Доме культуры Армении и самому принять в нём участие. А участвовать мне, конечно, очень хотелось. Прежде всего потому, что вечер связан с творчеством старинного друга и, как говорится, «однокашника», поэта Веры Клавдиевны Звягинцевой.

Позвольте же мне этим несовершенным образом, то есть в форме письма — заполнить пробел, который образовался в объявленной программе вечера.

Условия дружбы и культурного общения между братскими республиками нашей Родины открыли перед нами, советскими поэтами, очень большие возможности и широкие перспективы. Вот уже в течение второго десятилетия мы не перестаём радоваться этому общению, каждый раз переживая его, как нечто новое, неожиданно подаренное нам историей. Пускай дело началось с каких-то робких переводов, с ещё плохо понимаемых подстрочников, с коротких поездок в чужую, мало или совсем незнакомую страну... Всё равно, как бы ни началось, это совсем не важно. Но сколько из нас, советских поэтов, почерпнули даже и в таком начале стимул для работы, для вдохновения, для освоения нового, обаятельного материала, который потом входит в твой собственный стих, наполняет его новыми свежими образами, новым движением и животворит. За это можно только благодарить судьбу.

Когда в начале 30-х годов мне довелось впервые побывать в Ереване, я очень живо и остро ощутил это — да, именно здесь, в этом далёком путешествии может и должна начаться новая, неожиданно интересная, заранее интригующая глава в повести моей жизни. Так оно, пожалуй, и произошло. Сейчас не стоит на этом останавливаться. Скажу только, что здесь сошлось многое: и впечатление от седой Армении, и двуглавый Арарат, который запросто кивал нам в окна гостиницы, и грандиозное строительство нового города, его театров и площадей, и прежде всего, конечно, люди. Люди сегодняшней Армении, их горящий темперамент, их высокая работоспособность, их воля к труду, их патриотизм.

Через несколько лет, года через два-три то же самое произошло с Верой Клавдиевной. Она тоже пришла в Армению, к её культуре и поэзии, уже далеко не начинающим поэтом. За её плечами были и стихи, и циклы стихов, и книги, напечатанные и ненапечатанные. И мы, её друзья, всегда радовались тому, что Вера Звягинцева нашла там, далеко на юге, источник вдохновения, нечто родственное душе, — даже, может быть, и по контрасту родственное. Ведь это часто бывает.

Здесь необходимо подчеркнуть, что Вера Клавдиевна Звягинцева серьёзный, значительный поэт, со своим путём, со своей, давно уже ею прочувствованной и строго, безраздельно ей присущей темой и интонацией. Вчитайтесь заново в новую её маленькую книжку «По русским дорогам». Она вышла уже после Отечественной войны. С этих лирических страниц на вас дохнёт и романтической женственностью, и пристрастием к старым, так называемым «вечным» атрибутам лирики. И кроме всего прочего нельзя не почувствовать крепкой связи поэта с родной землёй, родной историей, родным языком.

Недаром в стихи Звягинцевой так часто стучатся, как добрые знакомые, как друзья — великие тени прошлого, вечные скитальцы и спутники нашей легенды — тут и Пушкин, и Грибоедов, и Рылеев, и Огарёв... Недаром с таким трогательным волнением, оглядывая жизненный путь своей рано умершей матери, Звягинцева не может не вспомнить в первую очередь: «Ты мне оставила старый некрасовский том». Или, вспоминая собственное детство в саратовском крае, она обязательно должна населить эти милые волжские места старинными, книжными знакомцами — Радищевым, Чернышевским. Всё это не книжность, а совсем другое — родная культура, воспринятая как стихия, естественная в лирической поэзии, соприродная самому вдохновению. Это очень хороший признак, он делает творческое лицо Звягинцевой непохожим на лицо соседей, заставляет запомнить её и полюбить, как одного из обаятельных поэтов нашего поколения, поэта-патриота, пронёсшего сквозь свою долголетнюю творческую жизнь любовь к России.

Тем значительнее была встреча Звягинцевой с армянской поэзией. Я не говорю уже о переводах. Их можно считать образцом искреннего служения чужой лире. Переводчиков трактуют по-разному. Всё-таки самое справедливое отношение к ним — это благодарность за бескорыстие. В большинстве случаев они остаются в тени. А ведь перенести в чужой язык хрупкую лирическую вещь, не исказив её, не позволив аромату улетучиться, и при этом по возможности скрыть себя и собственное усилие, собственные издержки — это очень трудное и не всегда весёлое дело. Об этом стоит лишний раз напомнить. Кроме того, Вера Звягинцева автор собственной лирической книги об Армении. Но здесь уже должен зазвучать голос самой поэзии, сами стихи скажут за себя лучше, чем что-нибудь другое. Поэтому моя вступительная проза может считать себя исчерпанной.

Письмо П. Г. Антокольского к В. К. Звягинцевой

Милая Верочка, добрый, старый друг мой!

Если бы ты знала, как взволновал и порадовал меня твой подарок, твоя «Исповедь» — самая лучшая из твоих книг. В ней многое сказано обо всех нас, древних ископаемых, и от нашего общего имени или даже от нашего «лица». Стихи замечательные, и чем больше вчитываешься в них (говорю не обо всех, конечно), в отдельные строфы и формулы (а тут дело пахнуло не меньшим, чем формулы), тем больше горюешь вместе с тобой и с тобою же вместе и в унисон утешаешься высоким строем твоего чувства и твоей прекрасной души. Всё это, сложное и простое одновременно, нашло у тебя в стихах выражение совершенное по ясности, по какой-то особой прелести **языка**. Вот уже где владение родным языком — дай бог всякому!

Нет, правда же тут много побед, удач, предложений. Всё прочно и естественно ложится в строку, становится формулой.

Первое, на чём я застрял и ахнул — «Вместо мемуаров»... а потом пошло и пошло: «Военные песни», «Что это? Опять судьба», «Другу-переводчику», «Итог», «Смелякову», «Не сотвори себе кумира»... Но право не надо продлевать это перечисление... Ты ещё подумаешь, что я перелетал от стиха к стиху и листал книжку безоглядно.

И тут же рядом «Очень хочется жить, очень мало осталось», может быть, понравилось мне больше всего. А следом за ним «Зрение» («Мне близорукость не мешала» — настоящий автопортрет!). А ещё рядом — диалог с ангелами («Мы сопечалимся довольно часто...») — это просто **великое произведение великой русской поэзии**, иначе не скажешь!

Ну хватит называть названия.

Дело в другом.

В том, что как неправильно, несправедливо, непоправимо складывалась жизнь всё это последнее время, а оно продолжалось у нас с тобой, милая Верочка, около пятнадцати лет! Правда же!

За это время столько всего случилось, столько людей ушло навсегда, столько других пришло — на время (может быть, и на очень короткое, кто их знает!).

Мы с тобой делим эту — уже вполне глубокую и довольно редкую — старость. В противоположность тебе, я мало думаю **о конце**. Сказать честно — совсем о нём не думаю, хотя и был уже на коротке с безносой в апреле 65-го года. Но старость свою чувствую и сознаю полностью. Она действительно штука невесёлая и совсем не почтенная!

Верочка, ещё раз — спасибо за книжку. Дай бог тебе душевного покоя и бодрости. Я сразу понял, как ты близка и дорога мне, читая твои стихи.

Твой всегда

Павел

21 января 68 г.

АЛЕКСАНДР НОВИКОВ

КВАДРАТЫ МИРНЫЕ...

Помимо общих приёмов у Веры Клавдиевны и на Пятницкой и в Хоромном бывали мужские шахматные вечера. Как-то во время такой шахматной встречи Н.М. Белинский, А.С. Ерофеев, А.А. Новиков и Г.Н. Оболдуев написали шахматную оду «Его карьера», посвящённую Капабланке и начинающуюся так:

Когда божественный огонь
Объял младого Капабланку,
Кто знал, что деревянный конь
Пройдёт сквозь мир подобно танку.

Отрывки из этой оды были опубликованы в шахматном журнале «64».

Вера Клавдиевна одобрила её и вскоре сама написала стихотворение «Шахматы». Вот это стихотворение, написанное в феврале 1925 года:

ШАХМАТЫ

Посв. А. А. Новикову

Квадраты мирные — весы ума и зренья,
Раздумчивых часов спокойный холодок.
И шахматы и жизнь — фигур передвиженье,
И там и тут — ответственен игрок.

Бескровная борьба; безмускульны удары.
Умы фехтуют пешки, как клинки,
Не всё тебе, история, пожары.
Мы делаем историю доски.

Мы пробуем фигурками резными
«Быть иль не быть?» Лаэрт или Гамлёт?
Мы стали все философами ныне
От наших трудных и мятежных лет.

Я несколько раз разговаривал с Верой Клавдиевной о его опубликовании. Она неизменно отвечала: «Стихи написаны для тебя, делай с ними всё, что хочешь». И однажды добавила: «Меня смущает, что в слове “Гамлет”¹ ударение поставлено на последнем слоге...». По-моему, «Шахматы» — настоящие, хорошие стихи и не заслуживают забвения...

¹ В пору, когда писалось это стихотворение (1925), ударение на имени «Гамлет» было подвижным. Ещё у всех в памяти существовало ударение пушкинских времён (Гамлёт). Возможно, это продиктовано тем, что трагедия Шекспира пришла к нам сперва через французский перевод Дюси (**Прим. ред.**).

ГУРГЕН МААРИ

КНИГА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

На армянский язык переведены произведения многих поэтов братских народов. Перед нами недавно вышедший сборник стихотворений русской поэтессы Веры Звягинцевой «Зимняя звезда»; зимняя звезда — быть может, ещё и потому, что зимою звёзды кажутся более близкими, более яркими. Звягинцева настоящая поэтесса, непосредственная, с тёплой интонацией; правда и то, что для неё «стихотворение не источник земных усад».

Сборник не объёмист, небогато оформлен, но зато озарён щедрым внутренним светом. Портрет поэтессы принадлежит кисти великого Сарьяна, а над переводами стихотворений работали более десятка современных поэтов.

Вот уже четверть века как дарование Веры Звягинцевой служит большому и благородному делу ознакомления русского читателя с нашей армянской поэзией. Четверть века плодотворной и полезной деятельности — это ли не достойный юбилей! И разве возможно было обойти такую дату?

Настоящий сборник и есть знак признательности армянских поэтов Вере Звягинцевой. Вот почему «Зимняя звезда» — это больше, чем обыкновенная переводная книга.

В своём тёплом предисловии поэт Р. Ованнисян пишет: «Её златокудрая муза идёт по светлым путям русской поэзии, принося с собой драгоценные отзвуки русского фольклора, Лермонтова, Блока, Есенина и одновременно оставляя много простора для голоса самой Звягинцевой». Правильно замечено! В величественном и волшебном лесу русской поэзии звучит и её песня — то нежная и грустная, то жизнеутверждающая, но всегда задушевная, всегда непосредственная. Песня звучит... Но самой поэтессы не было видно. Многие естествоведы утверждают, что есть птицы, которые славятся только своим пением, однако, их не видит никто. Сегодня армянский читатель имеет возможность воочию увидеть поэтессу Веру Звягинцеву.

У поэтессы большое сердце, большое и любящее. Она любит родину, как свою мать, любит избу, где родилась, и даже дверь избы.

Нет, не стереть даже счастья избытку
Давнего детства любимый узор.
Я и во сне отворяю калитку
В старый, заросший крапивою двор.

Любит она:

Далёкий оклик петушиный
За огородами в селе,
Последний уголёк в золе...
Потом — сирень в начале лета,
Сирень не Врубеля, не Фета —
Сирень сиреневого цвета
В кувшине жёлтом на столе.

Этой сильной любовью любит поэтесса весь мир:

Я не ответила бы «нет»,
Пускай мечусь, тужу, скорблю,
Но этот трудный белый свет
Самозабвенно я люблю.

Так же сильно полюбила она Армению. И это не только любовь, но и влюблённость:

Как влюбляются в человека,
В голос, жест, висков седину,
Так под ветром большого века
Я влюбилась в одну страну.

Однако, не преходящи эта любовь и влюблённость. Поэтесса утверждает:

Ветром выписанные фрески
В камнях видеть мне довелось,
Полюбить навек этот резкий
Край сухого зноя и лоз.

Это первая и последняя любовь её. Не вериге? Читайте:

Торжественней я не видала стран,
Воды не знала слаще ереванской...

...Я пью её, как мира чистоту.
Как птицы капли ливня на лету.

Любить, так именно так! Звягинцева не боится обвинения в национальной ограниченности.

Посмотрите, с какой глубокой нежностью рисует она Мартироса Сарьяна за работой:

Мы видели счастье: спокоен и прост,
Художник работал с ним рядом.
Мы слышали счастье: под россыпью звёзд
Зурною звенела прохлада,

И пела страны этой славу она.
А розы качались, багряны...
Сияла Армения, отражена
В глазах Мартироса Сарьяна.

Кажется, только по-армянски можно было написать эти строки. Вера Звягинцева чувствовала по-армянски, написала по-русски.

В своём предисловии Р. Ованесян пишет, что «душа поэтессы... улавливает даже отдалённое звучание жизни». Но это не всё. Она умеет слушать... даже тишину. Вот четыре строки из прекрасного стихотворения «Звартноц»:

Здесь тишина... О, тишина... Такая,
Какой не знала я до этих пор.
Трава не шелестит — совсем сухая,
Орёл на камне крылья распростёр.

Когда поэтесса дома, у себя в Москве, она и тогда, как истинно любящая и влюблённая, не забывает свою Армению:

С чего ж на Садовой,
На Ново-Рязанской
Ищу я фонтанов
С водой ереванской?
На небе вечернем,
В полоске заката.
Ищу очертаний
Главы Арарата.

Разве не ясно? Всегда бывает так, если любят искренней любовью и тоскуют искренне. В цикле «Моя Армения» Веры Звягинцевой много задушевности, чувства и восторженности.

И вот наши поэты в знак взаимной любви и признательности сделали книгу её песен достоянием армянского читателя.

«Зимняя звезда» Веры Звягинцевой — книга очень светлая и очень родная нашей и её Армении.

ГУРГЕН БОРЯН

МОЛОДОСТЬ ДУШИ

Сборник стихов — это раскрытое сердце поэта. В нём — его радости и печали, его сокровенные думы и чаяния... Первое и самое сильное ощущение от книги «Зимняя звезда» — это неподкупная искренность. Поэтесса предстаёт перед читателем человеком, прошедшим большую, нелёгкую дорогу жизни, ясно понимающим, о чём пишет и почему пишет. Читая «Зимнюю звезду», ты чувствуешь, что с тобой разговаривает твой хороший, задушевный друг, ощущаешь ласковое прикосновение его руки, руки товарища:

Порою спросит кто-нибудь:
«Ну, как ты чувствуешь себя?»
Себя? Зачем?
Других, тебя,
Всех, с кем у нас единый путь,
Судьбу моей родной страны,
Удачу чьих-то ярких строк,
Дыханье городской весны,
Пыль неисхоженных дорог...

Поэтесса свою личную судьбу не представляет оторванной от большой судьбы народа. Единство и неотделимость этих судеб — основная и определяющая тема книги. Она ярко раскрывается уже в первой части сборника, в разделе «Зимняя звезда», где гражданские мотивы тесно переплетаются с переживаниями лирического героя книги и вырастают до большого обобщения в замечательном стихотворении «Партия». Родной Коммунистической партии, «великому началу всех начал», посвящает поэтесса свои взволнованные строки...

Вера Звягинцева ясным взглядом смотрит на жизнь, на пройденный путь Родины, на свою личную судьбу. Даже самые трагические темы, затронутые поэтессой, одухотворены удивительным жизнелюбием, мужеством и стойкостью души. Её лирический герой — человек, чья жизнь наполнена светлыми стремлениями, высоким чувством созидания, человек, который свой труд приносит в дар народу и в этом находит своё назначение и истинное счастье. Такому человеку неведома старость, его душа — вечно молода.

Вера Звягинцева всей душой и всем сердцем — подлинно русская поэтесса. Ей мило северное русское небо, ей до боли дороги русские просторы, ей дорог старый некрасовский томик — подарок матери. «По русским дорогам» — так назвала поэтесса второй раздел книги. Глубокая любовь к России, к русскому народу наполняет сердце её большим счастьем.

Немало вдохновенных строк своей книги Звягинцева посвятила братству и дружбе народов нашей многонациональной Родины:

Спасибо отчизне
За это богатство.
За чистое счастье
Великого братства!

Лучшее свидетельство этого благородного чувства — третий раздел сборника — «Моя Армения». В цикле — вся натура Звягинцевой-поэтессы, вся давняя, искренняя любовь к Армении, к её поэзии, к её людям. Звягинцева связала своё творчество не только с поэзией Армении — её великолепные переводы с украинского, белорусского, грузинского, кабар-

динского и языков других народов нашей Родины широко известны читателю. Однако имя поэтессы-переводчицы Веры Звягинцевой особенно дорого нам, армянским поэтам, армянскому читателю. Один из лучших мастеров поэтического перевода, Звягинцева многое сделала для популяризации лучших образцов поэзии Армении. Широкое знакомство с литературой Армении, знакомство с её историей и культурой, с её природой и людьми породило Звягинцеву с Арменией.

Поэтому так искренне и естественно звучит в устах русской поэтессы обращение к далёкой горной стране — «Моя Армения». Стихи Звягинцевой об Армении — это не плод наблюдений со стороны, не туристические скороговорки, а результат искреннего интереса, долголетнего общения и глубокого видения. Поэтесса узнала Армению и в стихах Исаакяна, и в «певучей весне Комитаса», и в полотнах Мартироса Сарьяна. Для поэтессы образ Армении — и в облике седой армянской матери, и в живописном ущелье Лори, и в садах Араратской долины, и в древних раскопках Двина, и в новых розовых домах Еревана...

Читатель закроет книгу Веры Звягинцевой с благодарностью, ибо он почувствует в ней взволнованный, идущий от сердца голос талантливой поэтессы, голос, воспевающий и утверждающий жизнь.

ИСПОВЕДЬ ПОЭТА

Каждая поэтическая книга — это выражение движений души, отражение внутреннего мира автора. И потому Вера Звягинцева свою новую книгу назвала «Исповедь». Название точное, определяющее и дух книги, и её содержание.

Я пишу, как дышу.
По-другому писать не умею.

По-другому и не писала Звягинцева. По-другому и не жила. Её красивая жизнь и её мудрые поэтические книги составляют единое целое.

К книге «Исповедь» Звягинцева прошла долгой и богатой поэтической дорогой. За плечами поэтессы сборники — «На мосту», «Московский ветер», «По русским дорогам», «Зимняя звезда», «Вечерний день» и многоязычный мир поэзии разных народов, к которому она обратилась как переводчица. Посвятив свой талант этому благородному делу, подытоживая этот труд, Звягинцева пишет в стихотворении «Другу-переводчику».

Нет, мы не годы продавали —
Кровь по кровинкам отдавали.

О Звягинцевой-переводчице много написано. Её мастерские переводы из армянской поэзии широко известны и оценены нашей литературной общественностью. Имя Звягинцевой — дорогое имя для каждого армянина. Одно из свидетельств тому — присуждение ей высокого звания заслуженного деятеля культуры Армянской ССР.

Но Вера Звягинцева, в первую очередь, — поэтесса. Вот что писал ей Горький ещё в 1927 году с Капри:

«Очень благодарю Вас за присланную книжку, очень. Думаю, я плохой ценитель поэзии, во всяком случае ценитель весьма субъективный, да и едва ли мнение моё нужно Вам, поэтессе, как чувствуется, вполне сложившейся».

С годами мужал талант Звягинцевой, поэтессы ясного ума, большой и светлой души. На протяжении всего своего творческого пути она оставалась верна русской реалистической поэзии и её богатым традициям. И потому в книге «Исповедь» Звягинцева пишет:

Чуждаюсь ложной красоты,
И в слове правды всё мне мало
Неоспоримой простоты.
Ищу теперь среди поэтов
Тех, кто не любит пышных слов,
И назиданий, и советов,
И рифм изысканных и строф.

Это — поэтическое кредо Звягинцевой. И подтверждение этому — книга «Исповедь». Новый сборник стихотворений Веры Звягинцевой — страстный, взволнованный разговор поэтессы со своим современником, человеком светлой, но нелёгкой судьбы, признание художника в любви к своей великой Родине, к России, к Армении, и подтверждение той большой мысли, что нет истинной поэзии в отрыве от своего времени.

И вот этим большим освещена вся книга Звягинцевой. Но у неё своя точка зрения, своё видение мира и человека. Об этом большом она говорит не очень громко, но сердечно.

Стихи Звягинцевой беспокожны, порою — драматичны. Но даже и тогда, когда печаль сменяет радость, беда — удачу, поэтесса восхваляет и утверждает жизнь.

Книга «Исповедь» — многоплановая и многогранная. Она отражает время и человека в историческом и личном плане, но в ней всегда ясна гражданская позиция художника.

В «Исповеди» Звягинцева вспоминает Стену коммунаров («Пер-Лашез»), где она возложила цветы на могилы рыцарей-коммунаров. В стихах «К первым годам революции», «Матросы восемнадцатого года», она воспевает начало нового века, бессмертную славу героев Октября. Через солдатскую песню в книгу входит тема Отечественной войны («Военные песни»), трагическая, но величавая, как наша победа над фашистскими ордами. И в этих, и в других стихах на гражданскую тему поднимается образ Родины, которой уже полвека и имя которой для поэтессы дороже всего на свете.

В «Исповеди» тема Родины мастерски переплетается с темой личной: человек и время, человек и общество, размышления о жизни, о прожитом, о долге и о дружбе, о любви и об искусстве. О чём бы ни писала Звягинцева — о радости или о печали, о товариществе или о потерях («Итог», «Пропавшая радость», «Зима и мужество», «Послушай, как это будет», «Вечерний свет» и другие), чувствуется биение горячего, беспокойного сердца, чувствуется влюблённость в жизнь человека и художника.

Звягинцева хорошо знает цену жизни. На её пути было «так много людей, событий, счастья и страданий», что она не может жить спокойно и бесстрастно.

И потому очень человечна «Исповедь». Она открывает перед читателем щедрое сердце поэтессы, её богатый внутренний мир, и этим богатством она обогащает всех.

Чистая человеческая любовь, любовь к ближнему, к другу, к товарищу, к Родине — это высший долг каждого, — утверждает поэтесса, ибо без любви нет жизни.

И потому товарищество — лучшее из слов, ибо «людям нужен лишь свет любви». И если жить так, то для души никогда не будет старости. И если придёт старость, если чувствуешь, что мало осталось, надо, как пишет поэтесса, перехитрить старость, надо удлинить закат, задержать весну.

И главное, что утверждается в книге: человек, пройдя через все испытания, все трудности жизни, остаётся сильным, влюблённым в свою мечту, в то, что несёт ему завтрашний день.

Тема нового человека и его любви к жизни в книге поднимается на высоту общественного долга гражданина той страны, которой выпала честь открывать на этой планете новые дороги, быть знаменосцем в борьбе за мир и свободу народов.

АМО САГИЯН

ПАМЯТИ ДРУГА

Когда в 1957 году умер Аветик Исаакян, Вера Звягинцева — она была в те дни в Тбилиси у своих грузинских друзей — писала:

...И в золотом прозрачном Сагурамо
Я плачу об Армении моей.

Сегодня армянские поэты оплакивают смерть Веры Звягинцевой — поэта России, но в равной мере и Армении. В лирике Звягинцевой живёт образ России с её бескрайностью, душевной щедростью, столь же великой, как и сама русская земля. О родной земле писала она, как о жизни:

Заглянуть в глаза России —
Как живой воды глотнуть.

Поэт русский, она по праву считала себя и поэтом Армении.

Моя любовь к Армении похожа
На вечную любовь к своей земле,
Не разберу, которая дороже,
Не гаснет жар в нестынущей золе.

В. Звягинцева — выдающийся переводчик армянской поэзии. Она перевела книгу великого средневекового лирика Наапета Кучака, она переводила, всячески пропагандировала современных поэтов. Все мы обязаны ей. Мне повезло, что именно в её переводах мои стихи впервые зазвучали на русском языке.

О многих из нас она говорила, как о своих сыновьях. Она открыла нас для русского читателя.

Я знаю, как высоко ценили её переводы и стихи Дереник Демирчян, Аветик Исаакян, Мартирос Сарьян, Наири Зарян. Они были её друзьями.

Я переводил стихи Звягинцевой на армянский язык. Меня поразило острое, щемящее чувство жизни в её стихах. Она была поэтом и человеком беспредельно жизнелюбивым и цельным. Есть у неё стихи о смерти. Но сколько жизни в этих её стихах!

Пусть каждый так и рассудит!
О небытии забудет.
Ведь если меня не будет —
Всё то, что люблю я, — будет!

В одном из своих последних стихотворений Вера Клавдиевна говорила «...Так и умру в две земли влюблённой!»

Мне хочется сказать, что так она и жила, влюблённой в две земли — Россию и Армению.

Приложение

Из неопубликованного
наследия
В. Звягинцевой



ВЕРА ЗВЯГИНЦЕВА

БАЛЬМОНТ

Эта фамилия, похожая на название птицы или растения, мне предстала со страниц «Русского богатства». В отделе библиографии кто-то возмущался упадочническими поэтами и приводил как бессмыслицу и выражение вредных настроений стихи: «Я жить не могу настоящим».

Мне, 15—16-летней провинциалке, не дошедшей до Пушкина, а доведённой сентиментальностью учителей словесности до Надсона и Апухтина — это было откровением. Во-первых, я тоже не намеревалась жить настоящим, во-вторых, в качаньи и лёгкости этих строк, да ещё гонимых почтенным «Русским богатством», мне чудилась какая-то магия:

Как живые изваянья
В искрах лунного сиянья...

Чего-чего только не говорит фантастическому и жадному до эмоций... гимназическому сердцу эти «анья» и «янья».

После, когда от Надсона и Апухтина созревание души и вкуса увели меня к Лермонтову и Блоку, — Бальмонт уже не нравился мне водянистым и холодноватым распевом, пустотой своих любовных (в сущности очень безлюбых) смыслов.

Но тень магии осталась вокруг имени-прозвища Бальмонт.

Первый раз его увидела в Политехническом. Его долго ждали. В публике — ропот и просачивающаяся сплетня — «пьян».

Наконец он вышел.

Многозначительная пауза — пауза помешанного, мнящего свой выход королевским. «Я опоздал...» — Как слегка гнусавый, но золотой колокол-голос... Пауза... «Потому что не мог не опоздать...».

Ну, конечно, восторженные аплодисменты. Эта величавость помешанного на королевском величии... или величавость ребёнка, проносящего среди взрослых свой убедительный мир и костюм сказочного короля — навсегда была с Бальмонтом. «Летучая мышь». Вечер писателей. Почти все назначенные уже выступили. В последнем антракте, в проходе партера какой-то повышенный тон, спор, полуюноша, полустарик в волосах из снопов солнечных лучей, с красным цветком в петлице, петушась и распевая обиженно и надменно, отлетает от собеседника, чтобы взлететь на эстраду. Надменно швыряет публике стихи. Уязвлённо, величаво и на шаг от беспомощного детского каприза — затопать ногами на этих... всех... Вызывающе кидает фразу: «Он мне нравится — коростель». Это он коростель — он... не выбранный королём поэтов, на каком-то идиотском конкурсе, избравшем Игоря Северянина. Бедный распетушившийся коростель.

Затем много лет — Бальмонт для меня только автор удобных к декламации трёх-четырёх стихотворений.

И вот в театре мы репетируем обольстительного «Севильского обольстителя» Тирсо де Молина. Даже сладкие цветочные стихи перевода Бальмонта не могут уменьшить прелести этой изумительной по лирике, уму и темпераменту пьесы. На чтении — Бальмонт. Вечернее солнце. Много актрис. Он тает в солнце и в женщинах. Затем Марина Цветаева, иронически дружащая с Бальмонтом, предлагает мне уже пойти к нему. Он узнаёт об одном моём сне, где из солнца выделяется его лицо. Он зовёт меня. Он болел. Воспаление лёгких. Время голодное, революционное. В комнате девочка, уже вся театральная — повышено и вежливо благодарит меня за присланные ей лоскутки для кукол. Маленькая сухонькая дама...

Ах, я узнаю в ней женщину в зелёном чешуйчатом, следившую за распевами Бальмонта несколько лет назад... В «Эстетике» («Общество свободной эстетики» — **Ред.**), где он, царственно и скандально протягивая руку от столика к первому ряду, требовал: «Элен, где моя книга!» Эта женщина возится у керосинки, но говорит так: «Поэт будет рад, поэт вам благодарен».

Поэт лежит, как [будто] позируя и... боже, что под этим огромным изумительным лбом цвета розового лепестка на солнце или цвета кожи грудного младенца.

Волны волос лежат прелестным руном. Клетчатый плед. Маленькие изящные ручки. Он чувствует, что осчастлививает кого-то... Он капризничает, объясняя, что ему блестит в глаза какая-то полоскательница. Он хочет капризничать, он хочет снисходить.

Он любит парочку на полочке, он привычно спрашивает:

— А из моих стихов что вы любите?

— «В моём саду есть розы красные...»

Он не может видеть во мне товарища, просто человека. Он видит женщину-поклонницу. Он спрашивает о ролях. Он говорит, что Джульетта — сталь... Что лучше Джульетты нет ничего.

Что пишу стихи, я молчу. Он воспринимает меня, как актрису. Ему нездоровится, ему варят манную кашу. Приехал какой-то племянник с мешком на спине. Но он ничего не слышит. Он помнит о том, что мужчина должен быть Дон Жуаном, он в плену своего стиха, в плену стиля эпохи, «стиля Бальмонта»... Он говорит глупости о том, что придёт ко мне ночью... Он зовёт меня по имени...

Марина фыркает в углу с Миррой-девочкой. Жена покорно принимает всё, что «хочет Поэт». Я смущаюсь, и отвожу его от шутовского тона.

Ухожу. Он просит остаться, ему нравится побыть в роли Дон Жуана, больного короля, обиженного женщинами поэта. Я ухожу, обещая принести ему чай, без которого он страдает. Я ухожу в восхищении от этой безобразной и прелестной, похожей на диск солнца, головы — обветренной ветрами всех земель и всех океанов, и в смущении от комической величавой лирики: этой аудитории.

Когда я заносу чай на следующий день, маленькая, сухонькая как змейка женщина у кухонной двери царственно говорит: «Поэт спит, поэт вам будет очень благодарен». Мне передавали, что он был в восторге от настоящего чая...

[1927]

ПОЕЗДКА В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

Из центра Тулы маленькие автобусы отходят каждый час и идут сначала городом, затем трясутся по выбоинам дороги среди полей до Косой горы, до торжественного в строгих чёрных линиях чугунно-литейного и цементного завода, высоко стоящего над редкими постройками, над обнажённым пейзажем осени.

По шоссе до Ясной Поляны вёрст шесть — семь. Грязь такая, о возможности которой просто забываешь в Москве и начинаешь догадываться только в Туле на окраинных тихих улицах.

Подсаживаемся на телеги крестьян, возвращающихся из Тулы в своё село около Богородицка. Соглашаясь довезти нас до Ясной Поляны, спрашивают: тамошние ли мы или имеем там родственников. Узнав, что и родственников не имеем, а хотим посмотреть дом Толстого, заявляют: «И охота вам!»

Нам — охота. И вот взбегаёт изгородь, обносящая облетевшие деревья усадьбы, круглые столбы въезда и налево — деревня.

По грязи... к маленькому дому, где с террасыходишь в переднюю. Не заперто. Идёшь по лесенке, которая сразу бросает вас в «Войну и мир», в «Детство» и «Отрочество».

Музей открыт. Наверху, гулкий от пустоты, старческий голос. Это — Илья Васильевич, худой и прямой старичок, бывший камердинер Льва Толстого, заученно, но с чувством настоящей любви и торжественности, говорит двум профессорам из Москвы и, затем, вошедшим нам: «Вот это — дед Льва Николаича, выведенный им в “Войне и мире”, в лице графа Ильи Ростова; вот это — отец ихней матери Волконской, изображённый князем Болконским». Великолепное, умное, в тонкой и углублённой надменности, глядит лицо «Николая Болконского». Столовая. Гостиная. Кабинет. Всё очень скромно. Кроме портретов вельможных дедов — ничего аристократического, пышного. Аристократичность простоты — только.

Вот Наташа Ростова — Татьяна Андреевна Берс-Кузминская — неожиданно оказывается совершенно некрасивой девушкой в локонах. Прелестное, умное лицо Китти — Софьи Андреевны. Илья Васильевич показывает на свечи: «Он их зажёл, он и потушил».

«Тут Льву Николаевичу подавали большую почту, а тут — завтрак.

Это — портрет известного Генри Джоржа, произведения которого Лев Николаевич очень обожал».

Тут же — Диккенс, Гаррисон, ратовавший за освобождение негров, — их тоже «обожал» Лев Николаевич.

Коса, оставшаяся от раздачи присланных в подарок крестьянам. Фотографии картин Орлова, изображающие бытовые сцены крестьянского мира. Пресс-папье из зелёного стекла, отшлифованное и поднесённое Льву Николаевичу рабочими хрустального завода после отлучения его от церкви. Подушка, вышитая его сестрой — «от одной из ста шемардинских дур».

Длинная терраска. Напротив — осень, земля, свежесть. Сюда вывозили в кресле больного Льва Николаевича, когда его хотели видеть толпившиеся внизу.

Тихие комнаты, деревянный пол, потрескавшиеся печи, потёртая мебель. Простая декорация к интереснейшей драме русской жизни.

Внизу — библиотека Толстого, где сейчас идут работы над ней. На столе — современная газета, здесь уже контакт прошлого с настоящим. До могилы минут десять-пятнадцать по грязи, по бурым сырым листьям, в тишину уже абсолютную, где на просторе, над оврагом, среди деревьев — простой холм, без памятника, без надписи. Впрочем, туристы не пощадили и этого простого, строгого и значительного места — на деревьях и на изгороди, издали обегающей могилу, вырезаны инициалы и фамилии.

Два московских незнакомца (один — профессор геодезии) облегчённо вздыхают: «Ну, вот, исполнили гражданский долг, побыли у Льва Николаевича — теперь можно и помереть». Мы же исполнения долга не чувствуем и помирать не собираемся. Мы притихли, мы смущённо дышим свежестью и вопросительностью этой на весь мир прошумевшей тишины.

Профессора уезжают на извозчике. Мы долго стоим перед круглыми столбами у въезда. Скоро закат. Грязь блестит. Вороны над садом. Всё розоватое. Пожалуй, не дойдёшь пешком засветло по этой дороге, а до станции — тоже версты три-четыре, да неизвестно, когда приходит поезд на Тулу. Наиболее храбрая из нас пускается вплавь на деревню просить лошадь. Всё это не сразу. Крестьянин идёт из дома за лошадью, с ней возвращается, запрягает и, наконец, весело подплывает колёсами по воде к нам. Едем...

— Вы что же на выставку (животноводства) приезжали?

— Нет... Мы посмотреть дом Толстого. А вы видали Льва Николаича? — жадно спрашиваю я.

Крестьянин подхватывает несколько театрально, видно, не в первый раз: «Как же, я ему завтрак носил сколько раз, когда он с моим отцом работал».

Дальше разговор менее искусственен, фразы звучат, как в первый раз и поражают своеобразием отношения и равнодушием к Толстому.

Вот рассказ об уходе Льва Николаевича:

«Он бы ещё долго прожил, да дети ему много неприятностей делали. А вот, приходят к нему Татьяна Львовна и Чертков. И говорит Чертков: “Продайте мне землю”. А Лев Николаич говорит: “Зачем мне землю продавать, мне денег не надо, я только что тридцать семь тысяч из-за границы получил”. А Чертков говорит: “Мне не для себя, я крестьянам хочу отдать”. А Татьяна Львовна тогда: “Папа, говорит, кого же помнить тогда будут: Льва Николаича или Владимира Николаича?” Тут Лев Николаевич пошёл к жене и говорит: “Ну, Соня, созрело — я решил отдать землю крестьянам, а деньги ты себе бери, мне не надо”. Тут она рассердилась: “Что ты, кого слушаешь, босяка слушаешь, жил ты, до старости дожил и охолпёл на старости лет”. Он обиделся: “Как ты говоришь ‘охолпёл’, хуже деревенской бабы ты говоришь. Я за границей везде был, а ты мне говоришь ‘охолпёл’”. Очень обиделся, велел лошадей запрягать и сел письмо писать, что ухажу, мол, и больше меня не считайте. А как уехал, Софья Андреевна вломилась в кабинет, прочла письмо и побежала в одной сорочке топиться. Как до него это дошло — он назад поехал, да заболел вот и помер».

На вопросы мои крестьянин отвечает не сразу, говорит своё, а потом уж возвращается и говорит приблизительно о том, о чём я спрашивала.

«Книги его всё искали тогда, вот как теперь самогон прячут и обыскивают, так его книги. У одного мужика нашли Николая Палкина — это значит, что Николай только палки стоит (крестьянин, кажется, думает, что это о Николае втором) — засадили на три года, а ведь отвечать-то бы тот должен, кто писал». Последняя фраза кажется мне несамостоятельной, будто с чьих-то слов запомнил её возница.

«Любил он такие штуки. Погорельцы к нему ходили. Он мужикам — двадцать пять рублей выдавал, а женщинам — пятнадцать. Вроде как помощь, считалось. Ну, придёт кто издали, увидит его. А он в синей блузе, простой такой: “Что, говорит, тебе надо?” Тот говорит: “Льва Николаича мне”, — слышал, что Лев Николаич есть, который деньги раздаёт. “А ты, говорит, посиди тут, на скамеечке”. А сам уйдёт, да с другого крыльца выйдёт. Ну, тот испугается: “Ваше сиятельство, извините, ведь это я вас сейчас видал”.»

«Детей, бывало, соберёт, меня позовёт. По имени всех знал. “Ну, сказывайте, какие новости на деревне”. Пойдём-ка сюда, потом туда пойдёмте. Потом к крыльцу приведёт. Илья Васильевич конфет вынесет».

Крестьянин видел Толстого только в детстве, а потом уехал на работу в город. Большая часть его мыслей, очевидно, со стороны. К тому же, он сам говорит, что «твёрдой жизни нет».

«Если кто порубку везёт, мучается, сам поможет: “Что ж ты, говорит, мучаешься, пришёл бы ко мне, я б тебе дал, что надо”». «Нет, не плохой был человек (как будто кто-то его убеждает в обратном). Кому лесу надо, возьмёт, заткнёт топор за пояс, пойдёт: “Это вот тебе на стропила, это ещё на что...” Нельзя сказать, ничего был человек. Лошадей не загонял. Стражников держал — это точно, ну да ведь это больше супруга». И, подумав секунду: «Он всё на супругу спирал».

Тут тоже мерещатся мне слова не свои, а со слов врагов Льва Николаевича.

«Странников он любил. Придёт к нему, такие ходили, странник. Он его провожать пойдёт, до Тулы проводит, а то за Тулу. И всё выпрашивает. Какие тот слова говорит, он их записывает. Вот это и были его писания (?!). Ну, память у него была!..»

«А деньги ему всё из-за границы шли... для раздачи. Ну, да за труды, конечно».

«Ещё он был против, чтоб курить, или там, когда мужчины барышнями, дамами занимались. Ну, это он зря! Сам, сказывают, в молодости гуляка какой был!.. В избу к нам сколько раз приходил. Крышу стлать тоже помогал...»

Но, видно, что наш возница охотнее говорит о событиях в их кооперативе, нежели о Толстом. И, резюмируя своё отношение, весьма рельефно обобщает: «Которые издали и за границей там, им лестно поглядеть бы, какой Лев Николаич, что будто умный очень, а нам-то что, мы-то знаем... А всё едут... со всех сторон съезжаются».

Я вспоминаю, как вёзший меня где-то в другой губернии извозчик сам заговорил о Льве Толстом с глубоким умилением и уважением. Соседство не способствует окружению ореолом. Интересно было бы послушать других крестьян. В Туле один знающий крестьянин говорит, что в уезде есть и последователи Толстого, и что популярные издания его книжек очень охотно покупаются.

Ясная Поляна... По этому шоссе Толстой ездил верхом. Тут же провожал странников. На полях — талый снег, земля и ещё зелёная трава.

Снова, торжественно, как заставка к повести, заключает наше путешествие уже светящийся огнями и подготовительной иллюминацией к десятилетию, и кипящий неустанной работой великолепный — в чётких линиях — завод.

[18 ноября 1927]

ВЕКА И ГОДЫ

Быть может, нет земли более трагической в прошлом и быстрее расцветающей в настоящем, чем земля Армении.

Века войн, нашествий, уничтожения и, несмотря на это, такая изумительная культура, памятники которой мы видим и в величайшем книгохранилище Матенадарана, и в архитектуре древних монастырей, и в резьбе по камню на старинных надгробиях.

Имена великих полководцев, патриотов, имя создателя армянской письменности Месропа Маштоца, имена таких свободолюбивых и блестящих мастеров слова, как Григорий Нарекаци, Наапет Кучак, Фрик, Саят-Нова, и народная поэзия от Средневековья до наших дней.

Трудные тёмные века и трудные, но светлые годы — всего несколько десятков лет новой Советской Армении. Слава имён талантливых во всех областях людей. Талантливость во всём: воины — маршал Баграмян и адмирал Исаков, крупнейшие учёные и среди них Виктор Амбарцумян, величайший художник наших дней Мартирос Сарьян, один из лучших композиторов века Арам Хачатурян, архитекторы, актёры, певцы и поэты, поэты, поэты...

Я знаю Армению больше всего через её поэтов: тут и народный, популярнейший Ованес Туманян и сочетавший в себе страстную революционность с нежнейшим лиризмом Ваан Терьян и великий варпет Аветик Исаакян. Варпет — это значит мастер. Исаакян — мастер точного выразительного слова, мастер мысли и чувства, пленивший наших русских поэтов Брюсова и Блока.

Мне посчастливилось, гуляя с Аветиком Исаакяном по Еревану, видеть, как все, без исключения, встречая своего варпета, низко кланялись ему. Тысячи горожан и жителей армянских деревень плакали (вместе с небом), в дождливую пору, провожая любимого поэта в последний путь.

И среди современных поэтов многие пользуются огромной любовью народа. Не раз мне приходилось видеть и слышать бурный восторг аудитории, когда поэтесса Сильва Капутикян своим красивым и вдохновенным голосом читала задушевные гражданские и лирические стихи.

Богата и разнообразна армянская литература: Наири Зарян — поэт, прозаик и драматург всегда остаётся для меня «неистовым Наири», как я когда-то назвала его.

Глубокий, добрый, необычайно музыкальный лирик Гегам Сарьян, оригинальный поэт и прозаик Гурген Маари, пылкий Рачия Ованесян, автор таких пленительных, хочется сказать — **ароматных** стихов, как «Чудесный садовник», вдохновенный Амо Сагиян, одарённый поэт и драматург Гурген Борян, наши блестящие армянские новаторы Паруйр Севак и Геворг Эмин, Ашот Граши, Ваагн Давтян, Сагател Арутюнян — да и многие, многие.

О женщинах-поэтах я уже сказала: их успех — успех нашей новой жизни.

Поэтична в Армении не только литература — поэтична вся жизнь армянского народа.

Строительство одного из самых красивых городов Советского Союза поражает вкусом, гармонией всех приезжих. А их очень много — кто только не посещает Армению?

Я помню старый Ереван: в часы заката, с балкончика, я видела в облаках пыли медленно шествующих верблюдов, бречащих колокольчиками, я видела глинобитные не только дома, но целые улочки.

К знаменитому озеру Севан мы подплывали на лодке по бурным волнам и, карабкаясь, пробирались по кремнистым тропинкам к прилепившемуся в скале Дому творчества писателей.

Теперь среди Севана уже не остров, а полуостров, и машины лихо подкатывают к этому дому. Увы, полная сапфирная чаша Севана мелеет. Но теперь приняты меры к тому, чтобы остановить обмеление красивейшего высокогорного озера.

Необычаен экономический рост Армении: завод синтетического каучука, великолепные сады и виноградники.

Армянские женщины: скромные, трудолюбивые... Я помню печальноглазую девушку, почти девочку, Маро Маркарян, ставшую теперь известной поэтессой, умной и тонкой, музыкальные и чистые стихи которой я очень люблю.

Я помню армянскую молодёжь, почти не знавшую русского языка, а теперь на русском факультете университета ученики и ученицы талантливого литературоведа Левона Мкртчяна рассказывали мне о Маяковском, Мейерхольде, Пастернаке и Марине Цветаевой.

Окружавшие меня девушки читали Наапета Кучака по-армянски и по-русски. Они знают и русский, и европейские языки.

Так как я давно и много работаю над армянской поэзией, пишу о ней стихи, молодёжь спрашивала меня: «За что вы полюбили Армению?»

Я полюбила Армению за героическое преодоление трагического прошлого, за уважение народа к своим древним культурным ценностям и за такое талантливое создание новых.

Я люблю эту мудрость веков,
Лебединые женские пляски,
Медь горячих, тяжёлых стихов
И полотен сарьяновских краски.

Жизнелюбивый, стойкий народ, терпение, победившее горькие века, песенность, всегда песенность — вот что такое Армения!

Глаза как большие чёрные слёзы,
Обветренный камень щёк...
И песня — такая, что все угрозы,
Все беды сбивает с ног.

И мысленно, и в действительности я часто стою на главной площади Еревана, площади необыкновенной по архитектурному ансамблю, смотрю на здания из розоватого и солнечного туфа, на памятник Ленину, за плечом которого в ясную погоду «плывёт, не уплывая» величественный и таинственный Арарат — не гора, сама — вечность.

Десятки или даже сотни картин пробегают в моём мозгу, — так много было всего в Армении даже за годы моего с нею знакомства. И, быть может, самое незабываемое воспоминание — это воспоминание о днях Давида Сасунского в сентябре 1939 года.

Разукрашенный город, хотя намного более скромный, чем сейчас, толпы крестьян в одежде времён Давида Сасунского, гости со всех концов земли...

В утро нашего приезда на привокзальной площади, на трибуне Александр Александрович Фадеев, широко раскинув руки, восклицает: «Да здравствует великий армянский народ!»

Ликующие дети, гордая радость ереванцев и приезжих.

Я помню много декад, много встреч с народами СССР, но это утро вспоминается мне, как самая яркая, самая искренняя минута утверждения дружбы русского и армянского народов.

Связи этих народов древние и крепнут год от года. Высокогорная Армения — страна высоких чувств и поступков.

Как в любую жару с вершин гор веет лёгким дыханием чистого снега, так в любых трудностях дружелюбие и гостеприимство армянского народа — неизменны.

Спасибо отчизне
За это богатство
За чистое счастье
Великого братства.

[1964—1967 ?]

МОЯ ДРУЖБА С АРМЕНИЕЙ

Впервые я встретилась с Арменией через стихи Алазана, Гегама Сарьяна и Норенца, которые мне предложили переводить в Государственном издательстве в 35 году. До сих пор я переводила «для души» с французского, немецкого. Переводить с подстрочника стихи совсем нового для меня лада — было, помню, очень трудно. Я сама считаю, что первые мои переводы были буквалистичны, нетемпераментны, но, когда впервые в газете «Известия» появился мой перевод стихотворения Гегама Сарьяна «Мак», знакомые армяне — литераторы очень одобрили его. Вероятно, за близость ритма и содержания, но, как русские стихи — это было слабо.

Главным моим учителем истории и поэзии Армении был писатель Карен Сергеевич Микаэлян, чудесный человек, работавший ещё с Брюсовым и привлёкший меня к переводам. Он хотел издавать что-то вроде антологии Армении (не пришлось!) и поручил мне несколько переводов Гургена Маари и Егише Чаренца.

Очаровательное стихотворение Маари «Баллада о Чало и о первой любви» и стало моей путёвкой в Армению. Мы с Маари читали его на вечере в Доме культуры Армении. Был замечательный вечер: помню в президиуме Н. Тихонова, Анну Ахматову, Бориса Пастернака, Павла Антокольского и многих других. У нас с Маари был очень большой успех.

После этого председатель СП Армении пригласил меня в Армению, а Карен Микаэлян очень поддерживал эту мысль, рассказывал мне много о своей стране. Я ещё до отъезда написала стихи: «Я тебя не видела ещё, я тебя увижу непременно». Там, помню, были

строки: «Говори со мною, говори, голосом Гургена Маари...»

Картины Мартироса Сарьяна, которые я знала (больше по репродукциям) с детства и армянские стихи, рассказы Микаэляна, краски Сарьяна — всё это в моём воображении сплелось во что-то пленительное и зовущее!

В конце июля 1936 г. я села в жёсткий переполненный вагон, чтобы ехать почти пять суток. Теперь это трудно представить себе. Я ехала с шумными, дружественными армянскими рабочими, колхозниками, радостно кричащими задолго до приезда: «Ереван, Ереван!» Утром они смертельно напугали меня тем, что, рано разбудив, подносили прямо к губам стаканчик с коньяком. Потом тронули меня тем, что когда я застряла в вагоне-ресторане, они, запыхавшись, вбежали туда, думая, что я потерялась на станции.

О, как я помню ощущение древнего холодка от Девбета в ущелье Лори, тесноту скал, трагическую гордость их.

Мы приехали в Ереван рано утром. Отсутствие розовых скал и сарьяновских красок меня немного смутило на первых порах, но потом и берег Зангу, и Арагац из окон гостиницы, и картинная галерея, и улица Абовяна — всё это заворожило и стало тем, что оно и продолжает быть для меня до сих пор — возлюбленностью в Армению. Было очень жарко. В Ереване ещё были москиты, о которых теперь мои друзья и понятия не имеют, отчаянно преследовавшие меня и принудившие просить СП скорее отправить меня на Севан, в Дом отдыха.

По дороге в Севан моя спутница Сирануш Зарьян завезла меня в Цахкадзор, чтобы познакомиться со знаменитым Егише Чаренцем, стихи которого я начала переводить, и страстный накал которых доводил меня до того, что у меня буквально поднималась температура, когда я переводила и «Сожжённые песни», и стихи, посвящённые Арпик и Ваану Терьяну...

Но Чаренц не мог меня принять: сказали, что он болен. Мы поехали на Севан. К вечеру он был бурным, вода тёмно-зелёной, бурлящей, захлёстывающей лодку. Да, тогда на остров переправлялись на лодке.

Было холодновато, в доме не очень светло, и я прислушивалась к незнакомому языку с чувством странным и сложным...

Жилось мне на Севане невесело, кроме Рубена Зарьяна не с кем было поговорить по-настоящему, но эта дикая, ослепительная красота тогдашнего Севана, старинные храмы, маки, колючие растения, насквозь прозрачные, очень холодная вода озера, в котором я много купалась, с упоением плавая — всё это побеждало чувство одиночества, и всё это моё пребывание на Севане, все эти 25 дней сейчас мне представляются сказочными. Да, должна упомянуть старика художника Фаноса Терлемезяна, ласково обходившегося со мной, плававшего со мной в озере и по утрам дрожащими руками упрямо рисовавшего старенький храм и маки, маки... Познакомилась там и с поэтически юной девушкой Маро Маркарян, теперь известной поэтессой.

Я уже тогда начала пробовать заниматься армянским и буквы кое-как уже различала.

Второе моё свидание с Арменией было в 39 году на юбилее Давида Сасунского. Всенародный праздник. Толпы в костюмах сасунцев, музыка, масса писателей. Никогда не забуду, как около вокзала на большую трибуну поднялись писатели, и Фадеев, широко раскинув руки, подняв свою прекрасную, молодую, седую голову, воскликнул: «Да здравствует великий армянский народ!» Сколько раз и до и после звучала эта фраза, но никогда она не была так добра, так искренна и так горяча, как в этот день.

«Фадееви, Фадееви!» — кричали черноглазые ребяташки, бегая за этим великолепным другом Армении, только что перед этим восстановившим дорогое армянам имя Раффи. А вот к трибуне идёт с букетом в дрожащих руках старик Терлемезян. Он узнал меня и в память дружбы на острове принёс мне цветы. В этот приезд я подружилась с Мартиросом Сергеевичем Сарьяном, самым любимым моим художником на свете. Пирьы затягивались

до утра, и мы на рассвете бродили с Мартиросом Сергеевичем по скверу Шаумяна, по улицам, выйдя из гостиницы «Севан», тогда только что отстроенной к юбилею и бывшей весьма парадной.

Кого только не было на юбилее! Помню Ольгу Форш, Алексея Толстого, Юрия Лебединского, Суркова, Антокольского, Тычину, Первомайского, Галкина — замечательного поэта, который так памятно откликнулся на мой вопль в вечерних садах: «Ой, не с кем мне разделить моё упоенье Арменией!» возгласом: «Есть с кем!» и потом действительно деливший со мной моё любованье и армянскими детьми и красотой Гегарда и Гарни. Это о нём я писала в стихах: «Не забуду в садах библейских наших дружественных речей!». Я не переводила Давида, я только написала стихи «О прекрасной Цовинар хатун» и читала их на вечере.

После 39 года я переводила много армянских стихов, встречалась с приезжавшими поэтами в Москве. Участвовала в делегации 1941 года.

А в третий раз очутилась в Армении в конце войны: в ноябре 1944 года. Меня и поэтессу Марию Петровых пригласил тогдашний первый секретарь СП Наири Зарьян. Мы прожили в холодном и милом мне «Интуристе» полтора месяца, выбирая и переводя молодых поэтов.

Мы «открыли» тогда Амо Сагияна, Геворга Эмина и пленившего нас, совсем молодого, только что приехавшего с войны с простреленным лёгким Рачия Ованесяна. Амо Сагияна и Эмина нам удалось вскоре опубликовать в московских журналах, а всех молодых и не только молодых мы напечатали в сборнике «Поэзия Армении», вышедшем в Гослите в 1946 году. Книжечка, на мой вкус, одна из удачнейших, ибо и выбирали, и переводили, и отдавали переводить мы с такой любовью. С таким неповторимым увлечением мы работали в те туманные осенние дни, когда Ереван ещё не был так наряжен, когда ещё только близилась победа и мы с армянскими поэтами выступали в ереванском госпитале перед ранеными.

Был у нас чудесный вечер в СП, бывали мы у М. Сарьяна. К нам в номера ломилась молодёжь. Божественное время!

Потом я ездила в Армению почти каждый год: в 45-ом летом вместе с Константином Липскеровым и Арсением Тарковским мы были приглашены для работы над переводом Саят-Новы. Мы жили в Цахкадзоре около Дома отдыха писателей, в домике, где обычно жил Исаакян, в трёх тонкостенных комнатках, в раскрытые двери которых иногда заходили телята, овцы.

А вечерами и ночами скандировалась во всех комнатах на разные голоса «Соловей и роза». Ездили мы и в поля смотреть работу, писали в газете «Коммунист», выступали со стихами и переводами. В Цахкадзоре отдыхали и работали Геворг Эмин, Сильва Капутикян, Маро Маркарян, Стефан Зорян, приезжали уже хорошо знакомые мне Наири Зарян и Эдвард Топчян. Работал с нами по Саят-Нове Геворг Аршакович Абов.

В 1946 году я приезжала на Съезд писателей Армении. Июль. Солнце. Звартноц. Вечера стихов. Вечер у Исаакяна.

В 1947 году в мае я просто сама попросила в СП командировку в Армению и жила там месяц, не очень уютно в уже сильно испортившейся гостинице «Севан», но разъезжая с Эмином, Рачия Ованесяном и Рафиком Арамяном и на Севан (спускались в шахту), и на алюминиевый завод, и в сёла, например, в Воскеваз. Цвёл пшат, май был не жаркий, в Воскевазе — пчёлы и розы.

Был и у меня вечер, где ласково и остроумно выступал Исаакян.

В 1948 году был юбилей Абовяна. Меня пригласили, и я была уже в «моей Армении». Как всегда, были и в Звартноце, который тогда произвёл на меня магическое впечатление. Всё больше у меня накапливалось стихов об Армении, всё острее меня пронзали армянские песни, всё неотрывней приковывал взгляд таинственный Арарат, всё дороже становилась

мастерская Сарьяна, где в 48-м году появился мой портрет. Правда, у меня дома, в Москве уже с 1941-го года висит другой мой портрет работы М. Сарьяна.

В 1951-м году предполагалось, что будет армянская декада, и для работы полетели туда я и Лев Гинзбург, а потом Ирина Снегова. Я переводила книжечку Амо Сагияна, очень дорогого мне поэта, но по подбору стихов, по изданию книга вышла не очень удачной.

Декады не было, она состоялась в 1956-м году.

А в 1954-м я дважды была в Армении: в июле на II съезде писателей и осенью на юбилее Налбандяна.

В холодный вечер, под дождём, я читала с трибуны на улице свой перевод знаменитой налбандяновской «Свободы», вспоминая ту необычайную атмосферу, которая окружала мои первые чтения этого гимна революции накануне войны.

В 1955-ом году я была на юбилее Варпета и после осталась для работы по переводам к декаде, которая была в 1956-м году.

Юбилей Исаакяна... Я не рассказываю подробно о своих встречах и разговорах с Исаакяном, и мы с ним говорили и о современной поэзии, и об ушедших поэтах. Каждый мой приезд я бывала у него, сначала на углу улицы Гнунни, откуда он провожал меня в Интурист, потом — на Баграмяна — в новом его доме. Была с ним и в Звартноце, о чём сказано в моём стихотворении «Звартноц»: «Ссутулившись стоит Исаакян...».

Помню, как в те дни, когда у него родился внук, мы шли по Еревану. Не было человека, который бы не останавливался и не поздравлял Варпета с рождением внука. «Как вы думаете назвать мальчика?» — спросила я. «Не знаю, кажется, хотят Рубен», — ответил он. «А хорошо бы, чтоб ещё раз на свете был Аветик Исаакян, назвать Аветиком», — сказала я.

Он промолчал, а через несколько дней я узнала, что внука назвали Аветиком. Я не могу доказать ни себе, ни другим, что это я — причина этого имени, но рассказываю, как было.

Ещё очень я помню, как он похвалил один мой перевод Саят-Новы «Меджнун я, тоской палимый», сказав: «конгениально» (по-моему, это было на моём вечере в Союзе в 1947 году). Из моих переводов его стихов он сначала очень похвалил перевод «Рано поутру» («Առաջինը ցիւտի»), а потом (он поддавался чужим влияниям) просил что-то переделать в самых лучших местах. Вообще же за перевод благодарил...

Я спросила его как-то, кого он любит больше всех из современных поэтов русских. Он сказал: «Исаковского». Причём далее сурковскую «Землянку» он уверенно считал стихами Исаковского. Пришлось доставать книгу, чтобы убедить его.

Взгляды на современную поэзию у него менялись, то он ценил Шираза, то Амо и Сильву. О Маро Маркарян говорил по-разному...

Очень запомнила я одну картинку. Было это или во время второго съезда, а, может, на юбилее Абовяна. Мы стояли с ним в какой-то гостиной, в кулуарах. Он вынул портсигар и увидел, что он пуст, и мгновенно из нескольких углов к нему ринулось десятка два людей с портсигарами.

Это было как-то особенно трогательно. Вообще любовь к Исаакяну — это необычайное, глубокое явление. Во время его юбилея зал просто дышал любовью к нему — старому крестьянину, страннику, скитальцу, поэту несказанной простоты и душевной силы.

После юбилея я ещё долго была в Армении, вместе с другими переводчиками готовя книги к декаде. Незадолго до отъезда я увидел Варпета на ступеньках дома Союза писателей. Я сказала, что уезжаю, и поцеловала его. Я и сейчас ощущаю холод щеки и холод руки, которую пожалала.

На декаду 1956-го года он не приехал. Она была в Москве в июне, как, или вернее, почти как в 1941-м году. Потом я с армянами поехала в Ленинград, где мы выступали и ходили по разным интересным местам.

А в 1957-м году, когда я в качестве делегата от СП поехала на юбилей Чавчавадзе, как только в Тбилиси я сошла с поезда, на перроне сказали: «Умер Исаакян».

Это звучало так, как будто умерло сердце Армении, умерла душа поэзии. Я сказала, что я должна ехать в Ереван, но наше начальство не прониклось подобными тонкостями и заявило, что я делегат в Грузии, а поедут туда другие, молодые. Поехали люди талантливые, но не имевшие понятия о том, что такое Исаакян для Армении...

А я плакала в Сагурамо и написала стихи о красоте Грузии, от которой я хочу уйти пешком в мою Армению, где «идут за гробом толпы».

В 1959-м году, зимою, на III съезде писателей уже не было Варпета, мы пошли на кладбище к нему, да на вечере я читала стихи о нём, как о живом, чтобы он присутствовал среди нас... Исаакян... Когда я произношу это имя — каким-то тускло-золотым светом заливается всё вокруг. Пахнет дымком тондыров, плывёт Арарат, а внизу где-то бурлит не то Зангу, не то Касах... Исаакян — простая, грубоватая, чуть горящая нежность. Любовь к земле, к горам, к полям. Любовь крестьянская, истовая, стесняющаяся своей сладости. Исаакян — незабываемый поэт.

В 1961-м году была неделя армянской поэзии в Москве, Ярославле и Ленинграде. Электросила, Парк Кирова. Волга.

Я была в Армении ещё и в 62-м году. Просто села одна в самолёт в Тбилиси, дав телеграмму друзьям, чтобы устроили номер в гостинице, и прилетела только для того,

Чтоб взглянуть на Масис в снегу,
Постоять часок над Зангу,

в один день побывать у четырёх друзей в квартирах, постоять как в храме над полотнами великого Сарьяна в его мастерской, пожать руку старому Гайку Погосовичу — швейцару гостиницы, ещё с 44-го года другу закадычному.

И в 1963-м году почти юбилейный, пятнадцатый раз — опять Ереван, ни с чем не сравнимый воздух аэродрома, знакомые глаза, речи. Это мы приехали на юбилей Саят-Новы, которого переводила я почти двадцать лет назад. Опять народный праздник, открытие памятника, открытие улицы Саят-Новы. Традиционный правительственный банкет.

Который раз? Но стало немного официальнее: уже не говорим тостов на армянском языке, не танцуем, а ещё в 59-м даже Мариэтта Шагинян вступала в общую пляску.

Делегация едет дальше: Тбилиси, Баку. А я отпрашиваюсь у руководства и остаюсь, чтобы выступить перед молодёжью. Два дня выступления и беседы: в Университете и в Институте имени Брюсова.

Молодёжь русского факультета — мила, начитанна, читает наизусть Кучака по-армянски и в моём переводе. Пишут рефераты на тему «Армения в поэзии Веры Звягинцевой». Знают и мою книгу, переведённую на армянский. Слушают чудесно, всем интересуются. Пожалуй, самое приятное — это не успех на вечерах, не то, что в Бейруте, Нью-Йорке и Париже знают о моей работе для Армении, не чудесные вечера, и массовые и личные, в Доме культуры Армении (когда он существовал), а именно эти молодые глаза, глядящие на старого русского поэта и благодарные ему за его страсть к их родине. А ведь эта страсть — моя радость, моё приобретение, за что же благодарить?

Это я вас благодарю, армянские девочки и мальчики за то, что вы любите то, что люблю я, хотя и не всё мы любим вместе. Но здесь уместно сказать то, о чём давно надо было сказать. «За что вы полюбили Армению?» — спрашивает меня молодёжь. Я ответила ей искренне, я ни в чём не солгала, ни в одном из своих ответов, даже зная, что иные из моих высказываний огорчат молодёжь: так, я честно призналась, что не очень люблю Ширази, считаю его поэтом замечательной звукописи, но недостаточной культуры и не понимаю зачем в XX веке быть поэтом XVII? Уж если XVII-ый, так есть Кучак. Так же и насчёт русских

поэтов я сказала, что думаю. Но за что же я всё-таки полюбила Армению? Полюбила сперва за трагическое прошлое, а затем за великое мужество преодоления этого трагического прошлого, за цветы, прорастающие сквозь камни (цветы и буквальные, и цветы искусства и науки), за силу жизнелюбия и трудолюбия, за Сарьяна и Исаакяна, за Кучака и Саят-Нову, за Хачатуряна и Амбарцумяна. И больше всего за эту трудную, суровую и прекрасную землю, от складок которой ещё в самолёте холодеет сердце.

[1964—1967 ?]

[ОБ АРМЯНСКОЙ ПОЭЗИИ]

Я хочу сказать несколько слов об армянской поэзии. О переводах мы уже очень много говорили и, мне кажется, выяснили, что главные враги хорошего перевода буквализм и отсебятина. Мы боремся с этими врагами — думается, успешнее, нежели когда-то. Мы — переводчики-поэты — поняли, что переводить надо не букву, а мысль, чувство и обаяние стиха и переводить средствами того языка, на который переводим, чтобы переведённое стихотворение становилось фактом той поэзии, на язык которой переводится. Я считаю, что советский перевод стоит на высоком уровне. Конечно, неудачи и небрежности бывают, но где их нет?

И переводчики из Москвы и Ленинграда, и переводчики на местах в основном любовно и серьёзно относятся к святому делу перевода. Я с радостью вижу, как с годами ереванский поэт-переводчик Вруйр Баласан стал настоящим художником-переводчиком. Я вспоминаю его переводы Ваагна Давтяна наряду с лучшими переводами наших крупных поэтов. Только мне хочется призвать или... попросить своих товарищей, поэтов армянских и других, больше верить в себя и в своих товарищей.

Например, армянская поэзия одна из сильнейших издревле и в наши дни. Разве она не даёт права армянам гордиться ею. Недавно я была в Венгрии — на встречах с издателями, поэтами и переводчиками. Я услышала имя дорогого нам всем ушедшего варпета Аветика Исаакяна, имена Сильвы Капутикян и Геворга Эмина. Пусть это не все. Пусть они не назвали имена тех, которые мне хотелось бы услышать. Например, Зарян, Гегам Сарьян, Амо Сагиян, Рачия Ованесян, Паруйр Севак, Маро Маркарян, Гурген Маари, Сагател Арутюнян... и многих, многих поэтов, которых хочется назвать. Но то, что до всех стран долетают голоса хоть и некоторых моих любимых армянских братьев, — это радостно. И как это усиливает ответственность за перевод. Ведь почти всюду переводят с русского языка. Усиливает это всемерное распространение и ответственность поэтов. Вам есть чем гордиться, дорогие друзья. Но мне хочется ещё раз напомнить вам одно: не делите поэзию на публицистику и лирику.

Не считайте лирикой только любовные стихи. Разве не лирика «Выхожу один я на дорогу» Лермонтова? Разве не лирика «Пора мой друг, пора» Пушкина, «Еду ли ночью по улице тёмной» Некрасова. А ведь это не любовные стихи. Лирика всё, что пронизано чувством личного отношения. А у нас личное и общественное слиты как никогда. Только не холод, не равнодушие, не пустая сладковатость! А в армянской поэзии очень мало равнодушия и отходит в прошлое сладкая выпренность. Так любите свою поэзию, друзья, старайтесь не огорчаться своими неудачами и радоваться чужим радостям. Вот что мне хотелось сказать вам, мои талантливые, умные, горячие собратья.

ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕВОДЧИК?

1. На протяжении трёх с половиной десятилетий я с увлечением переводила стихи поэтов братских республик, больше всего стихи поэтов Армении и Украины. Главным источником этого увлечения было то чувство, которое раз и навсегда точно определил Павло Тычина, назвав его «чувством семьи единой».

Добиваться по мере своих сил, чтобы на русском языке звучали, не теряя своих особенностей, голоса друзей-современников и их великих предшественников, посылно содействовать своим трудом укреплению дружбы народов, которая стала одним из самых знаменательных явлений нашей действительности, — в этом для меня смысл и значение работы поэта-переводчика.

В работе над переводами я всегда ощущала чувство большой ответственности, сознавая, какое значение имеют переводы на русский язык для нашей многонациональной поэзии. Об этом значении хорошо сказала Сильва Капутикян:

Ведь от северных выюг до бесснежного юга —
Мы единой семьи, что любовью крепка,
Но разве могли мы, братья, понять друг друга,
Если б не было русского языка?

2. У моего любимого поэта Леонида Первомайского в его новом сборнике стихов «Уроки поэзии» я прочла замечательные строки, которые приблизительно так могут быть переданы на русском языке:

Стихи начинаются не со звучанья,
Хотя звучать обязаны тоже,
Стихи начинает поэт с молчанья,
Когда молчать он больше не может.

Эти слова о молчанье, предшествующем рождению стиха, можно с полным правом отнести и к переводам. Это — самый трудный период, когда вживаешься в характер, стиль, интонации поэта, которого переводишь, в судьбу и историю его народа, в природу, его окружающую, во всё то, что создало его поэтический облик. В этот период непосредственное общение с поэтами-современниками, которых я переводила, имело для меня очень большое значение. Годы общения с великим поэтом Армении Аветиком Исаакяном раскрыли мне величие и мудрость армянского народа глубже, чем десятки прочитанных книг.

3. Если, по словам Пушкина, «драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным», то для поэта-переводчика, думается мне, действует закон соответствия его творческой индивидуальности творческим особенностям поэта, которого он переводит.

Собственное поэтическое творчество определило для меня выбор переводимых произведений, влекло меня к переводу стихов, близких мне «по самой строчечной сути».

В то же время работа над переводами принесла мне столько творческой радости, открыла так много нового, что дала мне возможность написать целую книгу стихов «Моя Армения».

4. Для меня, как, очевидно, и для других поэтов, классическим трудом по теории и практике перевода является книга Корнея Чуковского «Высокое искусство». С неуываемым вдохновением продолжает он дополнять эту книгу новыми страницами.

Увлечённо и проникновенно работает над вопросами стихотворного перевода армянский литературовед Левон Мкртчян. Русские читатели должны быть благодарны ему за составление сборника стихов «Это — Армения», за книгу «Армянская поэзия и русские поэты

XIX—XX вв.». При его содействии и непосредственном участии изданы в Ереване книга переводов Сергея Шервинского «Из армянской поэзии», сборник стихов об Армении Александра Гитовича и один из лучших поэтических сборников последних лет — книга стихов и переводов Марии Петровых «Дальнее дерево»...

Что касается «текущей» критики, то она, за немногими исключениями, отводит работе переводчика последние пять-десять строчек статьи или рецензии с обычным указанием «донёс» или «не донёс» переводчик до читателя особенности подлинника. Думаю, что работа поэта-переводчика требует более глубокого анализа.

5. Эстафету советского стихотворного перевода, блистательно начатую его основоположниками, имена которых общеизвестны, достойно продолжают поэты-переводчики наших дней.

Опубликованный недавно в «ЛГ» тетраптих Льва Озерова «Чеканка мастера», содержащий перевод страниц из поэмы Георгия Леонидзе «Мой сад», свидетельствует о том, что живы высокие традиции тех переводов грузинской поэзии, которыми мы по праву гордимся.

Из работ последнего времени для меня особенно примечательны и дороги переводы Александра Межирова (поэм Марцинкявичюса) и книга «Ключ» — переводы стихов белорусских поэтов Якова Хелемского, замечательно сказавшего в одном из собственных стихотворений о своей работе:

Перевожу стихи товарища,
Раздумываю над строкой,
А подлинник неостывающий,
Как птица, бьётся под рукой,

.

Отыщешь ключ — и птица вскинется,
И снова ринется в полёт,
Счастливая, как именинница,
Она по-русски запоёт.

.

И в этот миг судьба товарища
Тебе дороже, чем своя.

Восхищаюсь неувядаемым талантом ныне здравствующих первопроходцев нашего стихотворного перевода — Николая Тихонова, Павла Антокольского, Льва Пеньковского, Сергея Шервинского, Михаила Зенкевича.

Высоко ценю переводческое мастерство замечательных поэтов-переводчиков старшего и среднего поколений и могу сказать много добрых слов о многих молодых поэтах, вдумчиво и плодотворно работающих на этом благородном поприще. Связь поколений не нарушается. Хотелось бы только предостеречь некоторых молодых поэтов от слишком лёгкого отношения к работе над переводами и напомнить им прекрасные слова Л. Межирова: «переводить стоит лишь с полной самоотдачей, которая обязательно должна быть равна усилиям, затраченным на сочинение собственных стихов.

Думаю, что если стихотворец относится к переводам как к чему-то второстепенному, по сравнению с работой над собственными стихами, то произвольно предаёт последние».

Несколько лет тому назад я написала стихотворение «Другу-переводчику» и позволю себе привести из него последние четыре строки:

Ты с фонарём в руке шагаешь,
То там, то тут свет зажигаешь,
Как тот же путевой обходчик.
...Вот что такое переводчик.

1969

БОРИС ПАСТЕРНАК

Я полюбила стихи Пастернака так безоговорочно, так страстно, как теперь, не сразу, не с юности.

Конечно, очень многим восхищалась, не позволяла говорить о нём плохо и даже помню — объясняла его подстрочечно одному старому, начитанному, интеллигентному врачу, который хотел и не мог понять таких стихов, как «Так начинают года в два» и «Сестра моя жизнь и сегодня в разливе...».

Полюбила я Пастернака окончательно, пожалуй, после «Второго рождения» (иногда считавшейся слабой книгой) и после личного знакомства с Борисом Леонидовичем.

Какой шёл год? 30-й? Не могу сказать точно. Я сидела на вечере «Никитинских субботников». Кто-то подсел около меня на пол, на корточки и сказал: «Один человек велел мне с вами познакомиться и подружиться». Человек, связавший меня с Пастернаком, был Сергей Николаевич Дурылин, когда-то бывший около Льва Толстого, потом написавший рассказ «Жалостник», потом ставший священником, а после ссылки — театроведом.

В «Охранной грамоте» Пастернака написано, что Дурылин отвёл его от композиторства к поэзии.

Встретилась я с Дурылиным в 26 году в Коктебеле, где он почему-то очень любил мои стихи. Когда он был в ссылке в Сибири, мы интенсивно переписывались, а позже, когда он жил уже в Кержаче, я поехала к нему встречать Новый год. Борис Леонидович дал мне для передачи Дурылину деньги, я повезла вино и угощение. Считалось это небезопасным, но и я и отпустивший меня мой муж не боялись. Жена Дурылина (поклонница его со времён его священничества) встретила меня зимой в Кержаче и повезла каким-то кружным путём, вылезли мы где-то не около дома и шли, увязая в снегу. А к Пастернаку это ещё имело вот какое отношение: у меня с детства была примета — пока часы бьют новогоднюю полночь, надо написать желание и съесть бумажку. Я пожертвовала своими желаниями и написала о спокойствии и счастье Пастернака. Он был в трудном положении и даже говорил, что готов застрелиться, так тяжело ему было за Евгению Владимировну, с которой он в то время расходился. Я вообще дружила с ней, любовалась мальчиком Женечкой, но в те трагические для неё дни не видела её. Вскоре после кержачского Нового года Борис Леонидович встретил меня и сказал: «Ваша записка помогла, Женя успокаивается».

Но я не сказала о первом посещении меня Пастернаком на квартире у Красных ворот. Как я это помню! Я надела лучшее платье, немедленно облила его водой и всё боялась, что оно не высохнет. Мой муж Александр Сергеевич спокойно делал мне какие-то замечания, а я возмущённо говорила: «Саша, ну как ты можешь говорить о таком, ну а если б к нам сейчас пришёл Лермонтов?» Когда же пришёл «Лермонтов», мой муж совсем привёл меня в ужас, ловя моль на креслах и даже... на плече гостя.

Потом мы сидели с Пастернаком в моей комнате и я рискнула прочесть ему свои стихи, ему посвящённые. Помню только:

И станешь ты нашей последней любовью,
Последнее чудо на чёрстной земле!
Как туго мы дышим, мы давимся болью...

Пастернак говорил очень много, очень интересно и не совсем понятно для меня в ту пору. Голова у меня кружилась, я не спала и утром ему сказала об этом. Он обиженно проворчал: «Вы всегда так разговариваете со своими вчерашними гостями?» Но обиды не было. Он часто звонил, говорил и о житейском, и о большом. Я не смела ему признаться, что готовлю обед и один раз тихонечко положила трубку и пошла погасить газ, — вернулась, он не заметил. Кошунственно, правда?

Из смешного хочу ещё вспомнить, как моя младшая подруга Аля Новикова была у него. У Али огромные косы, чуть не до пят. Когда она ушла, одна коса застряла в дверях и Борис Леонидович мне потом рассказывал, что Аля спустилась с лестницы, прошла чуть улицу и почувствовала, что коса не пускает... На самом же деле, Аля, стесняясь звонить о застрявшей косе, сидела на лестнице, куда вышел Борис Леонидович.

Пастернак и Антокольский, видя, что нам трудно живётся материально, устроили мне переводы в Гослите. Пастернак познакомил меня с Гольцевым. Антокольский ещё раньше с Кареном Сергеевичем Микаэляном, и первые мои переводы были с армянского. Как трудно было уложить в русский ритм армянскую полусиллабику. Я жаловалась Пастернаку, а он говорил: «Вы вчитывайтесь в подстрочник, вы вчитывайтесь в подстрочник». Мне казалось, что речь идёт о какой-то мне не понятной магии. Но в общем что-то получилось, и стала я постоянной переводчицей, главным образом, с армянского. Правда, тот же Пастернак просил Фадеева взять меня на юбилей Шевченко в Киев, и с тех пор я стала много выступать.

Ещё раньше, в 36 году, был большой вечер армянской поэзии в Доме культуры Армении, где большой успех выпал на долю армянского поэта Гургена Маари. Я читала перевод «Баллады о Чало и первой любви». У Пастернака были слёзы на глазах...

После этого вечера меня пригласили в Армению и моя судьба надолго (вернее, навек) связалась с Арменией.

Трудно мне вспоминать последовательно о всех встречах с Пастернаком. И как на одном вечере, не зная, делать ли перерыв, он вслух спросил через зал: «Как ты думаешь, Зиночка, делать перерыв?»

И, конечно, я очень хорошо помню свой вечер в Доме Армении, в 46 году, куда неожиданно пришёл Пастернак с Ивинской и ещё какой-то девушкой, про которую я сказала, что она вроде ангелочка, а он сказал: «нет, скорее, солдатик».

После вечера Борис Леонидович сказал удивлённо: «Живёшь-живёшь и не знаешь...» А в раздевалке, натягивая пальто, повторял стихи Эмина в моём переводе: «Я б увидел тебя во сне, да бессонница у меня».

А незабываемое чтение им у Гольцева перевода «Фауста», когда я впервые поняла, что такое «Фауст». На этом же вечере поэты читали стихи — Заболоцкий, Петровых. Боже, как нахальна была я, прочитавшая «обличительное» стихотворение к Пастернаку, где были строки:

Зачем же ты, надменный зодчий,
Темнишь отчётливый чертёж
И правоту страды рабочей
На подозрение берёшь?

И вдруг наутро звонок: «Вера Клавдиевна, не мрамор Заболоцкого, не содранная эпидерма Петровых, а ваше человеческое слово в моей памяти». Я была смущена и поражена, но это было именно так.

Помню, летом в Переделкине в 46 году у него дома он читал отрывки из своего романа, помню его выступление в Колонном и Ахматову, ещё лёгкую, с чайною розой в руке.

Помню, как он признался мне в том, что рассказал Зиночке об Ивинской, я почему-то его обругала (полушутливо, что ли: «Ну и дурак»). Он был отчего-то доволен, несколько раз поцеловал руку, говоря: «Спасибо за дурака».

Я навещала его, по его просьбе, больного, меня удивляла необычайная чистота и серьёзность отношения к обеду.

А как мы с Львом Озеровым приезжали «спасать» его. Хотели, чтобы он написал только два слова в журнал (это хотел сделать Озеров в помощь Борису Леонидовичу), что его вовсе не радуют зарубежные признания чужим в своей стране. Он нас понял, но Ольга Берггольц не поняла, и много лет я не могла объяснить ей, что заставило нас захотеть его «спасать».

...Что говорить о последней трагедии Пастернака... Я звонила ему и Зинаиде Николаевне, когда он был болен...

...Да, я не написала о его приходе ко мне, когда умер мой муж. Приходили многие, многие, но я помню его и его слова: «Страдание и терпение — наш удел». Что тогда он ещё говорил, не помню. Снегова и Николаевская сидели и записывали, не знаю, уцелело ли это. У меня есть несколько писем и стихов, его рукою написанных. Как единственен, как полётен его почерк!

Какое странное совпадение: я писала, что заговорил со мною Пастернак, присев рядом, на порточки. А после, в Коктебеле в столовой М.С. Волошиной, я услышала такой похожий голос: на полу, рядом, сидел Евгений Борисович на корточках. Потом я слушала на одном из (теперь не существующих) полынных пригорков стихи Евгения Борисовича, и потом я бывала у них с Евгенией Владимировной.

Недавно я была на могиле Бориса Леонидовича, а когда во второй раз пришла туда, там был Евгений Борисович, и Петруша, и Боря, которых я видела накануне около телефона в Доме творчества и где я не сразу узнала поздоровавшегося со мною Евгения Борисовича. Только в голосе его заставило меня что-то вздрогнуть и произнести: «Скажите ещё что-нибудь». Он понял и назвал себя. Я ведь когда-то посвятила ему стихи, начинавшиеся словами: «Человек, похожий на другого». Теперь он был меньше похож на того человека и сам сказал: «После смерти мамочки я стал как-то на неё походить».

Подходила я и к даче, где была когда-то, и откуда несли гроб с закинутой седой головой. Гроб плыл над головами людей, над благоуханием сирени... Борис Леонидович...

Строчки с кровью убивают,
Нахлынут горлом и убьют.

[1965]



Вера Звягинцева. 1931 год.



Вера Звягинцева в своём кабинете 22 ноября 1948 года.



Н.С. Тихонов, Ав. Исаакян и В.К. Звягинцева на перроне московского вокзала (встреча Исаакяна), май 1949 года.



Л. Гинзбург, Г. Борян и В. Звягинцева. Ереван, 1951 год



В. Звягинцева и М. Алигер. Коктебель, 1964 год

Драгоценная Вера Клавдиевна. 2

Спасибо за великолепную книгу. В книге три отдела: Повесть Л. Мкртчяна, стихи Звягинцевой, переводы армянских авторов — и все три отдела прекрасны, все три на одной высоте.

Мкртчяна я читал с завидной: улю, и злуко, убедительна, лало-нило: вот как нужно писать о поэзии. Если ^{он} мне ^{мне} пишет о Вас, я не мог бы написать лучше.

Мне даже не могу представить себе лучшего чувства об Армени, чем Вашим стихом. Я писал о нем об Армени — мне не впадало

Автограф письма К.И. Чуковского к В.К. Звягинцевой от 17 марта 1965 года.

Этого счастья — но после Ваших
Книг меня потянуло туда, и я
еще раз повторю:

Не мундшт, не пера — сива гордои
И преле слова и подкупа ^{души.}

И мне оеуд крат, что мне 83 летнему
уже кажда не уштарь,

Как поот арменские дери
Как поракной Бронзи звени.

А переде... Мне кагеро, Конс злат
Мушанеа могуо оло о мурт оделит
книжк в Детине с арменски ричукиани
Все поот в Ваших переде — так аутент,
и мне рудит, что Завур колкал в подан
как поот оло слаба, реи у Вас. Хороша
Канукиети; Марш Перовед; "Соло слог" —
"Тран" "Два ошети члеха" — слова, как
облажила мене оеуд. Мнадает у мен наит
как мне кагеро "Два Ованесия", "Трага твои" —
отпомение к великим глара, как к реу в
чадобноу, "у сагой Давидни"... мет, на сложен.
А в обиче, сам м хорше знае, что в душо о Ваших
Борале, прогнотари Мкртчяна Ваш К. Гурен

1920-1-254 4.2



Юбилейная выставка Мартироса Сарьяна,
состоявшаяся 5 июня 1965 года в Доме художников



Могила В.К. Звягинцевой на Переделкинском кладбище.
Скульптор Самвел Казарян.



Вечер, посвящённый 80-летию со дня рождения В.К. Звягинцевой.
Выступает Я.А. Хелемский. Москва, 24 декабря 1974 года.

ПРИМЕЧАНИЯ

В сборник вошли воспоминания, статьи, письма, очерки, воссоздающие образ Веры Звягинцевой — талантливой поэтессы, известной переводчицы, человека щедрого сердца, неутомимой труженицы.

Левон Мкртчян. Поэт Армении. Впервые напечатано в сборнике «Родное и близкое», М., «Советский писатель», 1978, стр. 223—254.

Мкртчян Левон Мкртычевич (род. 1933) — советский армянский писатель, учёный-литературовед, критик, доктор филологических наук, профессор Ереванского университета.

Яков Хелемский. Зимняя звезда. Воспоминания впервые были напечатаны в 6—7 номерах журнала «Дружба народов», 1981.

Хелемский Яков Александрович (род. 1914) — советский поэт, прозаик и переводчик, заслуженный деятель культуры Белорусской ССР.

Елена Новикова. Прожитые годы. Воспоминания написаны специально для настоящего сборника.

Новикова Елена Андреевна — главный библиотекарь Государственной библиотеки имени Ленина в Москве, с марта 1977 года — учёный секретарь Междуведомственной каталогизационной комиссии при Библиотеке имени Ленина. Автор ряда работ по вопросам каталогизации и описания произведений печати. Близкий и многолетний друг В.К. Звягинцевой.

Лев Озеров. В Хоромном тупике. Статья переработана для настоящего сборника. Впервые — в сборнике Л. Озерова «Работа поэта».

Озеров Лев Адольфович (род. 1914) — советский поэт, прозаик, переводчик, критик, профессор Литературного института имени Горького.

Сильва Капутикян. Хачкар в тени берёз. Впервые в сокращённом виде напечатано в газете «Коммунист», 22 мая 1979.

Капутикян Сильва Барунаковна — советская армянская поэтесса и прозаик, лауреат Государственной премии СССР.

Геворг Эмин. Неоконченные воспоминания о Вере Звягинцевой. Написано специально для этого сборника.

Эмин Геворг Григорьевич (род. 1919) — армянский советский поэт и прозаик, лауреат Государственной премии СССР.

Натэлла Горская. «Методом доверия» и... любви. Воспоминания написаны специально для настоящего сборника.

Горская Натэлла Всеволодовна — переводчица, член Союза писателей СССР.

Марина Принц. «Как это будет — земля без меня?». Написано специально для настоящего сборника.

Принц Марина Николаевна — литератор, дочь известного советского писателя Ивана Новикова, с которым дружила В. Звягинцева.

Марина Чуковская. Добро вам, люди! Воспоминания написаны специально для настоящего сборника.

Чуковская Марина Николаевна — вдова Николая Корнеевича Чуковского, автор воспоминаний о Корнее Чуковском и других советских писателях.

Иосиф Гринберг. Жизнь в стихе. Статья написана специально для настоящего сборника.

Гринберг Иосиф Львович (1905—1980) — советский литературовед и критик.

Александр Дымшиц. Любовь к Армении. Впервые напечатано в журнале «Знамя», № 9, 1965.

Продуманное и пережитое. Впервые напечатано — «Лит. газета», 14 августа 1968, № 33.

Дымшиц Александр Львович (1910—1975) — советский писатель, учёный-литературовед, критик, доктор филологических наук, заслуженный деятель культуры Армянской ССР
Семён Машинский. Душа, открытая людям. «Открытое письмо В. Звягинцевой» было впервые опубликовано в сборнике «Дни поэзии», М., 1964, стр. 133—134.

Машинский Семён Осипович (1914—1978) — советский писатель, учёный-литературовед, доктор филологических наук.

Александр Макаров. «Вечерний день». Печатаемый отрывок из внутренней рецензии на сборник В. Звягинцевой «Вечерний день» был впервые опубликован посмертно в сборнике «Дни поэзии», М., 1968, стр. 214.

Макаров Александр Николаевич (1912—1967) — советский критик, лауреат премии имени Белинского.

Евгений Евтушенко. Её душа была переполнена поэзией... Написано для настоящего сборника.

Евтушенко Евгений Александрович (род. 1933) — советский поэт.

Тамара Туманян. Страница жизни. Написано специально для настоящего сборника.

Туманян Тамара Ованесовна — дочь Ованеса Туманяна, директор Литературно-мемориального музея Ованеса Туманяна в Ереване.

Корней Чуковский. Чудотворство любви. Статья о переводе «Чудотворство любви» была впервые напечатана в «Лит. газете», 1965, 26 июня, № 75, стр. 2. Здесь даётся отрывок, где идёт речь о В. Звягинцевой.

Письмо К. Чуковского печатается впервые. Оригинал письма хранится в ЦГАЛИ (фонд 1720, оп. 1, ед. хр. 254).

Чуковский Корней Иванович (1882—1969) — советский писатель, лауреат Ленинской премии.

Павел Антокольский. Благодарность за бескорыстие. В октябре 1948 г. в Москве в Доме культуры Армении состоялся творческий вечер Веры Звягинцевой. На вечере было прочитано это письмо П. Антокольского. Оригинал хранится в ЦГАЛИ (фонд 1720, оп. 1, ед. хр. 101).

Письмо печатается впервые по оригиналу, хранящемуся в ЦГАЛИ (фонд 1720, оп. 1, ед. хр. 101).

Антокольский Павел Григорьевич (1896—1978) — советский поэт, лауреат Государственной премии СССР.

Александр Новиков. Квадраты мирные. Начав эти мемуары, автор, к сожалению, не успел их завершить.

Новиков Александр Андреевич (1896—1978) — журналист, друг семьи В.К. Звягинцевой.

Гурген Маари. Книга признательности. Впервые — «Литературная Армения», № 2, 1961.

Гурген Григорьевич Маари (1903—1969) — советский армянский писатель.

Гурген Борян. Молодость души. Впервые — «Лит. газета», 2 октября 1958, № 118, стр. 3.

Исповедь поэта. Впервые напечатано в газете «Коммунист», 25 февраля 1968.

Гурген Микаелович Борян (1915—1971) — советский армянский поэт.

Амо Сагиян. Памяти друга. Впервые напечатано в «Лит. газете», 27 сентября 1972, № 39, стр. 5.

Сагиян Амо (Григорян Амаяк Саакович) (род. 1915) — советский армянский поэт.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Из неопубликованного наследия В. Звягинцевой.

Публикации Е.К. Дейч.

Здесь помещены никогда ранее не публиковавшиеся воспоминания В. Звягинцевой о Бальмонте (1927), о Борисе Пастернаке (1965), путевая заметка «Поездка в Ясную поляну» (1927), выступление поэтессы в Ереване [Об армянской поэзии] — заглавие дано нами условно — и другие неопубликованные выступления поэтессы.

Бальмонт. Оригинал рукописи хранится в ЦГАЛИ, в фонде В. Звягинцевой. (№ 1720). Печатается впервые.

Поездка в Ясную Поляну. Оригинал рукописи хранится в ЦГАЛИ, в фонде В. Звягинцевой (№ 1720). Печатается впервые.

Века и годы. Оригинал рукописи хранится в ЦГАЛИ (фонд 1970).

Моя дружба с Арменией. Оригинал рукописи хранится в ЦГАЛИ (фонд 1720).

(Об армянской поэзии). Оригинал рукописи хранится в ЦГАЛИ (фонд 1720). Заглавие дано нами условно.

Что такое переводчик? Тезисы выступления В. Звягинцевой на переводческой конференции. Впервые в сокращённом виде напечатано в «Литературной газете» (20 августа, 1969, № 34), как ответы на анкету. Оригинал рукописи хранится в ЦГАЛИ, фонд 1720, оп. 1, ед. хр. 68.

Борис Пастернак. Воспоминания написаны по просьбе Л.А. Озерова, в архиве которого хранится рукопись. Вариант рукописи есть в ЦГАЛИ, в фонде 1720, оп. 1. ед. хр. 65.

СОДЕРЖАНИЕ

ВОСПОМИНАНИЯ, СТАТЬИ, ОЧЕРКИ

От составителя	3
<i>Левон Мкртчян. Поэт Армении</i>	6
<i>Яков Хелемский. Зимняя звезда</i>	37
<i>Елена Новикова. Прожитые годы</i>	82
<i>Лев Озеров. Дом в Хоромном тупике</i>	128
<i>Сильва Капутикян. Хачкар в тени берёз</i>	147
<i>Геворг Эмин. Неоконченные воспоминания о Вере Звягинцевой</i>	154
<i>Натэлла Горская. «Методом доверия» и... любви</i>	172
<i>Марина Принц. «Как это будет — земля без меня?»</i>	185
<i>Марина Чуковская. Добро вам, люди!..</i>	191
<i>Иосиф Гринберг. Жизнь в стихе</i>	200
<i>Александр Дымшиц. Любовь к Армении</i>	210
Продуманное и пережитое	213
<i>Семён Машинский. Душа, открытая людям</i>	215
<i>Александр Макаров. «Вечерний день»</i>	219
<i>Евгений Евтушенко. Её душа была переполнена поэзией...</i>	220
<i>Тамара Туманян. Страница жизни</i>	221
<i>Корней Чуковский. Чудотворство любви</i>	228
Письмо К.И. Чуковского к В.К. Звягинцевой	229
<i>Павел Антокольский. Благодарность за бескорыстие</i>	231
Письмо П.Г. Антокольского к В.К. Звягинцевой	233
<i>Александр Новиков. Квадраты мирные...</i>	235
<i>Гурген Маари. Книга признательности</i>	237
<i>Гурген Борян. Молодость души</i>	240
Исповедь поэта	242
<i>Амо Сагиян. Памяти друга</i>	246

ПРИЛОЖЕНИЕ

Из неопубликованного наследия В. Звягинцевой

Публикации Е. К. Дейч

Бальмонт	250
Поездка в Ясную Поляну	252
Века и годы	257
Моя дружба с Арменией	260
[Об армянской поэзии]	268
Что такое переводчик?	270
Борис Пастернак	273
Примечания	278

ДУША, ОТКРЫТАЯ ЛЮДЯМ

Воспоминания, статьи, очерки

Редактор **Карменян К.А.**

Художник **Арутюнян В.А.**

Худ. редактор **Гюламирян Г.Х.**

Тех. редактор **Чанчапанян М.Э.**

Контр. корректор **Кочарян С.М.**

ИБ № 3256

Сдано в набор 15.04.81. Подписано к печати 20.10.81.

Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Литературная».

Печать высокая, 14,91 усл. печ. л., 14,9 уч. изд. л. + 4 вкл.

ВФ 07476. Заказ 649. Тираж 3000. Цена 1 р. 40 коп.

Издательство «Советакан Грох», Ереван-9, ул. Теряна, 91.

Типография № 2 Госкомитета по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли Арм. ССР, Ереван, ул. Теряна, 44.

